

Игорь Кожухов



Последняя коммуна

Игорь Кожухов

Последняя коммуна

•2016•

Кожухов И.А.

К-58 Последняя коммуна. Рассказы. — Новосибирск. Редакционно-издательский центр «Новосибирск» НПО СП России, 2016. — 288 с.

ISBN 978-5-900-152-70-5

Сборник рассказов «Последняя коммуна» — вторая книга новосибирского автора Игоря Кожухова, адресованная широкому кругу читателей.

Рассказы писателя-сибиряка повествуют о нелёгкой жизни жителей современной деревни Приобья. Автору удалось представить интереснейшие характеры сибирской глубинки, сложные взаимоотношения сельчан, продиктованные новым временем. Сложны и не всегда благополучны их судьбы, но из самых неблагоприятных ситуаций герои выходят с честью, сохраняя чистоту души и достоинство. А кроме — выручает чувство товарищества и потребность коллективизма, привитые с доперестроечных времён.

Игорь Кожухов, следуя принципу В.М. Шукшина («Нравственность — есть правда»), смело ставит проблемы современного села, видит тревожные признаки обрушения нравственных устоев в нём и пытается художественными средствами противодействовать этому.

Верится, что книга «Последняя коммуна» будет интересна для всех, кому судьба Отечества небезразлична.

Благодарю за помощь и моральную поддержку в создании книги коллектив Литературного Объединения «Молодость» г. Новосибирска и её руководителя, члена Союза Писателей РФ Мартышева Евгения Фёдоровича, Аратову Елену.

За спонсорскую помощь: Гредина Сергея, Зотикову Елену и сына Кирилла.

ISBN 978-5-900-152-70-5

© И. Кожухов, текст, 2016.

© А. Безруких, иллюстрация, 2016.

© Редакционно-издательский центр
«Новосибирск» НПО СП России, 2016.

«Доброе братство милее богатства»

(Русская пословица)

Прочтя название книги Игоря Кожухова, досужий читатель, наверняка, предположит, что она о советском прошлом, возможно, о периоде коллективизации или освоении целины и сильно ошибётся, ибо представленное молодым прозаиком — сугубо о дне сегодняшнем, о самом униженном и предельно истончившемся слое нашего общества — крестьянстве. И даже, собственно, не совсем о нём, а вообще о сельчанах — тех, кто, пройдя сквозь перестроечное лихолетье, выжил или пытается выживать в нынешних суровых реалиях. Герои рассказов Кожухова, в основном — старики, и выбор их главными персонажами повествований не случаен. Именно они, некогда отдавшие свои силы и молодость государству, а ныне забытые властью, ютящиеся в своих ветшающих избах, определяют лик и духовное содержание деревни. Не администрация, не имеющая средств на ремонт клуба, содержание здравпункта, детского сада, библиотеки и т.п., а они — бывшие и нынешние рыбаки и ветеринары, охотники и лесорубы, учителя и врачи, зачастую покинутые и забытые детьми, но связанные незримой нитью спасительной коммуны, объединявшей их и обеспечивавшей достойное существование в некогда могучем государстве. Собственно, ничего крамоль-

ного в понятии «коммуна» никогда не было, и нет. Это не изобретение «коммуняк», как полагают иные. «Коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда» — таково одно из определений этого слова в словаре. Коммуной можно назвать и окружение Христа во время его странствий.

Ныне в селе привычный уклад разрушен, но потребность в коллективизме, в совместном добывании хлеба насущного, да и просто тесного кругового общения осталась. И она реализуется и не только в совместном промысле и традиционных праздниках. Реализуется стихийно, но весьма эффективно. И это очень чётко прослеживается в большинстве рассказов Игоря Кожухова. Не работает клуб, скучно в библиотеке, так есть баня, где после ритуальных каления и омовения, облачась в свежее и чистое, можно поговорить «за жизнь», рассказать о сокровенном. Действенность этой формы общения подтверждается во многих повествованиях Кожухова, но особенно ярко и доходчиво в рассказе «Банный день», где приезжий горожанин Виктор, в течение нескольких месяцев возводящий на своём подворье не отвечающую привычным представлениям селян баню, приглашает в неё соседей и обретает в результате друзей, с которыми, видимо, в последующем будет делить беды и радости. «Чтобы путём всё было, надо дела делать. И бани.» — заключает он. И с этим трудно не согласиться, ибо всего лишь один банный день сумел не только объединить незнакомцев, но и поселить в их душах мир и взаимопонимание, то, без чего не могут представить своего существования многие и не только на селе.

Чудовищный каток реформ не только раздавил тысячи предприятий и хозяйств, он деформировал сознание немалой части тружеников, сменил нравственные ориентиры, вынудив приспособляться в

изменившихся условиях ради выживания. Всё, ради выгоды; деньги и достаток — мерило благополучия и преуспевания. И эти перемены в немалой степени затронули и сельчан, в результате чего резко увеличился отток молодёжи в города, а оставшиеся оказались вовлечены в сомнительного свойства бизнес. Молодые, увы, не выработали иммунитета против соблазнов новой жизни, легко поддаются искушениям, а вот старики...

Всё потерял со смертью жены дед Иван («Божий дед»), лишился последней перспективы на спокойную старость, обрабатывать огород — не в силах, ухаживать за единственной козой — не в состоянии; неприглядное одиночество — суровая реальность завтрашнего дня, но появляется в его жизни нежная и заботливая женщина, приезжает на побывку сын, и снова возвращается жажда жизни, появляются смысл и радость существования. И в этом интуитивно старик чувствует проявление Божьего промысла. И нисходит Преображение его внутреннего мира и восприятия им всего сущего. Бессовестно обворованный приезжим родственником-наркоманом дед даже не допускает мысли о преступном умысле грабителя, наивно полагая, что тот непременно вернёт украденное, а если и не вернёт, то обратит на пользу. Вряд ли знакомый с одной из главных заповедей Божьих «Возлюби ближнего своего как самого себя», старик живёт именно ею и получает неизмеримо больше утраченного — уважение и готовность придти на помощь земляков и любовь женщины, решившей с ним разделить судьбу. И это воспринимается не как награда за праведность, но как закономерный итог правильно выбранного жизненного пути.

Аналогично евангелическим смыслом наполнен и рассказ «За чертой», в котором по сюжету солдат-дезертир зверски убивает старушку — супругу деда Ивана. Убивает из-за куска сала, изголодавшийся и

потерявший человеческий облик в скитаниях по лесу. Жестокость и бессмысленность преступления потрясают старика. Старый и умелый охотник, он, наверняка знает, как поступить, попадись ему убийца. И он попадается ему — больной, в язвах, беззащитный, как в притче о «блудном сыне». И хотя преступник-дезертир не сын старику, но та же заблудшая душа, и, пусть не сразу, дед Иван поступает ровно по притче — великодушно прощает его. И не только прощает, но и пытается спасти обречённому жизнь, а когда это не получается — душу. Неизвестно насколько по церковным канонам правомерно крещение им раскаявшегося убийцы, но, что дед не смог бы не исполнить последней просьбы умирающего — очевидно.

Православная суть большинства рассказов Игоря Кожухова не подлежит сомнению, ибо в них кроется один из важнейших посылов Творца — «необходимость делать добрые дела». Герои его повествований, пусть и не абсолютно верующие а, может быть, и не подозревающие о существовании такового посыла, поступают, как им кажется, просто по совести и справедливости, обретая в результате утраченные было духовные ориентиры. Дед Проня из рассказа «Старики» пытается всеми силами поставить на ноги захворавшую неизвестно чем жену, а когда узнаёт, что причина хвори — серость и однообразие жизни, тратит последние сбережения на покупку современного телевизора с сотней каналов для привнесения в обыденность существования некоего праздника (чем не «Алые паруса»?), попутно, тяжело пережив гибель любимой лошади, не увозит её на скотомогильник, но хоронит, как он считает, достойно её прожитой жизни, да и друга-ветеринара, ему же во благо, склоняет к созданию на склоне лет семейного очага. Юноша Макар («Последний подарок»), изучив трудовую биографию деда и найдя в ней немало славных, но не отмеченных наградами деяний, устраивает трогательный

розыгрыш, вклеив в официальный календарь лист с перечнем достойных почитания дел своего пращура, чем не только восстанавливает историческую справедливость, но и дарует всей родне право на гордость и самоуважение.

В русле библейского сюжета об Авеле и Каине и рассказ «Неприкаянный», в котором судьба сводит двух представителей социального дна, занимающихся в сущности одним промыслом — обиранием могил усопших. Один — совершает это вынужденно, в целях выживания, в силу старческих лет и немощи, другой — от укоровившихся в нём презрения к труду и привычки жить на халяву. Зверски расправляясь с братом во Христе, современный Каин, безусловно, обрекает себя на приговор пусть не Земного, но Божьего суда, который непременно настигнет его и свершится в будущем.

К неоспоримым достоинствам книги можно отнести искусство автора выстраивать сюжет, умело подерживая интерес читателя, несколькими фразами персонажей или деталями обрисовывать их психологические портреты. Стоит отметить и замечательные качества писателя: умение слышать и ценить народную речь, а также неистощимые юмор и оптимизм. Рассказ деда Захара («Сачок») — эликсир от скуки и плохого настроения. Даже без описания внешности легко представить, как выглядит это персонаж — кровный брат незабвенного деда Щукаря из «Поднятой целины» М. Шолохова. Забавен и дед Лукич «Гиблая философия» в своём честолюбии и попытках непременно прославиться. Старику, согласно разработанной им теории, даже предоставляется случай на какое-то время стать «притчей во языцех», но ощутимой пользы это ему не приносит: известность оказывается несколько урезанной и недолговечной, а чудорыбина, выловленная им — малопригодной к употреблению. Нехитрая философия соседа подтвердила

жизненность и продуктивность, его же — оказалась «гиблой».

Былинной мощью и несокрушимой силой духа веет от героя рассказа «Комель» — умелого и удачливого таёжного охотника. Нет, кажется, силы способной уложить его на лопатки: любую напасть снесёт, в любую непогоду выживет. И судьба благоволит ему, даруя верную жену и красавицу дочь — живи да радуйся. Однако и до его гнезда добираются нынешние «хозяева жизни». Отчаюга-проходимец разоряет его, умыкнув свет и утешенье любящих родителей. Социальный барьер не преодолим. Рвутся родственные связи, порастает травой забвения память о родительском доме, о родных и близких. Такова сермяжная правда нынешнего мироустройства.

Однако доминантную роль в сборнике, безусловно, играет рассказ «Последняя коммуна». Сюжет совершенно не нов и типичен для настоящего времени: оставшихся, вследствие перестроечной разрухи, жителей обезлюдившей деревни администрация района пытается вывезти в более благополучный населённый пункт. Но не тут-то было! Пятеро упрямцев не жаждут эвакуации и желают остаться на земле своих предков. При этом они не выторговывают у власти каких-то условий, ограничившись пожеланием — оставить их в покое. С точки зрения рационального современника решение стариков гибельное: без жизненно важных продуктов, электричества, связи, водопровода, медицинского обслуживания выжить в преклонном возрасте проблематично. Но у отступников мнение иное. Решение жить коммуной непоколебимо, старики съезжаются в одну избу, обустраиваются в соответствии со своими представлениями о выживании. И оказалось, что выживать нет необходимости, когда есть умение каждого вести хозяйство, разумно распределены обязанности и существуют уважение и доброжелательность друг к другу. Нужно просто

жить, радуясь каждому дню и возможности тесного дружеского общения. И уже отмечаются традиционные праздники с песнями и плясками под гармонь, намечаются планы на будущее и даже свадьба, но беда приходит, откуда не ждали: является сын главного героя рассказа и лидера коммуны с решением о сносе избы, заблаговременно проданной им на материалы. Сын — натуральный продукт нового времени — расчётлив, нахрапист, не привыкший поступаться выгодой и готовый ради неё на всё. Родовое гнездо для него — товар, отец — досадное препятствие на пути обогащения, он готов смести все препоны, не церемонясь. Но и отец — не жертвенный агнец: родимый дом, для него — святыня, которую он не уступит ни за какие коврижки. Понятно, что физически противостоять нынешнему неандертальцу, вооружённому автокраном и бензопилой невозможно, но и уступать нельзя. Старик собственноручно уничтожает родовую обитель, одержав моральную победу над сыном, ставшим для него непримиримым противником. Так при тактическом отступлении сжигаются жилые объекты, дабы они не стали пристанищем врагу. Сын, пожалуй, не слишком пострадает — мало ли сейчас брошенных изб в обезлюдевших деревнях! Но не распадётся, наверняка, и коммуна, вдохновлённая подвигом своего вожака. Верится, что, как неприступная крепость, она до конца будет противостоять апологетам хищного бизнеса, потому что за нею — Правда и Справедливость.

Трудные времена переживает деревня. Много сделано, чтобы дух коммуны выветрился из памяти народа, чтобы иконой благополучия стал алчный индивидуалист. Но ведь издавна в русском народе жива уверенность — «доброе братство милее богатства». И неоспоримость этой формулы доказана в течение тысячелетий многими яркими победами на ратных и трудовых полях. Вспоминаются строки и из

советских времён: «Коммунары не будут рабами!». Конечно же, никогда! И это успешно доказывают герои рассказов Игоря Кожухова. Живущие в нищете и унижении, они уверены, что «Бог не в силе, а в правде». И это — основная мысль рассказов Игоря Кожухова. И, покуда жива эта истина, наш народ непобедим.

*Евгений Мартышев
Член Союза Писателей РФ
действительный член Петровской
академии наук и искусств.*

Божий дед

Старый Иван сидел уже долго. Никаких мыслей не было, кроме запавшей в душу и уже изрядно измаявшей: «Зачем ты так?!»

Он морщился, тряс головой, тёр рукой наждачную бороду, пытался думать о чём-то другом, вспомнить что-нибудь, но нет, засты всё остальное, всплывало одно: «Зачем ты так?!»

Вчера он похоронил бабу, рядом с которой жил, сколько себя помнил, а сегодня с утра пришёл её проводить...

Так делали все и всегда, и он, не задумываясь, на третий день после смерти, наутро после похорон пришёл...

Сев на оставленный со вчера стульчик и, не зная что делать, дед прижал пакет с «гостинцами» к коленям. Посмотрел на свежий деревянный крест и неожиданно, обращаясь именно к нему, поинтересовался: «Ну, как ты, старая, ночевала?» Крест, с примотанной суровой ниткой бумажкой в целлофане с именем-отчеством-фамилией, молчал. Машинально вспомнив, что памятник ставится в ноги, дед перевёл глаза на другой край могилы, как бы на лицо, и вдруг беззвучно заплакал, упав на колени, давя снесь в пакете... Плакал долго, тряся худыми лопаткам и захлёбываясь горькими слезами... Потом так же резко прекратил, снова сел и испачканными землёй руками стал выкладывать к основанию креста на сложенную вчетверо газету еду.

Стараясь ни о чём больше не думать, дед откусил сладковатый блин, держа его в левой руке, а правой — продолжая вытаскивать конфетки и мятые яйца...

— Вот всё. Водку не понёс, ты не любитель, дак и к чему? И я не буду, не думай...

Он остро почувствовал пустоту вокруг, безысходность тяжким гнётом сдавила сердце. Оглянувшись, словно ища поддержки, и не увидев никого, тихо застонал через сжатые зубы.

Около него остановилась, прибежавшая ниоткуда маленькая с кривым ухом собачонка и, пуская слюни, уставилась на еду. Приняв бездействие человека за разрешение, подгибая задние ноги и растягивая тельце, смешно морща нос, приبلуда аккуратно стянула с газеты блин и, отойдя, быстро его съела. Потом уже брала всё подряд смелее и, не убегая, торопливо жевала. Закончив как путная десертом из конфет, собачонка обнюхала висевшие плетью с колен дедовы руки и побежала дальше, не зная ещё куда, но точно — по делам...

Дед вытер глаза, поднялся и, складывая пакет, проговорил, прощаясь:

— Вот и ладно, прощай пока... Одна не останешься, вишь, какие тут бродят? А потом уж и я, через время... — он выпрямился, взял стульчик и, не оглядываясь, пошёл в крайнюю улицу, к одинокому теперь их дому.

* * *

В доме было тихо и прохладно, легко пахло погребной сыростью и не чувствовалось особого уюта, привносимого женской бытностью. Он вспомнил, что бабка ещё три дня назад собиралась растопить печь, чтобы посушить избу.

— А жарко станет, двери откроем — и пускай, а то дух чижолый!

Дед посмотрел на дрова за занавеской, но решил сейчас печь не топить: «Окна распечатаю, «адушины» открою и нормально, просохнет за лето!» Он сидел и

оглядывал избу. После поминок соседки всё помыли и прибрали, но горы посуды лежали на столе, на лавках и даже на полу.

— И куда же она, покойница, это слаживала? — он прошёл в гостиную — довольно широкую и светлую из-за двух окон комнату, затем, не торопясь, стал расставлять всё в шкафы. Половина, действительно, не вошла и он, не придумав иного, стаскал оставшееся в сени и разложил аккуратно по полкам в тёмном чулане. Потом вернулся и, помогая себе плоскогубцами, распечатал и открыл окна. Совсем уже тёплый, сладко-тяжёлый воздух середины мая быстро выдавил из дома дух поминок, точнее запах большого количества народа, пищи и алкоголя.

Дед сел на стул, и в который раз спросил себя: «Что же делать, как жить дальше одному?» Её больше нет: и голоса её родного нет, и рук умелых, втирающих ему муравьиный яд в измученную хондрозом спину, тоже нет. Как же так? Ведь он был уверен, что первый уйдёт, и совершенно определённо переживал по этому поводу: «Теперь, гляди-ка, надо жить как-то. А как? Вот беда-то!» Он опустил голову и затих. Пришёл в себя далеко после обеда, сходил на двор и, возвратившись, закинулся на крючок, напился сладкой воды из пластмассовой бутылки, лёг, не раздеваясь, на заправленный диван и, сложив руки на животе, тревожно уснул...

* * *

Дни летели быстро. Дед вставал с солнцем, а иногда и раньше. Бесцельно бродил по тихому дому, уходил во двор, насыпал пшена и выпускал трёх кур и петуха, подходил к козе. Это удивительное животное смотрело на него чёрными цыганскими глазами и тихо подмекивало. Дед научился доить козу сам: у бабки пальцы болели, но она всегда была рядом и в процессе дойки разговаривала и угощала козу вкусностями. Возможно, теперь та не понимала, почему нет хозяйки, и упорно пыталась

избежать дедовых рук, блея и тревожась. Из вполне нормальной работы дойка превратилась в муку, и дед, не смея ругать умную козу, точно решил отдать её любой соседке, какая возьмёт. Кряхтя, он поднялся с колен и сказал ей об этом. Коза, мотнув головой, согласилась: «Ме-ме-лодец!» Выйдя на свет из сарая, старик немного постоял с закрытыми глазами и для себя заключил:

— Никак без бабки, хоть ты что делай — никак!..

Сын, находясь в плавании, о чём ещё раньше сообщал, на девять дней не успел. Дед с помощью соседей собрал поминальный стол. Но, хотя день был выходной, народу было мало — одни соседи. Но это вдруг оказалось хорошо: все уместились за одним столом и долго душевно разговаривали, вспоминая добрым словом покойницу. После — сразу помыли посуду и прибрали...

Ночью, проснувшись, он услышал у соседей жалобный крик его козы и, жалея её, заплакал в подушку, готовый вернуть любимицу, но коза вдруг замолчала: может, поколотили. «Хоть и скотина, а душа, поди, есть, вишь, как переживает», — подумал Иван и решил завтра же её провести.

Утром, заглянув в свой домашний огород, огороженный старым, но ещё вполне ровным забором, дед с удивлением обнаружил, что сорная трава покрыла всё плотным ковром, сравнив грядки вместе с произрастающими на них полезными овощами. Понимая, что помощи ждать неоткуда: у всех — то же самое, он быстро позавтракал и вступил в борьбу с сорняками. Раньше он, конечно, всегда помогал жене, но обычно тем, что пропалывал тяпкой между грядками. Сейчас же пришлось, встав на колени, в приседе он не мог из-за старого радикулита, щипать мелкую траву тремя «святыми» пальцами. Это было так нудно и долго, что, простояв так над грядкой до полудня, он выщипал немного больше половины. Решив, наконец, отдохнуть и, пожелав встать по-человечески, в рост, сделать этого не сумел. Повторив попытку и услышав в организме подозрительный

хруст, дед изрядно перепугался, переполз грядки и, завалившись набок, стал через боль потихоньку разгибать ноги. В ушах зашумело ветряным лесом, в глазах поползли тёмные круги, словно он не в землю смотрел, а на солнце! Старый Иван, не найдя других слов, выматерился, а когда это не помогло, в полголоса заскулил, подсовывая руку под себя в очередной попытке подняться...

В этом смешном, со стороны, положении и застал его сосед через три дома — ещё не старый, семидесятилетний дед Проня, по прозвищу Лепёха.

— Ты каво там ползашь, сосед? Или тлю какую вредоносную собираешь, стараешься?

Иван услышал голос, но узнать, кто это, из-за шума в ушах не сумел. Повернуть же вставшую клином шею не смог подавно:

— Кто тама, прости, Господи? Помоги, добрый человек, подняться...

Проня, поняв, что с дедом «медицинский» случай, проскочил в калитку и стал помогать Ивану, подставляя своё худое плечо.

— Вот так ошарашило тебя, сосед. Это с непривычки, точнее от отсутствия таковой, наверное. Зря ты так рискуешь, без подготовки... — и, услышав сдерживаемый Иваном стон, продолжил, — а как на лабаз, до ветру ходишь, разреши спросить, там ведь, с учётом возраста, не одну минуту сидишь?

Иван, благодарный Лепёхе за вовремя оказанную помощь, ответил:

— Я там стульчик сладил, как в городе почти. Только без слива — напрямую...

— Во, видишь, там дело минутное — и стульчик! А здесь целый день работы ты в сложенном виде хотел простоять. Что бы и сюда стульчик сделать? — Иван согласился, что так было бы лучше. Но сейчас он уже не захотел полоть грядки, даже лёжа!

— Пойдём в дом, Проня. Помоги. И разговор есть небольшой...

Проня был тот ещё гусь! Про таких говорят: «Хорошо, что бодливой корове Бог рогов не дал». Он любил хвататься за всякие изменения в «процессе существования», много экспериментировал, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью окружающих его людей. Причём совершенно не боялся, как и великие учёные, на которых он постоянно ссылался, производить опыты даже над собой... Например, однажды, уже будучи очень взрослым, услышал по телеку, что, чтобы бросить курить, надо накуриться до тошноты, и потом — как рукой... Понимая, что куря уже лет сорок, ему трудно докуриться до такого состояния магазинными сигаретами, он пошёл к старому деду Порубаю, курящему только самосад, и за «мерзавчик» водки выменял у того целый пакет свежепаренного, крепчайшего самосада. Потом, усевшись на свежем солнышке под баней, сразу изготовил штук десять огромных, с палец толщиной, самокруток, используя современную газету «Аргументы и факты». Не желая лечиться на голодный желудок, не спеша, выпил литровую банку домашнего молока и, удобно пристроившись на тёплой завалинке, принялся за лечение...

Ему очень повезло в том, что, начиная эксперимент, он никуда не спрятался. Сначала от крепкого табака у него закружилась голова. «Серое вещество распознаёт качество дыма», — решил он. Потом всё встало на свои места. Вторая, кроме горечи во рту, тоже ничего плохого не принесла, но докурил он её, по-настоящему затягиваясь, с трудом. Третья, с мелкими буквами сбоку, читаемыми как «депутатская жизнь», вызвала сначала улыбку, но затем явную, как после глубокой пьянки, тошноту. Докулив, он уже длинно, с болью икал, сжимаясь и открывая, как в зевоте, рот... Казалось бы, хорошо! Но нет! Гордившийся всегда чистотой своих экспериментов, он, уже не распознавая букв на самокрутке, раскурил четвёртую. После нескольких затяжек его вдруг всколыхнуло и, еле успев убрать ото рта руку, он, даже

не напрягаясь, изрыгнул из себя что-то светло-жёлтое, дымящееся, как свежесваренное... Последней осознанной мыслью, была по-детски наивная, но правильная: «Да это же творог!» Потом он упал лицом вперёд и, перекувыркнувшись под уклон от завалинки, распластался с откинутой рукой, как сражённый пулей наповал... Спасли его тогда молодые врачи, приехавшие после окончания института к деду одного из них в гости. Его бабка Лиза, дородная, но на удивление живая и лёгкая на подъём, позволяющая ему почти все его «завороты» и видевшая «весь этот самосуд», сначала смеялась за окном, потом, почуяв неладное, закричала, выскочив на улицу. Парни, сориентировавшись, промыли ему желудок, заставляя полубессознательно пить и срыгивать воду, что-то вкололи в дряблую вену, а потом, даже помыв по просьбе бабки, внесли его в дом...

Пронесло! И, казалось бы, угомонись! Однако мысли, приходившие в его, уже полулысую голову, с каждым разом и годом становились всё изощрённее, и, как он сам думал, глубже! Сейчас его увлекла идея найти возможность научиться «правильно» выпивать...

Усадив стонущего Ивана на диван, и, сознавая, что «законно заработал», он поспешил высказать свою теорию:

— Там один мужик по телеку твердит, мол, чтобы всё было грамотно, пейте после шести вечера (он машинально посмотрел на настенные часы) и, главное, не больше ста грамм спирта, естественно, в этиловом эквиваленте! Ты чуешь, старый? А в переводе на сорок градусов (водка!) это двести пятьдесят грамм — стакан! Следовательно, чтобы мне — мужи-ку, — он отдельно произнёс это слово, — не стать алкоголиком, наука разрешает выпить гранёный стакан водки или триста грамм твоего самогона, потому как он слабый! — Проня, задохнувшись восторгом, сел.

Иван, хотя и деморализованный болью, возмутился:

— А почему это мой слабый, ты мерил?

— Я его почти один и употребляю! Больше никто не хочет. А слабый, возможно, оттого, что у тебя брага, то есть сусло, кипит не при ста градусах, как у всех, а при девяноста, — он улыбался и потирал руки...

Иван обиделся, но, понимая, что зависит сейчас от Лепёхи, вынужден был согласиться.

— Кто его знает? Можя, и так. Вон стоит в столе, в зелёной бутылке. Там как раз грамм триста, бери и проверяй теорию и меня, пожалуйста, послушай!

Проня, по-молодецки, на пятках, крутанулся и, вытащив бутылку, посмотрел на свет.

— Точно, как по мерке, налито. Ты наверно тоже над этой теорией маракуешь? — он внимательно пошарил взглядом по комнате и, найдя табурет, поставил к дивану в качестве стола. Потом придвинул к табурету стул. Заручившись молчаливым согласием Ивана, заглянул в холодильник и вытащил оттуда банку с плавающим в ней огурцом. Проколол огурец вилкой и уложил его на тарелку.

— Ещё бы сальца, что ли... Всё-таки триста грамм: надо ведь, чтобы из рта ещё не пахло, — он улыбался молчавшему Ивану

— В морозилке возьми, хлеб — в столе, в пакете, нарезан...

Через две минуты Проня уже сидел напротив Ивана, заедая салом проглоченные сто грамм «слабого» самогона... — Я вот что хотел спросить, — стал рассуждать Иван, — сам видишь, огородник я никакой. Хорошо ещё на улице не очень жарко, а так бы вообще мог сковырнуться.

Проня с пониманием промычал, жуя, моргнув обоими глазами.

— Так вот, найди, прошу, в деревне кого-нибудь, пускай за огородом поухаживают до осени. И потом урожай себе заберут... А мне картохи мешка три да ведро морковки — и хватит на зиму. Если что, пенсия хоро-

шая, докуплю где. А сам в огород больше не пойду, не по силам мне уже... — Иван замолчал, с напряжением ожидая ответа.

Проня, получивший своё прозвище за чрезмерную любовь к блинам и лепёшкам, с удовольствием и улыбкой аппетитно заедал Иванову выпивку. Не торопясь, проверив на просвет остаток в бутyli, долил в стакан и, осушив его, захрустел огурцом.

— Ты что молчишь, как пень, Проня? Тебе трудно своим серым веществом, которым всегда хвалишься, подумать? Тут дело вон серьёзное, я же уже не мальчик!..

Проня, отложив огурец и утерев губы, не замедлил с ответом:

— Я и молчу, потому что думаю! Ты правильно заметил сам — не мальчик. И в деревне у всех свои огороды, а из города выписывать, дороже станет. Поэтому, думаю, тебе надо бабк... то есть женщину. И лучше на ней жениться!

У Ивана, не ожидавшего такого поворота, по спине пробежали мурашки.

— Да ты что? У меня бабка десять дней назад умерла, ещё постель не остыла! — он хотел соскочить с дивана, но только громко ойкнул и свалился опять.

— Во, вишь, как тебя пронзает! Я, конечно, могу ошибаться, но теперь тебя любая хворь в ларь сложить может, самая пустячная. И хорошо, если сразу, а то растянется болезнь на месяц... Весь высохнешь, измараешься, лицо потеряешь — как? А будет кто рядом и обмоет, и воды стакан подаст, да и всё остальное потом... — Проня, сочувственно кивая, вылил последнее из бутyli в стакан. Затем уже, критически глянув в него, заметил:

— Нет, не было триста грамм в этой бутылке или совсем ты разучился доброе вино делать...

Иван лежал с закрытыми глазами и слёзы катились по его щекам. Он любил свою бабку всегда, но сейчас слова Прони обескуражили его прямолинейностью и правдой. А ведь впереди зима: холода и тоска... Но вдруг

он почувствовал, что очень хочет ещё жить: годик, можа, два, а можа, и... Он ещё даже правнуков не видел, а ведь они есть: большеголовые, голопятые, пахнущие материнским молоком и новой, никогда нескончаемой жизнью! Да, Господи, же... Он закрыл лицо руками и сказал испугавшемуся его слёз Проне:

— Хочешь, ещё возьми за банками бутылку. И это... если есть кто на примете у тебя или у твоей бабки, попробуй, поговори. Может, и получится что, может, и правильно? А своей я объясню, поймёт... — и он замолчал, отняв руки от лица.

* * *

Ночь тянулась долго... Чтобы не казаться «совсем пропащим», Иван, скрипя зубами, сам проводил Проню. Тот пытался что-то ещё ему сказать и цепко держался рукой за дверь, другой прижимая к телу бутылку. Но Иван, всерьёз страдающий, оторвал его от двери и попрощался:

— Поможешь, сосед, я тебе свою литовку немецкую подарю: сама косит, волшебная...

Проня по-настоящему обрадовался и конкретно загорелся.

— Пакуй, Ваня. Обязуюсь, если бабку тебе не найду, сам огород твой полоть буду! — и быстро, совершенно не пьяно, побежал вдоль Иванова забора домой.

Если бы это было смешно! Иван с трудом зашёл домой и, найдя муравьиный яд от хондроза, решил намазаться, надеясь, что это нехитрое, но конкретное лекарство ему поможет. Пройдя в спальню и включив свет, он снял рубаху и майку. Выдавив из тюбика на ладонь полоску мази, хотел поднять руку, но... рука дальше не тянулась. Он доставал только до плеча и то спереди, движение дальше вызывало боль и лишало возможности даже шевелить рукой.

— Да что же это такое! Конечно, всякое было, но не так же безвыходно... Решив не мучить себя, втёр

мазь в руки, с трудом надел майку и вдруг вспомнил, что не мыл ноги. Решил обмыться в бане, чтобы не мокрить дома. В бане было прохладно. Иван задрожал всем телом, но, поборов слабость, снял штаны и, сев на лавку, стал поливать уставшие и липкие ноги водой. Вылив ковш в таз, привстал и обмыл лицо, содрогнувшись от воняющих мазью рук. «Делаю всё не по очереди как-то... как маленький», и, вспомнив поговорку «что стар, что млад...», рассердившись на себя, прошёл в дом и сразу лёг...

«Как же быть? А ведь, если бы я первый, как бы Марфа моя поступила?» — он почему-то и не помнил совсем её больной или неуверенной в себе. Казалось, на любую трудность у неё есть ответ или даже конкретное решение. И он ещё раньше замечал, что жил за Марфой, как за каменной стеной, не позволяющей бедам подойти к любимому ею деду.

«Ясно. Она, конечно же, смогла бы жить одна, умевшая всё и обладавшая мужицкой волей...»

Иван смотрел на вечерний свет за окном и, казалось, видел её лицо, почти всегда улыбающееся, и даже слышал её голос, в последнее утро жизни ещё весёлый:

— Дед, я пошла к Марьке, подмою вымя и угощу чем... Ты подходи, подои её. — Там он бабку и догнал около полуоткрытой двери сарая, припавшую к косяку и шептавшую вмиг пересохшими губами:

— Что-то, старый, больно совсем по груди... и ноги не идут, ватные...

Он ещё пытался помочь ей, но, вмиг отяжелевшую, уронил на землю и, завопив, побежал за фельдшером, не понимая, что делать дальше...

Прибывшая помощь не пригодилась: бабка уже вытянулась, улыбаясь, как в добром сне...

Он, снова сжавшись от испытанного страха, неожиданно задрёмывал на какое-то время, но скоро просыпался, памятуя о пережитом — и так всю ночь! Уже под утро, стиснув зубы, встал, нашёл за стоявшей на шкафу

иконой длинные церковные свечи, зажёл одну и, поставив в рюмку на стол, снова лёг. Святая свеча, сладко благоухая воском, легонько мерцала, а он, глядя на плавающий огонёк, в кой-то миг потерял нить своих размышлений и наконец уснул, чётко услышав в последний момент:

— Пускай она будет... я не в обиде... Только не забывай совсем. А так, пускай...

* * *

Утром Иван неожиданно почувствовал себя хорошо. Проснувшись совсем «по свету», пошёл, открыл скандальных кур, выкопавших у двери ямы, и, уже возвращаясь в дом, прижимая к груди три яйца, вспомнил о вчерашних мучениях. Остановился, без боли развёл руки, пошевелил лопатками. Всё более-менее хорошо! «Может, правда, с непривычки», — подумал он, продолжая путь и клоня голову «вправо-влево». Приготовил завтрак, поджарив пару яиц, и совсем уже собрался сесть за стол, как увидел в окно Проню, буквально летящего по дороге. Иван, помня вчерашний разговор, насторожился, с тревогой ожидая вестей. Тот, ворвавшись, начал в карьер:

— Всё-таки нормально было в бутылке! Я из второй глоток сделал: кого там, грамм тридцать... и веришь, как зашёл домой, не помню! Смутно только вижу, что старая рот разевает, понимаю даже — ругается, но сконцентрироваться не могу, чтобы отпор дать! Так и проснулся ночью, где не пойму. Думаю, надо потихоньку сползти с полатей, раздеться. И рукой щупаю да ползу на зад, край, значит, ищу! Ползу-ползу, вдруг, брык — стена! А вон оно что: это я на полу ночевал в кухне, даже сил не хватило раздеться и на лежак забраться. А, может, она помогла, потому как и спина болит, и шея, и бутылку найти не смог...

Проня, видя, что сосед даже не улыбается, тоже посерьёзnel.

— Но это не главное. Главное, что утром я, отбиваясь от бабки, озвучил твою беду. И, конечно, маленько прикрылся: мол, мы вместе с тобой, по триста... Так она ажно слезу пустила! И уже уехала утром на школьном автобусе в соседнюю деревню, вспомнив там одну вдову, совершенно хорошего качества — как раз тебе!

Проня открыто улыбался полупустым ртом, потому как забыл всунуть в него зубные протезы. Ивана опять накрыла волна боязливого стыда и растерянности...

— А может, не надо, а? Уже вроде и неплохо себя чувствую, и гнуться могу, — он, неожиданно даже для себя, отскочил от стола и, резко нагнувшись, вскрикнул от боли, прострелившей от бедра до шеи... Чтобы не упасть, сел и замолчал.

— Зря ты, Ваня, скачешь. Тебе сейчас плавность к лицу больше, — Проня, усмехаясь, смотрел на соседа. — И чего теряешь, не пойму? Ну, приедет, глянет на тебя, векового ясеня... ну, и ничего себе! То есть хочу сказать, ты, может, и не понравишься, но, может, и наоборот — с первого взгляда.

— Да, а чё мне сейчас -то делать? Вдруг, правда, приедет?

— Приедет, точно, если живая! Уж моя бабка всяко не упустит такую инициативу.

— Ну и? Пиджак парадный одевать с галстуком что ли?

— Да ну, наверно, зачем? Будь, как в жизни, чтобы не обманулась. И немного даже поскули про спину. Чтобы она поняла, что дрова у неё ты колоть не будешь! — Проня опять улыбнулся: — Эх, мне бы чичас жениться, на новой! Ух, как бы я дал дрозда... Однако бабка не позволит, ещё вполне здорова и ни на чё не жалуется...

Потом, плавно перейдя к главному, наваялся растопить у Ивана баню, в помощь к лучшему «раскрепощению». И всё совершенно бескорыстно, но как бы... Иван понял и вернулся с банкой, в которой жидкости было на два пальца.

— Мне, Проня, этой гадости не жалко, но, смотри, обидится твоя бабка на нас, куда щемиться будем? И переедешь ты ко мне жить, заместо той — с хорошими качествами. Ну, а у меня уж ты не забалуешь, не побегаешь по деревне — вон делов накопилось...

Проня, согласно кивая, опять глянул банку на просвет и закончил разговор:

— Это не ты, случайно, Ваня, по телеку выступал? Опять ведь триста! Научишь ты меня пить, только вот время соблюдать чижало до вечера. Сколько можно сделать, если с утра грамотно полечиться!

Старый Иван смотрел на соседа и пытался понять: во все времена он старался жить честно, по совести, если обещал что — делал, помочь кому — помогал и не ждал «спасибо», отвечал за свои слова. И сейчас, казалось бы, что-то не очень серьёзное, «житейское» вызывало в нём болезненные раздумья.

Он встряхнулся и, поднимаясь со стула, решил.

— Приедет — посмотрю. Если решу что, к бабке схожу, покаюсь...

* * *

Сегодня время катилось, как никогда, быстро. Проня, действительно, растопил старую, но ещё ладную Иванову баню. Воду наливал ему сам Иван в два маленьких семилитровых подойника и выставлял на крыльцо. Обрадовавшись их лёгкости, Проня бессовестно врал:

— У меня два ведра были, ещё от деда, наверно, остались... Сколько в их литров было, не знаю, но единожды схожу — и на баню семье хватает. Раз думал, облегчу себе дорогу коромыслом, дак оно через плечо токо «хрясь» — как не бывало. А сколько надо веса, чтобы коромысло сломать? Вот и суди сам!

Иван негромко смеялся, видя, как Проню с вёдрами носило по ограде.

— Долго же тебе ещё таскать, если ты эти, «лёгкие» вёдра, пока несёшь, половину выплёскиваешь. Может,

тебе бидончик с крышкой снарядить? — быстрее получится...

Проня переставал улыбаться, послушно перестраивался, стараясь ступать плавнее и расчётливей! И это опять забавляло Ивана, находившего в друге сходство с невесткой, хозяйничающей впервые в доме под надзором родителей жениха... Наконец, управясь с делами, зашли отдохнуть домой. Иван сел и, вытянув ноги вдоль дивана, прикрыл глаза. Проня же, сделав привычный глоток и заедая его вкусным салом, ходил, как маятник, по избе, в сотый раз рассматривая ровные стены и аккуратные окна. Случайно глянув в окно и чуть не подавившись, громким шёпотом зашумел:

— Ой, Ваня, тревога! Невесту везут собственной персоной вместе со свахой, прости, Господи...

У Ивана взволнованно захолонуло сердце, и враз вспотели почему-то ладони...

— Неужели так просто: зайдёт сейчас и всё — бери меня? Или, может, так принято теперь?

Запутанный и испуганный сомнениями, он напрочь забыл, что «кандидатка» на его внимание должна быть, желательно, ненамного моложе его.

Проня, словно профессиональный шулер, за полминуты смахнул со стола всё, что могло вызвать справедливый гнев его жены и, остановившись в раздумье на секунду, добавил вслух: «Я, наверно, Ваня, в бане скроюсь! Ты же скажешь, что я пошёл домой ещё утром, а она уйдёт, я заскочу, оценю, как эксперт, это... независимый», — и он просто, как дым, усквозил в открытую дверь.

Иван подскочил к окну — женщины уже прошли в ограду. Он, вертанувшись, взглянул на себя в тёмное зеркало, висевшее на стене между окнами, одёрнул рубаху и неожиданно сел на старый табурет, закинув ногу на ногу. Подумав, что это слишком уж вольно, скинул ногу и положил руки на колени... Да что же это? Как провинившийся на партийном собрании! Он под-

скочил и сделал шаг к двери... Первой вошла Пронина жена и, даже не дав Ивану сказать «здравствуйте», «завелась»:

Вот и невеста,
не из сырого теста,
а из нормального проквашенного,
великой красотой крашенная,
не молодая и не старуха стогодовая —
под венец идти готовая!

Дед Иван обалдел. Он ждал чего угодно, но не такого напора и совершенно растерялся, покраснел и, поводя рукой в глубь избы, забормотал: «Проходите, проходите», — затем почему-то сам проскочил вперёд и упал на табурет, словно ему ноги подрубили...

Один человек запоминает другого человека в какой-то определённый момент жизни. И тот, меняясь для других, для тебя остаётся в одной поре. Ребёнку его мать до самой старости будет казаться молодой и самой красивой! А матери её ребёнок — всегда маленьким и беззащитным. И даже через много лет она, глядя его, уже седую, голову, называет его «маленький мой», совершенно уверенная, что он беззащитен вне её рук.

«Кандидатка» показалась деду настолько молодой, что он от потрясения словно лишился дара речи и только смотрел на неё. Она же была более подготовлена к встрече и, не замечая его ступора, подошла к нему и, протянув руку, заговорила спокойным мягким голосом:

— Здравствуй, Иван Сергеевич, вернее, Иван. Меня звать Надежда — просто Надя.

Дед, взявшись за её руку, еле слышно откликнулся:

— Привет, садитесь, — и совсем не к месту: — Спасибо!

Надя смотрела на него и улыбалась... На их счастье Пронина бабка, ничего особенного не замечая, заговорила:

— Ваня, это Надежда из соседней деревни, вдовая тоже... Ей уже шестьдесят три, дети взрослые. Давайте знакомьтесь и решайте. Понятно, что не торопитесь. Ты, Надя, сама опять же думай, и если что, где живу, знаешь. А если не придёшь, так, значит, ещё лучше, правильнее... Ну, я пошла, — и бабка Лиза, чуть скрипнув половицами, вышла...

* * *

Надежда села на стул, тоже сложив руки на коленях, и стала осматриваться. Иван, в свою очередь, смотрел на неё и ничего от волнения из слов соседки не поняв, пытался угадать, насколько же Надежда его моложе. Когда её глаза останавливались на нём, он опускал свои и по-юношески краснел шеей и ушами.

— Мне Лиза сказала, у тебя сын долго не был дома?

— Да. Долго, то есть не очень. Десять лет. Скоро приедет.

— Хорошо. Мои тоже отдельно живут, в городе. У дочери — дочь взрослая, замужем недавно. У сына — два сына. Ещё учатся...

«Слава Богу, не такая уж она и молодая!» — пребывавая в растерянности, подумал Иван...

По крыльцу протопали, и в дом вошёл улыбающийся Проня.

— Сидите, присматриваетесь? А я и говорю, что правильно, надо присмотреться! Чтобы потом вдруг изъян какой не обнаружился. Ты, Ваня, встань, пройдишь, пусть Надя поймёт, что кроме хондроза всё остальное у тебя в порядке! А что вчера ты валялся — так это случайность, какая с каждым может быть.

Он прошёл к кухонному столу и, открыв его дверцу, достал почти пустую банку, вылил остатки в стакан и, подняв руку, сказал, теперь именно «невесте»:

— Это я за вас, слава Богу. Он, Ваня, гонит, но сам — ни-ни... Это у него — то за вспашку, то за дрова, то мне за помощь. В этом плане не переживай. И я, опять же,

приду на подмогу! В общем, баня готова, и время уже. Я-то домой, моя наверно злится, думает, где я? А я — вот он! — Проня, не прощаясь, вышел, ещё что-то сказал в сенях и, не ожидая ответа, ушёл.

...Иван и Надежда молчали, избегая глядеть друг на друга.

— Может, я пойду, если уже можно. Правда, я не взяла полотенце, не знала, что надо...

— Куда? — он, теперь заволновавшись, смотрел на неё.

— Ну, в баню! Если уже готова, давай обмоемся.

Иван встал и, стараясь не хромать, прошёл к шкафу, достал чистое, мягкое полотенце и, неожиданно для самого себя, белый халат жены, присланный давно сыном. И, опять застеснявшись, предложил показать ей, что и как. Надя согласилась и пошла вперёд.

* * *

Пока искал уличные тапки и, щурясь у тёмного порога, тыкал в них ноги, она спустилась с крыльца, ожидая у огородика.

— А что так заросло всё? Время нет?

Иван медлил с ответом...

— Время теперь много. Девать некуда. Теперь сил уже не хватает и желания...

— А я огород люблю! Интересно наблюдать, как на глазах всё вырастает, крепнет, соком, теплом напитывается. Вот посадил весной семечко, а к осени — огромный плод, разве не чудо?

— Конечно, чудо, особенно если бы не поливать, не бороться да не сорняки! Ну, ладно, пойдём уже.

В бане Иван показал, где раздеться, как воду наливать, как пару поддать, чтобы не ожечься. Она, наверняка, всё это сделала бы и без него, но деду вдруг захотелось позаботиться о ней и даже поухаживать.

— Могу воды горячее доставать из бака, вот сюда — в таз большой, а ты разбавишь, как нравится тебе...

— Да не надо, — и она вдруг, до боли по-бабкиному, даже с её интонацией, назвала его — Ваня.

У него от нахлынувшего радостного чувства заиграло в груди и захотелось смеяться, так давно не испытываемо и, наверное, глупо...

— У меня же тоже дома баня. Но ремонт нужен: пол осел, полок подгнил... Звала соседа, тот посмотрел, говорит: ремонт бесполезен. Надо всё переделывать. Но я потихоньку всё равно подтапливаю — без бани туго. А по соседям ходить не люблю.

Иван опять, не по-взрослому радуясь, выдал: — Ну, вот и ладно, у меня мойся!

Надежда с явным недопониманием улыбнулась:

— Хорошо, согласна. Теперь давай иди, весь уже взмок. Да на улице не стой — не дай, Бог, продует. Проходи домой, я скоро...

Иван вышел в вечерний день, и ему хотелось танцевать и кричать от радости. Казалось, что всё будет теперь по-другому — как, пока неизвестно, но, несомненно, хорошо ему и, наверное, ей! Зайдя в дом по чуть скрипящим половицам, вспомнил про телевизор, с похорон закрытый простынёй, снял её и включил. Всмотрелся в прояснившийся экран и понял, что идут новости, а внизу кадра прочитал число и день недели.

Двадцать пятое мая, воскресенье!

Он вдов уже двадцать дней, но в сердце непередаваемое горе уже сменилось на радость, такую давно забытую, но неизбежную при встрече с чем-то хорошим...

— Всего двадцать дней... А она, душа-то её, ещё здесь, до сорокового дня, будет смотреть на меня и оценивать... А я уже и радуюсь, и чуть не вприсяд иду... — дед загрустил и сел на табурет, совсем запутавшись в себе.

За окнами было ещё довольно светло, и он удивился: вдоль палисада, со стороны дороги, всюду цвела сирень и белыми, и розовыми тяжёлыми гроздьями соцветий свисала в его сад. Вот как! А он и не видел...

Ничего не видел и не чувствовал, даже запаха, такого особенного, сладко-приторного, пьянящего! А сейчас заметил и, заметив, неожиданно вкус почувствовал. Ведь никуда это не уходило, да и не могло уйти...

Легко закрипело крыльцо, радостной мышью пискнула дверь, и вошла она, именно та, теперь Иван был уверен, которая оживит его пустой дом.

— С лёгким паром! — он повернулся и впервой, не отводя глаз, с нажимом продолжил, — Надежда!

— Ой, спасибо! Давно так сладко не купалась в баньке... Даже немного погрелась на полке, три раза поддавала! — она, по семейному, сняла с головы полотенце, раскинула по плечам волосы, нагнав в комнату вкусный запах банной чистоты, и осмотрелась.

— Вот сюда садись, на диван, он чистый... А лучше приляг, отдохни чуток, я мигом.

— Не надо мигом, торопости нет, мойся в радость. Только не кались сильно, не к чему. Береги себя — не мальчик...

Иван торопливо вышел из дома, весь покрасневший от радости и удовольствия.

— Господи, какая хорошая! — волнуясь, думал он, развешивая одежду по деревянным вешалам.

* * *

В бане остался её запах! Уже узнаваемый, значит, запавший в душу. Теперь стало совершенно понятно: он очень хочет, чтобы она осталась. Насовсем. Чтобы она была и утром, и днём, и вечером... и ночью. Дед вытянул руки и осмотрел себя сверху вниз. Радостного, то есть красивого, было мало. И мышцы висят потянутыми верёвками, и тело — старчески белое, со вздутыми голубыми венами по рукам и ногам

«Эх, лет бы двадцать сбросить, тогда другое дело...» В шестьдесят он ещё очень хорошо себя чувствовал и не знал, как какой орган в теле называется... Но, вот за эти двадцать лет узнал, причём досконально и доподлинно.

Ещё плеснув на камни, он вытянулся на полке, наслаждаясь заполнившим парилку жаром... «И козу надо вернуть обязательно! Хорошо, что денег за неё не взял. Что теперь деньги?»

Дождавшись обильного пота, вышел в предбанник, минут десять остывал. Хотел ещё погреться, но передумал. Надо обязательно побриться, и Иван приступил к этому серьёзному делу. Сначала обильно нанёс на лицо пену из пузырька. Затем станком со вставным железным лезвием срезал высокую щетину, злясь и ругая себя за лень: ведь дома лежала электробритва, которой такой волос брился легко: «Сидел кого-то, мечтал, как маленький, нет, чтобы убрать щетину».

После этой пытки снова тщательно намылил лицо и теперь уже добривался кассетной бритвой, под которой щетина не скрипела, а хрустела, как вчерашний снег морозной ночью... Это было так долго и трудно, что к окончанию этой экзекуции он опять весь вспотел и возрадовался, что второй раз не стал париться. Вышел в предбанник, посидел минут пять и пошёл обмываться.

Из бани шёл уже по сумеркам, с трудом натянув на сырое тело одежду. Вот как... застеснялся своего стареющего тела? И ведь халат, тоже подарок сына, есть. Но первобытное волнение всё из головы выбило.

«А как же теперь быть? Что говорить? Может, выпить стакан, развязать язык? Но нет, обещал бабке не пить, и не к чему, не пойдёт разговор — буду молчать. Хотя, что я, немтырь, что ли?» — и, немного оклемавшись на прохладе, он вошёл в дом.

* * *

Она его не ждала! Именно в том, хорошем, смысле, когда человек берёт ответственность на себя. За это короткое время протёрла пол, убрала со стола накопившуюся после Прониных «испытаний» грязную посуду и собрала на столе ужин.

— Я немного похозяйничала, ничего? В холодильнике много всего, но только половина испортилось, пришлось ликвидировать. А из того, что осталось, вот, ужин...

Иван осмотрел дом, теребя не застёгнутую рубаху, и узнал тот же уют, который был при жене. Ведь всего час, а заметное одинокое отчаяние дома превратилось в спокойную уверенность. Прямо смотри, как всё опять здорово, смотри! Вот, что делает женщина, без сомнения, главное, что есть на земле после Бога!..

Иван аккуратно прошлёпал голыми ногами в комнату, и Надежда воскликнула:

— Ох, смотри, и бороду ликвидировал! — она подошла и открыто посмотрела на него. — А зря, вернее, надо было щетинку оставить, так — голое лицо беззащитное. Вам везёт: свои года можно под щетиной прятать, нам в этом плане труднее...

Она заставила его снять рубаху и, накинув на шею полотенце, скомандовала: — Вытирай пот и штаны тоже сними, оботрись. Ляг на минутку, остынь...

Иван послушно лёг и, прикрывшись полотенцем, закрыл глаза...

Она, незнакомая ему женщина, ходила по дому, звенела посудой на столе, передвигала стулья. А он? Он был этому рад, по крайней мере, доволен. И только навязчивая мысль о жене, вернее, память о ней, стояла в душе колом... Он вдруг задремал, но, услышав её голос, встрепенулся и попросил:

— Надя, пожалуйста, в шкафу тоже халат висит. Сын нам обоим привозил тогда, ещё десять лет назад. Я с той поры его раз одевал...

Она быстро его нашла и, подавая, улыбнулась

— К столу! Ужин поздний, поэтому лёгкий, не обесудь...

...Он шёл по саду, придерживая одной рукой халат ниже пояса, чтобы полы шибко не распахивались. Ещё бы, под халатом он был, в чём мать родила, и это его

очень стесняло и смущало. Не такой он человек, чтобы внимание людей привлекать... Люди вокруг, их много, но он за Марфой идёт, а она уходит. Быстро, не оглядываясь, но кричит ему, а он слышит!

— И отстань, говорю, не торопись. Тебе ещё здесь дел много, и дом поправь. Да не ходи больше полуголый, как артист, болезнь и отстанет, — бабка завернула за забор, он побежал наперерез, глядя между штакетин. А её и след простыл...

* * *

Иван открыл глаза. В комнате полумрак, совершенная тишина — и нудный, шелестящий стук в окно шершня.

«Странно, ещё темно, а вчера только в три часа легли! Неужели совсем не спал? Но будто выспался. И как ночью через кухню разговаривали, и о чём — помнит...»

Дед, стараясь не шуметь, поднялся, надел штаны и рубаху и вышел из спальни. В кухне сумрак, так как окна завешены старыми пледами... Он осторожно заглянул в бабкину комнату: «С добрым утром!», но кровать была застелена, отчего он очень растерялся и расстроился. Не пытаясь вспоминать больше, с отчаянием заспешил к выходу, но случайно увидел лист бумаги на столе:

«Ваня, здравствуй, надеюсь, ты поспал. Окна я, как могла, завешала, возможно, это позволит тебе отдохнуть... Теперь о главном. Я посмотрела тебя, ты, как смог — меня. Увидела, что ты не такой уж и старый, как тебе самому кажется. Только растерянный. И ещё. Вчера мне показалось, что нас трое. Я, ты и твоя жена Марфа. Но её, к сожалению, уже нет. Пока это не поймёшь, я не нужна. Надеюсь, до встречи. И ещё. На шкафу телефон, заряди, возможно, тебе даже сын звонит, а ты не знаешь. Не бойся, это не бомба... Мой телефон...» Дед несколько раз перечитывал бумажку, пытаясь понять, почему она уехала, потом сложил её вчетверо и под-

сунул под телевизор. Вышел во двор и увидел копающихся в пыли кур. «Она выпустила!» — заулыбался Иван...

...Стариковское время немилосердно... Оно уже не позволяет человеку вольно обращаться с собой, всецело полагаться на отговорку «завтра», ибо «завтра» может не наступить, и всё упрямее будит с рассветом. Нет, это не бессонница не даёт спать, это время твоё волнуется: «Пора! Не успеешь, пора!» И какой глупой кажется поговорка, которой прикрывался в юности: «У Бога дней много!» и которая так предательски неуместна в старости!

* * *

Назавтра Иван попросил соседского мальчишку, чтобы тот зарядил телефон и научил им пользоваться. Вместе сходили до магазина и там, поняв, что сам не научится, Иван уговорил молоденькую продавщицу Настёнку класть ему раз в месяц деньги на телефон.

— А когда буду в магазин приходить за хлебом, высчитывай с меня!

Там же, в магазине договорился с прополкой огорода. Гнусавый, серьёзно пьющий Петька Лухов, которого дед знал ещё сопляком и чья теперешняя жена нанялась к нему на «калым», раскорячив ноги на магазинном крыльце, «трепал» ему, уходящему, нервы.

— Завтра с утра придёт. Я же потом зайду, проверю... А то, может, ты её на другое дело хошь сговорить? Так смотри у меня-я-я, божий дед... — и визгливо смеялся, цепко сжимая пластиковую бутылку «палёного» портвейна.

«Зря тебе, поганцу, ни разу в детстве зад крапивой не надрал. А ведь было за что!» — сам себе в голос высказал Иван, но, совершенно не расстроившись, спокойно направился к дому. Увидев у ворот Проню, подумал, что тот опять явился лечиться, но Лепёха даже не заикнулся про это.

— Я вот по чём к тебе, сосед. Как дела-то у вас, расскажи... И хотя мне не интересно, но знать надо, ведь дело касается обещанной тобой литовки. Так, что если у вас всё сложилось, давай мой трофей — скоро время косить, надо же косу поправить, отбить и ручку по-своему наладить! Как ты?

Иван, понимая, что ему его «сурьёзная» коса ни к чему, зашёл в сарай и из-под крыши достал свою гордость.

— Она со мной в пятьдесят четвёртом годе из Германии приехала и с той поры не подводила. Хотел её сыну передать, да сам видишь, как... — мимолётная тоска послышалась в словах, но он крикнул, взяв себя в руки, и с улыбкой подал, — на, коси. Не пожалеешь!

Проня принял литовку, как почётное оружие, подняв плечи и голову, и, невольно подыгрывая Ивану, закончил: — Спасибо. Не подведу. Верь! — по-армейски развернувшись, пошёл на свой двор.

Дед поднялся по крыльцу в дом, прошёл по комнатам, открыл окна и двери, вскипятив воду, заварил чай. Подождал, пока запарится, налил в кружку покрепче, подсластив сахаром, вытащил из пакета булочку и пошёл под летний навес отдохнуть в тенишке. Теперь оставалась забота про дрова, по возможности, угля тонны две подкупить, и можно будет зиму встречать...

— Вот жизнь какая штука: ещё лето путём не началось, а уже думаешь о зиме... Нет-нет, стоять не надо. Но и гнать некуда.

Булочка угадала вкусная, он с удовольствием её доел и запил ароматным терпким чаем.

— Ну, что же, надо сарай осмотреть, козе чтобы зимой тепло было да курам... Баньку, чём поправить, — и он с удовольствием глубоко вздохнул.

Всё же решил старый Иван жить дальше, решил — и приступает!

* * *

Пятого июня ночью запел телефон. Иван, не выключавший ночью света в кухне, от неожиданности не мог понять, что это, и скакал голоногий по комнатам, пока не нашёл телефон, стоящий в стакане у телевизора. Стараюсь не «задавить» две, нажал зелёную и, приложив к уху, услышал с восхищённым испугом такой вдруг близкий и узнаваемый голос сына, до невозможности похожий на Марфин.

— Отец, Господи, здравствуй! Я звоню тебе уже какой раз, думал, что так и не дозвонюсь. Как ты?

Иван помолчал, прижимая пластмаску к уху, и заплакал, не в силах ответить. Наконец, справившись с собой, прохрипел:

— Привет, сын! Я хорошо. Ты как?

— Да всё здорово у меня, отец. Мы в порту, дома уже. Я девятого прилечу. Девятого! Жди меня, батя! — связь оборвалась. Иван с укором смотрел на телефон, так мало позволивший радости...

А за десять тысяч километров, на берегу Великого океана стоял его сын, капитан, стоял и тоже плакал, не стесняясь своих слёз...

* * *

Девятого с утра дед был готов. Не спал он с полуночи, крутился под одеялом, как ребёнок, и, в конце концов, скатав простыню в канат, вылез из-под одеяла и прошлёпал в кухню. Самое интересное, что спать хотелось, но что-то очень важное, но недодуманное, тревожило и не давало покоя. Налил кефира, который стал пить, как узнал, что он полезен для желудка, сел к столу и задумался.

Да что греха таить, боится он, как отнесётся сын к его желанию жить с Надеждой. Как же, конечно, мать для него всегда мать — и всё! Но расслоила жизнь его любовь к матери на много других: любовь к жене, потом к детям, к морю, наверняка, к земле, а ещё больше — к

Родине! И, возможно, маленько к нему, к отцу — с кусочек, хоть с ноготок, но есть! А если есть эта капелька его любви, то поймёт он, что отец ещё хочет жить и не предаёт мать его, а ищет возможность жить полноценной жизнью своей, с памятью о ней. Дед запутался в мыслях, допил прохладный кефир и пошёл раскручивать простыню. Нет, не умеет он, наверное, складно думать, ещё меньше складно говорить... Надо было с Проней шпаргалку написать, как в школе! Проня умеет излагать, подсказал бы чё! Но «хорошая мысль приходит опосля»...

В восемь Иван уже приготовился к встрече с сыном: был собран и умыт. Хотя и понимал, что день большой, решил ничем не заниматься, чтобы не ударить в грязь лицом. Поэтому даже завтракал с утра быстро, как солдат в походе. Проверил тщательно порядок в доме, поправил в бабкиной спальне фотографии, наколотые над придвинутым к стене столом, одёрнул занавески, пощёлкал выключателем, проверяя свет, и, ещё раз оглянувшись на пороге, удовлетворённый, вышел.

Не удержавшись, прошёлся по тёплой пыли, шуганул курей, накопавших опять ям вдоль забора, проверил готовность бани к растопке и другой стороной ограды вернулся под навес. С удовольствием сел на старый, выдавший виды, но такой родной кожаный диван с удобно продавленными ложбинами для спины, закрыл глаза и легко, как по заказу, чутко задремал...

В десять разбудил прикативший на велосипеде Проня, приодетый в новый, цвета хаки, «солдатский» костюм. Иван, понимая ответственность предстоящего, предложил ему чаю, на что хитрый и напористый Лепёха заметил, что «чай не водка, много не выпьешь»! Иван вздохнул и закрыл глаза, после чего Проня пошёл на попятную.

— Только не крепкий, а то и так вспотел, как конь,
— вообще взмокну!

— Дак тыними куртку-то, чё паришься?

— Ты не поймёшь: в этом костюме резинка на штанах хитрая — даже не резинка, а завязка. И вот, когда я завязываюсь потуже, чтобы штаны не спали, они вздуваются на заднице, то есть на бёдрах, как шаровары! Вот и приходится куртку не снимать, чтобы этого смешного вздутия не видно было... — Он сел на диван и, замолчав, смотрел на закипающий чайник, шевеля губами. Когда чайник щёлкнув, отключился, Проня с восхищением заговорил:

— Я вот не электрик. Не понимаю, электроны-протоны... Но всегда, заметь, всегда восхищаюсь умом тех, кто это придумал. Вот смотри, чайник вскипел и — раз, выключился, как и не было ничего. Это же здорово, согласишься? Теперь, может, помнишь, у меня в девяностых чайник был, — он вопросительно смотрел на Ивана и тот, чтобы Проня отстал, кивнул, — так я только однажды про него забыл, он так шарахнул, когда в нём вода выкипела, как мина пехотная, не меньше! И хоть дом и не пострадал, но избу я самолично два раза мыл тёплой водой от налёта белого, словно мел. — Он замолчал и, не в силах терпеть, снял куртку, оказавшись, действительно, с такой смешной талией, что Иван весело рассмеялся.

— Да ты, Проня, куртку сам носи, а штаны бабке подари, у неё бёдра, как раз по ним, она в них в лес будет ходить, по грибы...

Проня подскочил и, накинув курточку, пошёл, почти бегом, домой, забыв свой зелёный, с белыми буквами велосипед. Пришёл он обратно минут через десять и радостно сообщил: — А она и рада! — говорит, ей такая одежда очень нравится!

Потом в течение сорока минут они вприкуску с карамельками пили пахучий вкусный чай, не разговаривая, чтобы не портить уюта процесса. Два раза подогревали и, уже ближе к завершению, по пояс разделись, вспотев до мокрого.

— Не переживай: как пыль увижу от такси, дам

отмашку! Ты быстро свою красивую одежду на себя скидаешь... — успокоил друга Иван.

Напившись, полчаса поговорили о «разном» и вскоре задремали оба, обласканные теплом под навесом, закрывающим от горячего солнца!

* * *

Иван вздрогнул от севшей на лицо мухи и проснулся. На него глядели Марфины глаза — весёлые, задумчивые, понимающие или осуждающие, но до боли родные!

— Здравствуй, отец, наконец, я дошёл до своей земли, до вас...

— Сын! — Иван вскочил и кинулся к нему, большому и пахнущему солью, а тот присел и склонил лысую уже голову, чтобы отцу было сподручнее его обнять, дышать им за двоих: за себя и за мать, которая не дождалась...

— Сын, где же ты так долго мотался, бродяга?

— Это море, отец!..

Два человека стояли, упёршись головами, и слёзы капали из их глаз. А души обоих, торопясь, разговаривали, пытаясь понять и оправдать друг друга...

— Ну, если это мне не снится, я пошёл растоплять баню? — они опомнились, враз посмотрев на умного Проню.

— Нет, дед Проня, теперь это уже не сон. Растопляй! Я десять лет не испытывал такого наслаждения, и все десять лет мечтаю об этом...

Проня встал и, махнув рукой на брошенную рубаху, направился в баню. Будет сегодня нужный жар!

* * *

Сын приехал не один. Когда стаскали в дом все чемоданы, и такси ушло в город, Проня, успевший растопить баню и даже помочь нести тяжеленную, звенящую стеклом сумку, увидев оставшегося во дворе парня,

спросил у Ивана: «Внук?» Иван, засмутившийся своего незнания, справился у сына.

— Это, батя, брат жены, младший. Звать Коля. Он немного больной, жена попросила взять его с собой, может, новые встречи и впечатления настроят его на здоровье. Я потом всё подробно расскажу, не переживай.

Дед подошёл и, протянув руку, назвался. Молодой человек улыбнулся и, пожав её, ответил: «Николай! Двадцать пять лет, как с куста, не больше и не меньше...»

Проня тоже подал руку и назвал себя, за что новопредставленный Николай зацепился:

— Приятно. Наверно, старый друг? И имя интересное — Проня! Что-то такое массивное сразу в голове, типа бро-ня! А меня, как вы, наверное, слышали, Коля, Коленька, но лучше Клемент! — надёжнее...

Затосковавший Проня пожал худые пальцы и, ничего не поняв, убежал в баню. Там, подкинув дров, решил: наверно, писатель какой, они все — то Горький, то Тополь, а то ещё хлеще — Корней! — Успокоиться он не успокоился, но хоть какое-то объяснение...

Иван отвлёк его от мыслей и, не вводя в курс дела, радостно предложил:

— Сбегай домой, пускай вечер твоя придёт, посидим, порадуемся вместе. Это же прям счастье для меня, Проня. Ведь, если следующего приезда ждать, опять десять лет, мой шанс очень мал! Поэтому — праздник! Предупреждай жену, а сам наперёд приходи, попаримся! — и Иван, улыбаясь, трусцой, как-то в пол-оборота из-за хондрозной напасти, заспешил в дом.

— Во, Божий дед заскакал, как молодой, ну, или почти молодой...

* * *

Когда радость в доме, время летит незаметно. В баню ходили всем мужским кагалом. И, хотя кроме сына все остальные (деды) парились «игрушечно», однако потели под навесом по-настоящему, отираясь

постоянно рушниками. Николай париться не любил, но, отвечая за чай со смородиновым листом, потел не меньше остальных. Он был неожиданно весёлым и высказывал мысль, что пот — следствие горячего питья! Над ним смеялись и предлагали после отжать полотенца: с кого больше набежит. Про ужин забыли и, если бы не баба Лиза, собирающая на стол, парились бы до утра. Сын Ивана, наверное, привыкший кричать в океане, восхищался жизнью громко и торжественно, вспоминая свою деревенскую юность, потом службу в армии — и плавно переходил к морю. Начинал рассказ о жене и детях и, радуясь воспоминаниям о них, снова переходил на морскую тему: как это всё помогает там. Когда же он, как Посейдон, перевязанный простыней, заговорил уже об океане, на их счастье, баба Лиза позвала всех в дом.

Стол был яркий, красивый и необычный. Банки, о содержании которых консервативная баба Лиза не догадывалась, были просто открыты и поставлены на стол. Само собой, салат из городских, без привычного аромата, овощей, был нарезан в большую чашку. Но поскольку эта еда вызывала у бабы Лизы справедливое подозрение, из съедобного были: надёжное сало, заманчиво лежащее на широкой кухонной доске, и картошка в большой кастрюле, парящая и разваливающаяся! Баба Лиза, смущённо улыбаясь, предложила:

— Я по-ихнему не понимаю и, хотя в банках всё, вроде, похожее, мешать не решилась, давайте, каждый по отдельности рискуйте. А кто не рисковый, ешьте съедобное, — и она показала на картофель и сало, выделяющиеся на столе особняком.

Сын Ивана долго объяснял: и что такое это есть и как употребляется. Потом открыл красивую бутылку и всем налил понемногу в стаканы.

— Это текила — ихний самогон из кактуса, — он вдруг запнулся, взглянув на отца, и продолжил, — нет, давайте своим, нашим, помянем...

Налили водки и, молча, выпили, перед этим покрестясь. Дед Иван пил вместо водки извлечённый из погреба ранеточный компот, а Коля не пил ничего и не крестился...

Заедали тоже молча, потом заговорили о разном. Ещё перед застольем дед Иван предупредил сына, остановив его на крыльце: «Сынок, давай все дела относительно матери завтра обсудим. Сегодня помянем немного и просто посидим, пообщаемся, о себе расскажешь, о детях, жене да просто о жизни...». На том и порешили.

Неожиданно инициативу перехватил Проня. Он долго, с подозрением смотрел на цветную бутылку и на жидкость в стакане и, наконец не выдержав, поинтересовался:

— А ты скажи мне, моряк, объясни уж отсталому, как это можно из кактуса, прости, Господи, самогон гнать? Или ты над нами шутишь, по незнанию?

— Да нет, зачем шутить? Они кактус, кстати, не домашний, маленький, а огромный, с человека, подрезают и сок с него берут, как у нас с берёзы. Сок сладкий. Они на нём и делают брагу, потом перегоняют.

Проня, попробовавший это питьё и, узнав, сколько это стоит, вконец расстроился и, слушая почти весёлый разговор, умолк. Он совершенно не мог понять, почему это так это дорого, ведь у нас гораздо вкуснее и доступнее: «Текила!» — но бутылку в конце вечера унёс с собой, как выигранный трофей...

* * *

Они сидели за кухонным столом вдвоём и уже долго молчали. Первым начал сын.

— Ну вот, отец... Всё быстро так катится, что кругом не успеваешь. Домой придём, пока документы, дела капитанские, то, сё... Потом жена, в которой хочется забыться, о которой думаешь и мечтаешь долгие недели, запахом которой надышаться не можешь несколько дней. А дети! Маленькие были, они с меня

не слазили, спать с собой брали, только чтобы был всегда рядом! А вы есть и есть. Позвоню раз в месяц — и вроде как всё хорошо, вроде как так всегда и будет... А нет, оказывается — не всё так просто... Как узнал, что мать умерла, что-то оторвалось — вот как кусок тела! И всегда теперь помнить буду: нету этой части, и заметить нечем. Вот беда... — Сын долго смотрел на отца, вглядываясь и, наверное, запоминая.

— Ты только, батя, сам держись, прошу тебя. На следующий год обязательно приеду и внуков привезу, и жену. Береги себя, живи, отец.

Он протянул руку и, накрыв своей ладонью ладонь отца, замолчал. Иван, наконец, решился:

— Вот, что, сын, послушай меня и пойми. Я долгие годы жил с твоей матерью, своей женой, и радовался. Видит Бог: ни разу не пожалел, что соединил судьбу с ней. Но... вот она умерла и я, и мне самому жить расхотелось. Вот, прям, предателем себя чувствую... Но даже это, самое страшное и то полбеды. Ухаживать за собой трудно стало, время побеждает. Я теперь засов за собой в дом не закрываю, чтобы, если что, долго не киснуть... — Дед вдруг перешёл на шёпот и по-детски заплакал, — веришь, нет, пугаюсь беспомощности своей, как кары небесной, которая страшна даже в неведении, не дай, Бог! — он замолчал. Молчал и сын.

— Но вот теперь появилась женщина, — он посмотрел на заулыбавшегося и поднявшего брови сына, — и она согласна жить со мной! Вот... Но я не предатель, я всегда буду мать помнить и любить, я... — Сын подошёл к Ивану и теперь сам, по-отечески прижал его голову к груди.

— Вот и хорошо, отец! Вот и живите! Вот теперь я и спокоен, видит Бог! Как же это правильно, батя!

* * *

Утром сын ушёл на кладбище, надев свою парадную капитанскую форму, спозаранку выглаженную. Он — высокий, красивый и строгий, взяв цветы, попросил отца:

— Ты, батя, попозже подходи, я хочу один вначале побыть с ней, поговорить, прощения попросить. Через часок подходи, и вместе посидим. — Он спустился с крыльца, поправил фуражку и пошёл, по-флотски чуть покачиваясь, в сторону кладбища. Иван, проводив его взглядом, направился к курам: собрать яйца и выпустить их, уже нетерпеливо переговаривающих в сарае.

Жена Петьки, похожая на него говорливостью, огород прополола хорошо и по отдельному договору уже два раза полила. Поэтому, к радости деда, на грядках всё было зелено, ровно и густо. Полюбовавшись, Иван вошёл в дом, где застал сидящего в трусах на табуретке Николая. Сегодня он выглядел как-то невзрачно: неulyбчивый, взлохмаченный и, заметно, худой.

— Доброе утро, — дед подождал ответа и, не дождавшись, продолжил, — ты чего такой худой, парень? Заметил я, совсем без аппетита ешь — плохо. И что за хворь в тебе, рассказывай. Может, научу, чем полечиться...

Парень, повернув голову, без улыбки ответил: «Курю я, дед! Вот курю и не могу завязать. И сила есть, — он с сарказмом посмотрел на согнутую в локте руку, — и желание, — Николай уже улыбался с отчаянием, — а силы воли нет! Гадко...

— Да ладно, брось. Я до пятидесяти лет курил, а потом раз — и бросил, и ты сможешь. Да и не часто ты куришь, я, кстати, так и не видел тебя курящим...

— Я курю редко, но метко... Так курю, что не дай, Бог, никому. Любитель! Фанат этого дела! Раб, можно сказать. — Он встал, взял штаны и рубаху, вышел, направляясь в ещё тёплую баню. Дед смотрел вслед и совершенно не мог понять, о чём парень говорил.

Мылся долго, Иван уже заволновался, когда тот вернулся. Поразительно, но вошёл он другим: с блестящими глазами, по-франтовски одетым, со снисходительной улыбкой на губах.

— И, возвращаясь к нашему разговору, замечу, что это не так уж и плохо, но... затратно в плане средств

и заодно здоровья! Поэтому стараюсь держать себя в руках, на жаргоне боксёров — контролировать... — Он потёр зябко руки и закончил: — Теперь идём к бабушке, не знаю, кем она мне доводится. Но не важно, потому что догадываюсь: человек она была хороший. — Он на носках ловко развернулся и, легко толкнув дверь, вышел. Дед — за ним, по-стариковски суетливо заправляя рубаху в штаны.

... Сын стоял у могилы и был замечен издалека. Дед вспомнил, что стульчик унёс, а лавочку ещё не сделал, и пожалел сына: «Уже час стоит, присел бы, что ли, на землю, она уже тёплая, однако я — пень...»

Они, тихо и молча, подошли, встав рядом. Дед, как ни старался, не смог себя сдержать, но плакал тихо, утирая слёзы со щёк по очереди.

Николай вдруг перекрестился, тихим голосом произнёс: «Земля пухом, и царствие небесное, на веки веков», — и скорбно склонил голову...

...Да, именно так, пускай уж она в царствии небесном отдохнёт от суеты мирской, от дел праведных и трудных. Да пускай всем на том свете места хватает. Возможно, действительно, там есть рай кому-то, а кому-то — просто покой... Ну, а память? Она долгая о людях и хороших, и плохих — каждому по его заслугам.

Николай, нетерпеливо потоптавшись, побрёл вглубь кладбища, к старым, каменным крестам, величественно нависшим над осевшими могилами. За кладбищем, в высоких кустах он заметил остатки строения и, подойдя ближе, по некоторым приметам узнал развалины ещё, наверное, дореволюционного, совсем небольшого храма, с округлыми стенами и обрушенным временем деревянным куполом. Он остановился, пораженный и, уставившись в окно под чугунной решёткой, подумал: «Время! Как же оно жестоко и неумолимо в своём устремлении мчать дальше и дальше, в своём желании похоронить прошлое и родить новое, неузнанное, но уже неотвратимое... И как же жаль этого

прошлого, с крестами и развалинами существовавшей раньше жизни!»

Очнувшись от размышлений, он прошёл через главный вход немного дальше по битому кирпичу и вытащил из кармана маленькую железную коробочку. Бережно достал из неё небольшую сигаретку, склонив голову набок, прикурил и, вдохнув дым, закрыл глаза... Потом ещё и ещё раз. Подождав минуту, легонько сбил огонёк о край коробочки и, положив в неё окуроч, сунул в карман... «Хорош, до вечера... А то мысли поплёрли слишком умные, как бы чего не придумать на грех...»

Он улыбнулся, неторопливо перекрестился и пошёл обратно, «в жизнь», из этого тихого умиротворяющего покоя.

* * *

Поздно вечером отец с сыном сидели вдвоём за обеденным столом и тихо, стараясь не мешать спящему Николаю, беседовали:

— А познакомь меня, отец, с той женщиной, про которую говорил.

Иван немного помолчал, налил в стакан чая и, подняв, посмотрел через него на лампочку.

— Вот не могу чай пить из другой посуды: цвет очень нравится, он у разного чая разный. Веришь, заварю и по цвету уже и вкус его чувствую, и терпкость, и крепость даже... И если не ошибся, то радость какая-то. Как в детстве, когда конфетку мать разломит на всех, а нас пятеро: один за одним; я — старший, мне восемь, — и по крохе всем. Но я свой кусочек младшей сестре сую, чтобы та хоть сладость почувствовала... А сам на фантик смотрю цветной и вкус-то чувствую, словно эту конфету съел... Так-то... А теперь вволю всего, из-за этого и чувства у людей пропали, может, поэтому и не ценится ничто в жизни, по-настоящему. Да и про веру забыли, а про неё, вообще, забывать нельзя...

Сын смотрел на отца и не мог понять, о чём тот пытается ему сказать. Отвык он за столько времени от всего, и жизнь эта сейчас для него незнакома... Помолчали.

— Нет, сын. Я пока не решил, смогу ли я без бабки жить, забыть её?..

— Да ты не забывай. Зачем? Это же не измена, это сейчас для тебя выход, если не спасение. Сам же понимаешь...

Отец задумался. Сын зашел в комнату и вынес небольшой пакет.

— Послушай меня, отец. Обидно, но до сорокового дня я остаться не смогу. Считаю, двое суток на дорогу, с заездом к родне жены... Да и дома хочется побыть дней несколько, сам понимаешь. Поэтому я завтра уеду. А вот это, — он раскрыл пакет, в котором оказалась пачка тысячных купюр, — матери на памятник и на помин в сорок дней...

Иван, ещё не понимая, что сын собирается уезжать, глядя на деньги, слегка опешил: «Она не хотела памятник: тяжело, говорит. Зачем? По жизни даже одеялом толстым не любила укрываться. Мы с ней однажды говорили об этом. И хотя я не думал, что так всё обернётся, её наказ помню: оградку лёгкую и крест православный, деревянный, и цветочков мелких, полевых...»

— Хорошо, тогда не знаю, но деньги возьми. Хоть что-то сделай от меня, молитву закажи, чтобы с приездом сюда попа. Ну, ведь знаешь, что делать надо, отец!

Иван молчал, только теперь осознав, что сын уезжает. И не обида, а тоска нестерпимая сдавила ему грудь. Сдавила всю: и слева, взяв сердце в тиски, и справа, там где, наверное, душа обитает...

— И ещё, отец. Колька пускай поживёт недельку у тебя? Он сегодня так просил, прослезился даже. Говорит, храм нашёл и, постояв там, силу какую-то обрёл и веру... Может, и поможет ему пребывание здесь с его болезнью... Я через неделю позвоню, мне расскажешь, как он. Если что, по телефону его осажу, мигом смотается.

Иван сидел, боясь что-то сказать, еле сдерживая слёзы: неужели не понимает его сын, что, скорее всего, последний раз они сидят за одним столом? Неужели не чувствует это его закалённое сердце?..

Утром сын уехал. Он, молча, постоял у ворот, глядя на согнувшегося отца, руками придерживающего накиннутый пиджак. Напослед обнял его, прошептал:

— Жди, отец. Жди и верь, я не забуду ничего и никогда. Надеюсь на тебя, как в детстве во время грозы: ты самый сильный и правильный...

Машина тронулась. Иван машинально сделал несколько шагов вслед и долго, до чёрных точек в глазах, смотрел, как она боролась с подъёмом на холм, блестя задним стеклом, и как резко исчезла за ним, оставив долгий, плавно оседающий шлейф пыли...

* * *

Ближе к вечеру явился Проня и очень удивился, узнав, что сын Ивана уехал.

— Сорок дней же через неделю, дожждаться не мог?!

— Значит, не мог, Обещал через год, со всей роднёй приехать. И внуков привезть, я младшего совсем не видел. И сноху уже не помню.

— Да им что до нас! У меня вон двое, но я не только их, а даже на внуков всласть не насмотрелся. Сами работают, внуки в лагерях заняты... Вспоминают, когда картошку садим, да копаем, и — всё. — Проня махнул рукой, уверенный, что его поняли.

Иван, не обращая внимания или не услышав Проню, продолжил:

— Денег оставил, сто тысяч. Представь! Просил бабке что-нибудь сделать на могиле. И отпеть на сорокост. Интересно, сколько сейчас всё это стоит? Хватит, нет?

Из соседней комнаты зашлёпали ноги, и вынырнул, как всегда отдыхающий после обеда в домашней прохладе, Николай. Он сел к столу и, отхлебнув из чашки, вклинился в разговор:

— Вообще, это пережиток времени и неправильная стратегия жизни и смерти. Это пока живёшь, что-то хочется, а уж если умер, то лежи и молчи. Ничего им, мёртвым, не надо. Уж поверьте. Я вообще согласен с соседями по Европе. У них, если покойного кремируют, то вообще труп в коробке бумажной жгут. Зачем деньги тратить, если всё равно пепел по ветру. А если в землю, то, наверно, пластиковый гроб, как бутылка из-под воды, только большая. Во — экономия! Во — цивилизация! Это же нанотехнология на службе людей, — Николай засмеялся и пошёл к выходу, — а вы: памятники гранитные, ограды кованые, поминки многолюдные...

Деды сидели, оглушённые услышанной тирадой.

— Поди, врёт про коробки, — Проня по-настоящему был удивлён, — это чё, кошки, что ли? У них же тоже церковь есть, не разрешила бы...

Иван же уловил в словах парня скорее презрение, словно разговор шёл о чём-то, что его обязательно минет...

А Проня, собираясь домой, всё бухтел:

— Ну, не зря, он сам-то кто, непонятно! То он Коля, то Клемент, то где-то бродит, то спит, как суслик зимой...

Иван, положив деньги в шкаф, за стаканы, посмотрел на часы и пошёл управляться.

* * *

... Жара он ещё не чувствовал, но точно понимал, что бумага загорается быстро. Вдалеке кричали по-козьи, пронзительно и страшно. Он сам, вытаскивая голову из коробки, твердил упорно кому-то: «Дайте хоть рубашу надеть, рубаш-то у меня много, ещё ненадёванные есть. Что уж совсем-то по-паскудному в майке бумажной, как нищего?» — но на него не смотрели, отворачивая головы, упорно несли к костру. «Какая тебе разница, болтун? Помер — молчи. Всем вам не угодишь, а экономия какая — миллионы...» — Иван захрипел засохшим во сне горлом и проснулся.

— Что же это за сон, Господи, прости? Разве так можно?!

Он скинул одеяло, вытер рукой потный лоб и с трудом поднялся. В дальней комнате горел свет, немного освещая кухню и входную дверь. Дед заглянул в спальню к Кольке: кровать была заправлена. «Он же, когда сорвался, всё брошенным оставил. Неужели приходил и опять ушёл? Вот слух: совсем никуда не годен становлюсь.» Отпив глоток холодного чая, немного постоял, но, ничего не придумав, лёг — «утро вечера мудренее!»

Утром Колька не появился. Дед выпустил кур, как обычно, обошёл двор, заглянул в огород. Почему-то начал волноваться, вдруг подумав, что этот парень — человек чужой, и ему, Ивану, придётся отвечать за него... Не найдя объяснений и от волнения забыв помыть лицо, заспешил к Проне. Тот, словно ожидал Ивана, стоя у ворот:

— Никуда не денется твой родственник, не психуй зря. Он, хоть и непонятный, но всё равно, вроде, мужик. Так что «Шерша и ля, и фа»! Скорее всего, у какой молодки или солдатки пересиживает ночь... — и Проня игриво ухмыльнулся.

Иван успокоился и пошёл домой. «Что, правда, забегал? Ничего не случилось неожиданного. Вот, нервный какой стал...»

Воротясь домой, он сразу прошёл в баню и судовольствием помылся по пояс прохладной водой. На кухне включил чайник и полез в сервант за чаем. Попутно сунул руку за посуду — денег не было! Иван ещё раз тщательно пошарил рукой, снова не найдя, подвинул стул и, теперь, досконально переставляя стаканы, всё перепроверил — нет! Дед испуганно сел, пытаясь сообщить, что же произошло в его жилище. Денег, данных ему сыном, не было! Насколько бы он ни был забывчив, но про то, что сунул пачку в шкаф, помнил. Помнил даже разговор перед этим. Но и всё. Ни Кольки, ни Прони,

после этого не было. Он вышел во двор, сел на любимый диван и, вытянув ноги, закрыл глаза.

«Может, повспоминать? Вдруг ночью, когда вставал, перепрыгал? Но нет, помню же, что вставал, помню даже, что снилось. Вот беда, и подумать даже не на кого, все свои, разве можно?» Он почувствовал, как заныло в затылке и, пытаясь отвлечься, чутко задремал...

* * *

Хлопнула калитка. Иван открыл глаза. К столу подошла улыбающаяся Анна, жена Лухова Петьки, по молчаливому согласию деда следившая за огородом.

— Привет, деда, — она окинула его внимательным взглядом и продолжила, — не болешь? А так и есть, вы старой закалки люди, вы и болеть-то не умеете, как надо. Вон мой болеет, так болеет! И скулит, и воет, и болтает его ветром, как старое пугало в огороде. И ведь иной раз даже жалко становится, спрошу, что случилось, чем помочь? Но только зря сердобольность показываю, всё одно — выдели на опохмел! Это у него какая-то болезнь новая, где лекарство — портвейн... Он даже аппендицит этой гадостью лечил четыре дня. И только когда сознание потерял, и мы вызвали «скорую», оказалось, что там уже всё, что набухало, лопнуло. Сорок дней в больнице лежал, еле спасли... А выписали, говорит, что врачи чуть не зарезали. Мол, дома бы отлежался, ничего бы не случилось...

Она с грустью попробовала засмеяться, но вышло плохо и горько. Опустив глаза и как-то постарев за эти минуты, продолжила:

— Давно бы ушла, но — куда? Смотрю, почти все так живут: мужики с ума посходили, бабы злятся, дети без присмотра и уважения родителей... Работы, что была в совхозе, нет, всё украдено и продано. Позавчера смотрю, в последней базе, около кладбища которая, люди бродят. Через страх зашла, а там наш управляющий с бывшим механиком... И что, думаешь, делают?

— она уже со злостью смотрела на деда. Тот, не понимая её возмущения, молчал, — Они последние стойла коровьи железные вырезают да поилки чугунные отламывают... Бряк кувалдой, поилка — хлоп, отломилась, десять кило в кучу. Я глазам не верю, что делаете, говорю, разве можно? Это же всё ещё заработать может, вдруг власть про нас вспомнит? А они, подлецы, смеются:

— Когда вспомнит, не знаем, а нам есть сейчас надо, и дальше — хлоп, вжик, брык. — Она вдруг заплакала: — А мне, что есть сегодня и завтра, и потом, а? Я на этой базе десять лет счастливо работала и горя не знала. И вот, иду вчера домой, веришь, живая, но, как убитая... Они же во мне надежду и ту, сволочи, убили, а без неё, как жить, без надежды?..

Аня, положив лицо на стол, заплакала. Дед, в испуге забежав домой, вынес ей воды в гранёном стакане. Женщина выпила и, чуть успокоясь, встала.

— Завтра приду, всё сделаю. А постояльца твоего, болтушного, ночью Петькин брат младший, Тимка, в райцентр увёз на мотоцикле. Говорит, тот всю дорогу смеялся и песни церковные пел. Там дал ему за провоз тысячу, новенькой бумажкой и растворился, как дым. Тимка даже испугался: был — и исчез. Ну, до завтра... — Анна пошла, чуть покачиваясь и вытирая глаза рукавом кофточки. Женщина, которая в свои сорок пять не видит перспективы на счастье, пускай маленькое, но своё, здесь... Женщина, которая ночами воет в подушку без слёз, которых у неё почти не осталось, как и у многих российских баб...

* * *

Дед направлялся к Проне, обдумав всё. Целый час он ломал себе голову в раздумье, зачем парню столько денег. А потом вспомнил: он же болеет. И сын говорил, что у него (Николая) какая-то хитрая болезнь, которую надо перетерпеть! И хотя почему так, Иван не понимал,

но, что деньги постоялец взял на лечение, вдруг его успокоило. «Спросить постеснялся, наверное, думал, не дам. Вот дурында. Хотя, конечно, все бы не отдал, но тысяч восемьдесят, пожалуй, смог бы...»

Он убедил себя: вылечившись, Колька деньги вернёт — это же долг!

Но теперь нужно было что-то решить с оградой на могилу и, возможно, крест установить новый: побольше и покрасивее... «А прежний, то есть этот, что стоит, себе оставляю. Не шибкий барин, под простым полежу!»

Успокоенный этими благостными мыслями, он топал к Проне.

Проня со стороны огорода выкашивал из-под забора траву. Увидев Ивана, радостно заулыбался:

— Косит сама, сосед. Я, прямо, восторгаюсь. Ещё маненько рука не привыкла к новому ходу, но, думаю, за недельку пообвыкну — и в лес, колки окашивать.

Он дошёл до угла и, остановившись, ждал. Иван начал без предисловий:

— В общем, Проня, мне твоя помощь нужна.

Тот, ожидая не этого, перебил:

— Колька нашёлся?

— Я про это и говорю. Кольку я отправил лечиться, здесь ему не помогает...

— Правильно, — вставил Проня.

— Вот и я говорю то же. Дал ему денег и отправил, пускай здоровье поправит...

— И много дал? — не унимался Проня.

— Ты что, как баба молодая, не терпишь. Всё скажу, не выбивай слово...

Проня поднял руку, как бы извиняясь: «Прошу, прошу...»

— Поэтому денег осталось мало, и я подумал вот что. Давай попросим Саню Лыко, он же плотник от Бога, с душой, пускай крест красивый сделает и лаком его, того... А мы сами оградку деревянную на столбиках навесим, лёгкую, зелёную, как любила она... А лавчонку

со столиком сделаю уже сам. Просто, Марфа не любила ни камень, ни железо...

Проня, хитро прищурившись и чуть улыбаясь, согласился: «Давай, только скажи честно, много ему отдал?»

— Не отдал, а дал на лечение... Девяносто... это, пять, — дед смущённо прокашлялся и увереннее повторил, — девяносто пять тысяч рублей.

Проня охнул, и растерянно оглянувшись, тихо спросил: «А на дело, на материал?»

— Есть у меня запас свой. И пенсия скоро, и похоронные в сельском совете дадут. Должен не останусь...

Проня согласно кивнул головой:

— Хорошо, иди к Сане, договаривайся про крест. А завтра в гараж ходим. Там армян один пилораму арендует, у него с материалом порешаем. Столбики надо из лиственницы, крепче железа будет. И штакет длиннее стандартного, но чуть поуже. Очень красиво получится. Только дороже немного, это же спецзаказ. В общем, иди, язык есть. Я сегодня здесь всё доделаю!

Иван заулыбался, понимая, что Проня обязательно ему поможет. Он, Проня, «мужик с головой», и дед, улыбаясь, потопал в деревню.

* * *

Хозяин пилорамы, невысокий бойкий мужик, которого ему представили Романом, сначала, вроде, отказал деду. Но, выслушав его до конца, серьёзно ответил, немного с акцентом:

— Правильное дело затеял, отец, знаешь! Даже шитать не надо, знаю, сколько сделаю: девять столбиков крепкое дерево, восемь прожил тоже, и штакетин сто или больше чуть-чуть...

Дед удивился, как точно и быстро тот сориентировался, что ему надо.

— А по цене, сколько это будет? Сразу скажи, я завтра деньги принесу.

Роман вспыхнул:

— Ты зачем так обидно говоришь. Я армянин, мы с тобой одной веры, понимаешь? И однажды я тоже перед Ним встану и рассказывать буду, как жил на земле, что делал. Очень хочу, чтобы мне вспомнили мои добрые дела, и чтобы их намного больше было, чем недобрых. Иди спокойно домой, отец, завтра я лично сам всё к кладбищу подвезу, к твоей жене могила... — Он простился с дедом и зашёл в жужжащий пилами цех.

Старый Иван шёл домой и чувствовал удивительную радость и воодушевление от общения с этим человеком: «Вот, надо же, кажется, вроде, и не наш... А как объяснить, что понимает жизнь лучше нашего, русского? По крайней мере, в то, что дали бы мне всё бесплатно, верится с трудом... По крайней мере, теперь...» Он оглянулся на пилораму и почему-то вспомнил, как в молодости, в конце шестидесятых, они в деревне ходили гуртом на «разбор» — обычную простую драку. Дрались жёстко, но без зла, обычно после дружив с калымщиками. А дружили, по его убеждению, потому, что армяне никогда не отступали, кровью доказывая своё право на жительство и работу здесь. «Правильно всё это, правильно!» — дед неторопливо шёл домой, радуясь ещё тому, что с ним почти все здоровались, а некоторые — даже заговаривали. «Смотри, помнит меня народ, а я думал, что уже забыли деда Ивана Нефёдова. А, оказывается, помнят и узнают...»

* * *

К сороковому дню всё было готово. Деды за два дня собрали оградку и сегодня с утра покрасили её зелёным, выделив столбики тёмно-серым.

В двенадцать подъехал Серёга Лыко и привёз на своём маленьком прицепе красивый, чуть затемнённый морилкой и покрытый корабельным лаком, православный крест! Он же дрелью на аккумуляторе прикрутил аккуратную белую табличку с фотографией, именем, фамилией и годами жизни-смерти. Крест поставили на

место, прежний же Серёга согласился завезти домой к деду. Сам дед, боясь опоздать, спросил Серёгу, сколько ему должен за такую чудесную работу?

— Да ты что, старый, окстись... Какие деньги, мы же все свои, считай... Она меня, маленького, за курево драла крапивой! Я мало, что из детства, помню, а это — как вчера. И как потом в луже за базами сидел, чтобы задница не горела! И что родителям моим не сказала про то, тоже многого стоит... Царствие ей небесное! — он завёл свою технику и укатил в деревню.

«Вот, пожалуйста, а я о своих третьего дня плохо думал! Как так можно, вот же неумный», — дед с удовольствием смотрел на крест.

Когда пошли домой, Иван открыл калитку оградки. На немой вопрос Прони ответил без сомнения:

— Душа её завтра пойдёт-полетит отсюда насовсем. А мы всё, что смогли, сделали. Пойдём с Богом...

И оба старика, один — повыше, согнув немного разбитую хондрозом спину, другой — пониже, шагающий чаще и короче, пошли молча в крайнюю улицу, преследуемые твякающей собачонкой, которая, не найдя ничего съестного на могиле, обиделась на них...

Назавтра душа Марфы, успокоенная и благодарная, полетела на суд Божий, в его обитель.

* * *

В воскресенье, в погожий июньский день в деревню П. въехал мотоцикл с люлькой и двумя седоками. Постепенно сбавляя скорость, чтобы при остановке не утонуть в пыли, они подъехали к магазину и остановились. Из люльки поднялся седой пожилой мужчина с лицом в блестящей серебротной щетине, сняв каску, что-то сказал водиле. Тот кивнул и заглушил технику. Мужчина одёрнул пиджак, выбил из брюк пыль, осевшую в дороге и, зачесав пятернёй волосы, пошёл вглубь деревни. У пятого от магазина дома он оглянулся и, не останавливаясь, вошёл во двор...

Надежда увидела его в окно и, неожиданно, радостно взволнованная, присела к столу.

Иван, войдя, секунду помолчал, слепо со света смотря в комнату и, увидев хозяйку, сказал ровным голосом:

— Здравствуй, Надя! Я пришёл просить твоего согласия жить со мной. Прошу тебя стать моей женщиной, единственной, до конца. Ты мне очень нравишься, и я всегда думаю о тебе, — он взволнованно замолчал, понимая, что из речи, придуманной Проней, забыл большую и лучшую половину...

Надежда чуть наиграно ответила, сделав шаг к нему:

— Я, конечно же, не против предложения такого достойного мужчины... я согласна, Ваня, — и, сделав ещё шаг, склонила голову на его плечо, а он неумело, но надёжно обнял свою пассию и крепко поцеловал в ждущие и такие родные губы.

А в соседней деревне, во дворе Ивана Нефёдова, чуть хмельной Проня внушал козе, аккуратно выбирающей из конотопа, растущего по двору, сладкий подорожник: «И ничего не говори, всё и так ясно. А заживёте вы с завтрашнего дня по-новому, тока как, не знаю... Можя, и меня больше не увидишь, вдруг молодая запретит — и всё! Будем два раза в год с бабкой заходить на дни рождения, если, конечно, позовут... — э-э-эх!» — и Проня, махнув рукой, поплёлся домой, пытаясь думать о лучшем.

Банный день

Ивановы тоже продавали участок. В своё время, лет десять назад, когда в развалившемся совхозе давали земли «кому надо», они взяли для всей своей семьи. Но, оказывается, что хоть участки и небольшие, по двенадцать соток, ухаживать за ними надо круглый год. Соседи с обеих сторон по новоорганизованной улице уже поставили дома, а Андрюха Кидаев — местный сорокапятилетний мужик по кличке «Выбрось» — тот, что слева, уже зимовал! Так вот они, Ивановы, решились и сообщая за месяц поставили небольшой, на сорок квадратов, домик с печкой посерединке и продали какому-то чудаку из города. Чудак этот не замедлил явиться уже в июле и оказался, по словам Андрюхиной бабы, «ничего себе парнем!». Приехал он на крытой грузовой машине, со скарбом, «всего на полчаса», по её же словам, вдвоём с водителем снёс всё в дом и снова уехал. В конце недели появился опять, теперь уже на КАМАЗе, гружёном лесом, и, свалив всё посреди двора, снова отчалил...

«Гонимый! — решил Андрюха, когда вечером жена ему всё это рассказывала. — Гонимый или наоборот, насовсем сюда перебирается. Кто сейчас разберёт, их же в городе экология всех погубила... Ты попробуй, круглый день подыши газом, да ещё и ночь. Если не привычный, через неделю голова набекрень, привычные, правда, крепче, но всё равно с незавидной регулярностью взбрыкивают. Вот, наверно, и этот так...»

В воскресенье, последнее в июле и выпавшее вдруг дождливым и прохладным, к участку соседа подкатила небольшая машинка, из которой он, сосед, и вышел. Размяв затёкшие ноги, открыл ворота и, опять усевшись за руль, проехал к самому дому. Что он там делал, не смогла разглядеть даже Андрюхина жена, как ни старалась, но уже к ночи задымила печь, засветились окна за белыми, из простыней, шторками окна...

«Всё, обживается», — решили соседи.

И не ошиблись...

* * *

С утра он побежал! Правда, во сколько он выбежал, не видел никто, но вернулся около девяти. Анна — Андрюхина жена, козу подоила и домой шла с кастрюлькой, осторожно ступая, чтобы не пролить. Новый сосед проскочил, как метео, но не успела она процедить молоко, как он появился вновь на улице, с аханьем вылил на себя два ведра воды из бочки под дождевым сливом, растёрся полотенцем и, теперь уже не спеша, вошёл в дом...

Анна искренне разочаровалась! Таких почитателей здорового образа жизни она насмотрелась с избытком. Смотришь, приезжает какой дачник или городской, просто домик снял отдохнуть, и ну, в шортах скакать да на речку бегать. И ещё зарядка обязательно, чтобы было понятно местным: многостаночник — человек спортивный, культурный, продвинутый...

Но редко, кто выдерживал марафон длиною в лето, обычно сдувались уже через неделю, край — две. И начинали вести себя понятно для деревенских. В частности, три вечера в неделю — вкусный дым от шашлыков, сначала скромная, но постепенно навязчиво громкая музыка по вечерам, и вместо пробежек — пешие прогулки до пивного ларька.

— И этот, наверно, такой... Вот беда — рядом поселился. Как бы моего не совратил, а то придётся меры принимать.

«Мер» она знала много и в этом плане была спокойна.

Так сосед попал под постоянное и внимательное наблюдение... скорой на суд и тяжёлой на руку соседки!

Как обычно для новеньких, первые выходные он провёл вполне пристойно: складывал привезённые брус и пиломатериалы в ровные два штабеля, затем почистил ограду, спалил мусор и всё воскресенье что-то делал по дому.

В понедельник рано утром машины возле дома не было.

— Работает! Значит, сильно пить не будет, — с облегчением подумала Анна. Мужа своего, горячо любимого, с которым прожила уже почти двадцать лет, она не трогала: — Зачем Андрею мои переживания знать? Ему и так нелегко нас троих (её и двух пацанов, пятнадцати и десяти лет) кормить.

И она, довольная, что он ничего не спрашивает, хозяйничала дни и ночи напролёт.

Любая женщина — хозяйка... А уж деревенская и подавно!

* * *

Вечером, видимо, после работы, сосед приехал. Анна, понимающая, что работающий человек, да ещё на машине, не загуляет, почти потеряла к нему интерес:

— Пускай живёт, время покажет, что за кадр...

Он же вёл себя совершенно нормально для человека, купившего себе ещё одну работу, за которую ему не заплатят!

Через несколько дней он, заметив, что на него обращают внимание, стал кивать головой и негромко, словно самому себе, говорить: «Здрасьте...».

С соседями он пока не общался, обходясь в работе своими силами. Дом стоял, парень активно готовил его к зиме, и это убеждало, что он сюда, пусть не насовсем, но на зиму — точно!..

Лето в деревне летит экспрессом. Казалось бы, хозяин и не ленится, с утра до вечера на ногах, а дел к осени не убывает. И дела-то такие, которые нужно обязательно переделать до холодов, иначе что-нибудь да не так повернётся. И вот с утра до вечера семья в сплошных заботах: он с утра — на работе, вечером — на хозяйстве; она — в огороде, по дому всё, включая трёхразовую кормёжку, а ещё — дети, которые «пьют кровь», а ещё — до магазина сбегать, где, заодно, и новости послушать, к вечеру банька обязательно, ну и... хочется ещё и бабой остаться, чтобы муж не обиделся! А тысяча дел попутных, про которые и вспоминать-то грех — мелочи...

* * *

С конца августа по октябрь в хозяйстве, где тракторит Андрей, уборочная. Небольшая бригада трактористов и комбайнёров в эту пору на работе почти круглосуточно, край нужно убрать урожай до дождей. Но уж, если непогодь, а техника на мази — мужичкам выходной! Сегодня именно такой день. С самой ночи — нудный, тихий и не торопливый, но устойчивый дождь затянул серым слезливым туманом весь горизонт, склеив вдалеке небо и землю.

В гостях у Андрюхи его давний, ещё по юным походам, друг Степан, разговорчивый, но серьёзный, что в людях совместимо редко. Они сидят в уже зябкой летней кухне за большим столом с маленькой бутылочкой водки, с тарелкой нарезанного ровно в два пальца сала, с головкой лука сверху и ломтями чёрного хлеба — каждому по куску...

Водка в этот раз — не повод для расслабухи, как это случилось не однажды, а некий обязательный атрибут, позволяющий говорить, не суетясь и обдуманно...

Сидят они уже часа два и обсудили немало: политику, будущее совхоза в связи с новыми указами президента, и, конечно, «своё»... Разлив по глотку «на посошок», Степан неожиданно интересуется, глядя в большое окно:

— Андрюх, а что твой сосед, уже два месяца живёт — и ни слуху, ни духу? Кто, что, как звать, чем дышит? Или не видишь его? И что за штуку он за домом строит?

Андрей, поднявшись, с удивлением замечает за домом небольшое, квадрата в три-четыре строение, поднятое из бруса уже по пояс, с обозначенной дверью.

— Во как! А я и не видел. Что-то странное, не понятно...

Степан, держа стакан с последним глотком, вглядывается, пытаюсь угадать назначение сооружения:

— Может, туалет?

— Ты что, обалдел? На всю деревню, как в кино, кооперативный?

Степан растерянно улыбается:

— А что ты думаешь?

— Я где-то в журнале видел, что такие маленькие делают часовенки, на одного-двух человек. Где паствы, то есть прихожан, немного. Зашёл, постоял, помянул Бога и — домой. И попы там не служат, места мало... — предполагает Андрей.

Но Степан, помянув свою любимую поговорку, за которую и кличку получил, окончательно ставит его в тупик:

— Ему-то это зачем? Ладно бы поставил около магазина или у аптеки... Вышел из магазина с бутылкой или в аптеке что-то взял, не совсем христианское, и раз — грешок замолил... Понятно! А во дворе к чему ему эта суета? Вот же карамель какой!..

Андрей, поняв свой промах, не сдаётся, допивает свой глоток и, протянув руку для прощанья, заключает:

— Скоро узнаем. До снега, поди, закончит. А ты, давай, дождь перестанет — не опаздывай...

Они пожали руки, и Степан пошёл домой.

Спускаясь с крыльца, он поскользнулся и, чуть не упав, привычно выматерился. Но, выровнявшись и посмотрев на жёлтый новострой, торопливо перекрестился. На всякий случай... кто знает!

Зимнее время идёт, весеннее скачет, летнее бежит, а осеннее — летит! Так и у Андрея. Хорошо, что есть жена: она всё знает, всё умеет. Пацанов определила — старшего в райцентр, в училище, младшего — в третий класс; картошку — в погреб, соленья — в голбец под полом, к морозам и до птицы доберётся: утки жирны, куры пусты...

А по ночам — тихая радость бабья, минутная, но такая горячая! И слушает после всего сытый и довольный Андрей, что она ему в ухо шепчет и даже что-то бурчит в ответ, но спроси его утром, о чём толковали — не вспомнит. И, топая в гараж, не хватится. А жена и не упрекнёт, не до этого ему: деньгу зарабатывает, пока работа есть. Скоро зима — время тёмное и безработное, вот тогда и наговорятся вдоволь!..

Вновь обратил он внимание на новострой десятого октября, когда вернулся с собрания, посвящённого окончанию уборочной.

Удачный выдался день! И премию небольшую отхватил, — вот в нагрудном кармане хрустит, — и пшеницы процент: скоту на год хватит, да и стол накрыл председатель — спасибо ему! — дальновидный хозяин. Андрей представил, как обрадуется Анна, как подхватит нечаянную радость младший, понимая, что и ему что-нибудь обязательно приобретут...

Он, улыбаясь, скользнул хозяйским взглядом по убранной ограде и остановил его на готовом уже домике соседа и на нём самом, вставляющем в сруб маленькое окошечко почему-то высоко, почти на уровне лица.

Небольшой хмель и желание узнать, наконец, назначение постройки подвигло к общению. Он прошёл мимо крыльца, облокотился на забор и, дождавшись тишины, произнёс:

— Добрый день, сосед! Давай познакомимся, что ли... А то уже третий месяц живём бок о бок и не знаем друг друга.

Парень воткнул топор и быстро, с улыбкой подходя к забору, протянул руку:

— Виктор. Очень рад знакомству. А то жену твою часто вижу, пацанов. Ты же — в делах весь.

— Да и ты не сидишь без дела: и там, и здесь! — они несколько минут поговорили, налаживая контакт.

Выговорившись, Виктор пригласил соседа в гости. Андрей объяснил, что первый выходной намерен провести дома, а то родные от него отвыкли.

— А потом, как пригласишь, зайду, интересно, как устраиваешься. Только ты мне, пожалуйста, объясни, что это за домик такой махонький сладил? Вот ни я, ни Стёпка, корефан мой, не можем понять...

Виктор улыбнулся и радостно выдохнул:

— Баня!

Андрюху, словно в лоб ударили. И он, глупо брякнув: «Понял», — пошёл домой, раздираемый желанием расхохотаться.

* * *

— Он что, бани не видел? Хотя раньше, батя покойный сказывал, и в печке русской мылись, вроде как. А, может, кто и вообще без бани, в душе там или в ванне. Ну, а здесь: «Баня», — говорит на полном серьёзе... Андрей, сидя за пустым столом, пересказывал разговор, внимательно слушавшей его жене.

— Или у него там печка волшебная будет. Размером с самовар наш, — он показал на трёхлитровый электрический самовар, — тогда, может, и останется место рядом присесть...

... Баня должна быть баней! Пришёл, не торопясь, разделся, отдышался, веник в моечной запарил и — в парную! Разогрелся до мокрого пота, вышел, обсох. Потом опять тем же макаром — и опять обсох! И только с третьего раза, а любители и с четвёртого — уже веник в руки! Но теперь — до талого, до горячей ломоты в костях! Пар и веник — это чудо, загадочное, первобытное!

А потом — на лавку или прямо на пол в предбаннике, на сено — через разморённую кожу, силу земли из трав впитывать... Ух ты, благо Божье!..

...Андрюха весь в поту, задыхаясь в подтопленной, противу осенней прохлады, избе, да ещё и придавленный горячим телом жены, проснулся и, еле выбравшись из пуховых перин и одеял, долго остывал на кухне, дуя прохладный квас...

* * *

В деревне хозяин, у которого есть какая живность в совокупности с сараями да и с самим домом — что и называется хозяйством — свободного времени не имеет. Ни весной, ни летом, ни осенью. И только зимой: в декабре, когда день короткий, в январе, когда он мёрзл, и в феврале, когда он ветрен и снежен, хороший хозяин позволяет себе отдохнуть! К зиме всё готово: скоту и птице — корма, печам — дрова с запасом, хозяйке — мясо замороженное — отдыхай! В это время мужик обычно много спит, рано ложась и поздно вставая, вполне обоснованно ленится, понимая, что спешить некуда, и много ест, обрастая к весне жирком благополучия!

Поэтому и вспомнил Андрей про обещание сходить к соседу в гости уже в начале декабря, по снегу...

Началось всё с Карамеля, который в субботу, в обед зашёл поговорить.

Сняв солдатский тулуп, купленный осенью на городской барахолке, и теперь потев в нём по случаю тёплой зимы, Степан сел и, отдуваясь, начал:

— Вот, думал, по той зиме холода будут! А глянь — теплынь и теплынь... А тулуп до минус пятидесяти может для организма служить. Вот решил, схожу к тебе в гости налегке, в курточке своей прошлогодничьей, а моя заметила — и в крик: «Ты вещь взял за серьёзные деньги дома висеть? Носи, не зли меня...» И приходится ходить, не застегаясь и не торопясь, чтобы совсем не

взмокнуть. Вот же, карамель какой, приобрёл себе подарок. Лучше бы ей что взял, — и он глухо засмеялся, вытирая огромной пятернёй мокрый лоб.

— Можно у тебя маненько посижу, пообсохну?

Андрей уже расставлял на столе у окна шахматы, которые друзья очень любили. Сыграв партию, заместили в окно, что сосед затопил баню. Андрей предложил:

— Пойдём в гости к нему. Я давно обещался, всё никак не могу дойти, поди, и двоих не выгонит?

И они, недолго думая, двинулись к соседу...

* * *

К соседской ограде шли по дороге, в обход. Войдя, увидели, что весь двор расчищен до самой земли, а снег собран вдоль всего забора ещё не высокой горкой.

— Среди недели не успевает, а в выходные с утра борется со снегом. Упёртый!

Виктор стоял посреди дома и при виде гостей от неожиданности растерялся. Немного оправившись, поздоровался с Андреем и, подав руку, познакомился со Степаном. Внутри дом удивил своей простотой и какой-то мужицкой опрятностью. Всё пространство было одной комнатой. Посреди — красиво обложенная трёхоборотка, с поднятыми буквой «г», колодцами. У стены, с хорошим, довольно большим окошком — кухонный стол и по глухой стене — два высоких шкафа. Там же блестящий рукомойник с белым баком над ним. А в комнате, за печкой — деревянная кровать, шкаф и небольшой столик с телевизором. Всё! И хозяин в трусах...

Опомнившись, он засуетился и стал усаживать гостей за стол. Мужики сели, но, выслушав приглашение, пить отказались.

— Давай потом как-нибудь. Может, на Новый год соберёмся. Ты нам, сосед, про себя расскажи, очень нам интересно, кто ты и что?

Виктор растерялся, сел на табурет и, не выкаблучиваясь, стал рассказывать. Оказалось, что он сам деревенский, но, женившись, жил с семьёй в городе. Есть ребёнок, который остался с матерью в их квартире.

— Я же не мог позволить, чтобы мой сын рос в таких условиях, поэтому ушёл я. Что сделаешь, у нас любовь прошла, а жизнь-то продолжается. Взял кредит, ссуду на работе и купил себе жильё. Надеюсь, ещё обживусь и даже жену себе найду!

— Да если нормально всё будет, мы тебе здесь самих найдём. Так же, Андрюха? — Степан потирал большие руки и улыбался.

— Так, так, может, и найдётся кто на новенького! — они дружно засмеялись.

— Да ладно, время терпит. Дайте, обживусь маленько.

Мужики согласились и неловко замолчали. Эх, нет! Всё равно знакомиться без ста граммов не совсем правильно — многое не понятно в человеке. И ему труднее душу открыть. И главное: врать, не выпивши, трудно, а скорее даже, неуместно...

Минуты две, показавшиеся всем часом, молчали. Первым не выдержал хозяин.

— Послушайте, а пойдёмте в баню, она скоро уже готова будет!

Гости удивлённо переглянулись.

— Да ты же её всего полчаса назад растопил, когда успела натопиться-то? — Степан с недоверием смотрел на Виктора, тот радостно улыбался.

— Дак вот и я про то! Когда сюда приехал, думаю, попал. Как же мне быть? Ведь при моей работе нужно каждый день мыться. Сварщик — работа далеко не интеллигентная. Душ? — так воды постоянной нет, да и место не совсем позволяет. Вот и решил соорудить маленькую баньку, компактную такую, чтобы быстрее протапливать. Печь сам помороковал и сварил, ну а сруб какой представил себе, такой и сладил. У меня же отец

всю жизнь плотничал в совхозе. Хотя специально не учил, но я постоянно с ним в детстве на работы ходил, смотрел, где помогал поддержать, где спрашивал. Ну, что получилось, то получилось. И воды совсем немного трачу: снег же вокруг полгода лежит! Напарюсь — и в сугроб или так обтираюсь. Красота! — Виктор восхищённо замолчал.

Молчали и мужики.

— Ну, что, Стёпка, давай, жми домой за полотенцем и нательным и зайди в магазин, возьми литровочку... думаю, на троих хватит. Я тоже пошёл, простыню возьму, испытаем твою игрушечную баню.

Виктор радостно поскакал в баню подкидывать берёзовых комельков. Очень ему не хотелось перед гостями ударить в грязь лицом...

* * *

Андрей пришёл минут через двадцать, переодетый в спортивный костюм, который за два года надевал только раз, когда мерил в магазине, и с двумя пакетами. В одном — была его банная простыня, в другом — банка солонины: огурцы и помидоры — «ассорти», как сказала умная жена, и шмат сала, которое сам солил в ноябре. Виктор обрадовался угощению, пояснив:

— Очень люблю домашнее, сам-то сейчас пока всё из магазина. В горле стоит: то сладкое, то горькое...

Степан пришёл через полчаса, злой и вспотевший.

— Со своей схватился. Дай, говорю, мне осеннюю куртку, я в этом тулупе уже вкрутую сварился, на улице ж тепло — минус пятнадцать! А она в крик: опять! Ну, думаю, надолго, и не стал нервы палить, ушёл, как есть...

Он выставил на стол литр водки, булку хлеба и каральку колбасы.

— Мы же сюда не есть пришли, правильно? — и, увидев улыбку хозяина, продолжил, — за мной ещё сосед увязался — деда Петя Нефёдов: «Можно с вами, — говорит, — посижу, а то с кошкой вдвоём уже

замурчу скоро...» — Ну, говорю, пойдём, от тебя звону не много!

— А где же он? — хозяин развёл руками.

— За калиткой стоит, ждёт приглашения, скромный, декабрист, наверно...

Виктор выскочил из дома и вернулся уже вдвоём с дедом. Тот был доволен и, сняв старую, как и сам, фуфайку, лоснящуюся от времени и «природы», поздравившись с Андреем за руку, грузно сел, свистя задохнувшимися лёгкими.

Виктор вспомнил про баню:

— Там уже всё готово. Ходить будем по одному. Вдвоём, конечно, можно, но тесно. Около бани свет. Воду или снег каждый несёт себе в ведре! Кто первый?

Андрей встал и, разыгрывая отчаяние и испуг, объявил: «Первый я. Снегом не смогу без привычки, возьму ведро воды — хватит». Он снял спортивный костюм, явив себя довольно крепким мужиком с бледными, что бросалось в глаза, ногами. Взяв простыню и ведро с водой, он потопал через двор к бане, хлопая здоровеными калошами по выскобленной ограде.

Войдя в баню, он немного даже удивился. Место, в принципе, было, только нельзя было лечь, вытянувшись на полке, как он любил. А так всё, как в настоящей, только в миниатюре. Сбоку, отбитая от стены кирпичной кладкой, ровная и красивая печь, смотрящая дверцей на входную дверь, с трубой немного сбоку, заложенная по верху камнями. Полوک начинался прямо с двух ступеней и самого лежака, на котором можно было спокойно сидеть. И свободного места именно столько, чтобы топить печь, а рядом ставить ёмкость с водой. Окошко было справа, на уровне лица, с небольшим подоконником, служившим столиком для бритв и баллончика пены. Наверху стоял таз с торчащим веником.

Сам Андрей любил веник запаривать горячей водой, но не до «соплей», когда тот совсем теряет вид и

становится бесформенным, а лишь чтобы он чуть отяжелел и не обсыпался, как лес осенью. А кто-то, наоборот, любит веник сухой и лёгкий, немного смачивая его в холодной воде и парясь не с ударом, а с «доводом». Здесь же было и не то, и не это, поскольку залит он был уже давно тёплой водой, и от сухого отошёл, а до Андриюхиного качества недотягивал...

— Пойдёт, — решил Андрей, — что я со своим самоваром, вернее, веником, в чужую баню? — Он довольно удобно уселся наверху и, почерпнув ковшом немного зеленоватой воды, плеснул, не вставая, на печку. Каменка азартно отреагировала, плотно и так приятно знакомо ухнув паром. Андрей не много отклонился и, почувствовав сзади осиновую приладу наподобие спинки кресла, откинулся на неё: получилось как бы полулёжа — он оценил удобство полка. На уровне глаз висел банный термометр, чёрная стрелка которого показывала восемьдесят градусов.

— Вот здорово: пар сухой и не очень жжёт. Моя печь с приваренным сбоку баком за три часа топки заставляла воду кипеть ключом, и поэтому даже семьдесят можно было считать серьёзным нагревом. — Он давно хотел переделать печь, перенесённую из старой бани, но времени летом не было вообще, а зимой не хотелось лишаться такого нужного тепла даже на короткое время!

— Нет, надо взяться переделать, — опять пообещал он сам себе, понимая преимущества сухого пара и ещё несколько раз поддавал жару, томя тело до обильного пота и, уже совсем разогревшись, вышел на улицу.

— А вот здесь неувязочка. Надо было лёгкую пристроечку прилепить, типа тамбурка, чтобы быстро не обдувало на открытом воздухе.

Решив об этом сказать хозяину, он зашёл уже париться по-настоящему!

В семь вечера, наконец-то, сели за стол. Степан, ушедший в баню после распаренного Андрея и ценящий время, не стал «греться по науке». Он, тоже очень любящий баню, просто напощадал и нахлестал себя до изнеможения. Вылетев на улицу парящим клубком, доскочил до снежной кучи и, рыча и ухая, растёрся снегом... Снова занырнув в баню, уже просто посидел в душистом тепле и, утираясь, вернулся в дом. Сам хозяин, уважая гостей, пришёл совсем быстро, но тёплый и радостный...

Стол отодвинули от стены и уселись, по очереди делясь впечатлениями.

— А поначалу даже холода не ощущаешь, — комментировал свой заход Степан, трогая пальцем длинную, ещё кровоточащую царапину на щеке, полученную во время снежной ванны... — Вишь, даже боли не почувствовал, хотя борозда серьёзная!

Дед Петя, наблюдая, как Виктор наполняет рюмки, подхватил:

— Я глядь на него, а рожа в крови... Ну, думаю, угорел и об печку в бане хлобыстнулся... У меня так было в молодости. Хорошо, на улицу выпал, обыгался...

Андрей молчал, чувствуя непонятную радость и даже какое-то праздничное возбуждение, очень-очень давно, с момента рождения последнего сына, не испытываемое. И эти трое, сидящие рядом с ним, стали вдруг ему родными и очень значимыми для него: и Виктор, «одомашненный» спортивными шортами и футболкой, жилистый и на вид очень здоровый, постоянно соскакивающий со стула и что-нибудь подтаскивающий к столу, улыбающийся и понятный в своей радости, и дед, уже пять лет живущий без бабки, но сейчас, на время, забывший о своём одиночестве, смотрящий на молодых ещё сильных мужиков и представляющий себя таким же, и, конечно же, родной Стёпка — годок, только сейчас начавший обильно потеть, с полотенцем на шее и яркой царапиной по лицу... И всё этого виновник он

— Андрюха, бывший моряк, теперь тракторист, собравший их здесь вместе и радующийся этому. Вот!

— А как получилось, что ты один, Витёк? — вдруг задал он, изначально волнующий его, вопрос.

— Не знаю, — хозяин прекратил суету и растерянно посмотрел на гостей, — жена разлюбила... Она младше на пять лет, я из армии пришёл в двадцать один, совсем молоденькая — всё вокруг да около. Пока то, сё, подросла и вцепилась, как кошка в мышку, в меня, — он виновато засмеялся, — сама красивая, отчаянная в поступках... И вот на Новый год гульнул с корешами и уснул в гостях. А проснулся — она рядом: всё, говорит — муж! Ну, а я набегался уже, и рад был, родителей её хорошо знал. В общем, по любви, получается... так вот...

— А твои родители как к ней? — спросил внимательно слушающий Степан.

— Я детдомовский. Нас, салаг, в ту деревню возили на огороды работать. Вот я после армии — и туда: людей маленько знал, председатель комнату дал... ценил меня, я не сачок...

Было видно, что вспоминать это ему не просто. Выпили ещё по одной. Дед Петя пропустил, как скидку на возраст.

— Ну, и в город — в большую жизнь. Мне повезло: в хорошую контору попал, работал, как трактор, через четыре года квартиру заработал. Ребёнка затеяли — как без такого счастья жить! Тут я совсем перестал дома сидеть. В командировки — любые: хоть на север, хоть на юг, лишь бы деньги платили. И платили! Домой прибегу ненадолго — радость, слёзы, ночи без сна! Сказка! Пацан грамотный растёт, я ещё крепче в работу. На полгода вахта, буровую строить — давай, Витя! В первый отпуск приехал — всё хорошо, а ещё через полгода, хлоп, чую, не интересен стал, скорее, даже чужой ей вдруг. Что случилось? Влюбилась, говорит. Я и так, и по-другому, и ребёнка, говорю, пожалей. А она: нет, люблю! А ребёнок будет счастлив, если мы будем счастливы. Во, как!

Хотел её любимого задавить, вовремя опомнился. Ну, и всё. Начальник, молодец, всё понял, работу другую дал, с деньгами помог. И вот теперь я здесь!

— А я бы своей шею свернул, — Степан, долго внимавший, стукнул кулаком по коленке. — Зачем допустила такое... малодушие? — он не мог подобрать слов и возмущённый замолчал.

— Да ничего странного, — вклинился в разговор дед, — просто это не твоё оказалось. Вот как встретишь то, что тебе судьбой, от Бога — так сразу поймёшь. Поймёшь и не пожалеешь никогда. Так вот с бабкой моей было у меня. Встретились на стройке завода аж в пятьдесят пятом, и почти шестьдесят лет друг за другом — и вместе! И жили, и радовались, и горе испытывали, — старик замолчал, смахивая слезинки затрясшейся вдруг рукой, и, вздохнув, закончил, — но никогда не сомневались друг в друге и верили: я — ей, она — мне, как себе... — Он встал и, вытащив сигареты, вышел на улицу.

Тишину прервал Андрей:

— У них с бабой Акулиной были дети — двое, но что-то случилось, точно не знаю, погибли. Совсем-совсем давно, в том веке, в семидесятые, и вот они одни жили. А сама бабка пять лет назад померла. Она добрая была, щепетильная. Всё просила ребятишек к ней приводить, вареньем их угощала и радовалась до слёз. Они её тоже часто вспоминают. А что может быть важнее памяти доброй людской?.. То-то же...

В девять вечера у кого-то в одеждах запел телефон. Довольно долго прислушивались, крутя головами, потом Степан понял, что это его. Пошарил по знаменитой шубе и уже нашёл карман, но телефон замолчал. Матерясь про себя, он всё равно вытащил его и только хотел засунуть в карман штанов, как тот опять запел. Посмотрев на экран и неожиданно сменив лицо с серьёзного на улыбающееся, лстивое, он пропел в трубку:

— Что случилось, милая?

Мужики, заметив эту разительную перемену, негромко засмеялись. На том конце связи это услышали и что-то сказали Степану. Он покраснел и, оправдываясь, заторопился:

— Да нет, не над тобой... Причём здесь смех? Вот же карамель какой! Мы в шахматы играем... Кто идиотка? — он со злостью смотрел на отключившийся телефон, не зная, что сказать.

Теперь уже смеялись все.

— А почему шахматы, может, карты лучше? — сквозь смех спросил Андрей.

— Да что в голову первое пришло, то и сказал. Как так получилось, не пойму. Тоже ведь по любви женился, и она не такой была, совсем не такой. А сейчас?! То не так, это не эдак, сюда не ходи, там не постой. С детьми всё, слава Богу, но опять что-то не правильно делаю. И не знаю: вроде, и я, а уже мало от меня остаётся. Задавила она меня своей правильностью и своим опять же пониманием жизни. Ладно бы что-то, а то уже вообще всё за меня решает!.. Эх, Стёпа, карамель ты карамель. — Он взял всей пятернёй стакан и, посмотрев в него, вылил в рот содержимое. Все выпили тоже...

* * *

Первым засобирался дед. Он, улыбаясь, рассказал, что его дома ждёт кошка, бабушкина любимица — Мура!

— Вот не спит, пока не приду. Сидит напротив дверей, лапы подожмёт и ждёт. Зайду: она потянется, хвост трубой поднимет, туда пройдёт, сюда подойдёт. Сяду перекусить, она — напротив и смотрит. Ну, просто, что бабка... только не говорит! А уж если курить не в печку, размурчится, разволнуется и ходит, ходит — обижается! Так я в печку теперь всегда, это — позволяет, запрыгнет на кровать и ждёт, прям точно, как Акулина, покойница... — Он нашёл телогрейку и, лоя рукав, зашмыгал носом, пытаясь сдержать слёзы.

— А ну, дед, стой, не одевайся, — Степан встал из-за стола, забрал его захрустевшую телогрейку, положил её на стул. Потом снял с вешала свою знаменитую уже, солдатскую, крытую плотной тканью, шубу и, замахнув, надел её на деда. Тот даже присел.

— Да что ты, Стёпа, Бог с тобой, мне за неё до креста не рассчитаться... — Дед величаво запахивал полы, восхищаясь качеством выделки и кроя. — Это же царёв подарок!..

Степан серьёзно, но дрогнувшим голосом, успокаивал деда:

— Не суетись, лет на восемь-десять хватит, а там что новое справим! А в твоей шкурке я до дома дойду, а потом её в школьный музей сдам, как свидетельницу первого целинного хлеба, ага?!

Дед уже не сдерживал слёз, а радостные мужики гомонили наперебой, хваля серьёзный и, очень ко времени, подарок!

* * *

У калитки, под яркой лампочкой, возбуждённо прощаясь, подолгу трясли друг другу руки. Виктор довольно громко шептал сразу всем:

— Давай, мужики, как соберётесь, так приходите. Баня каждый день — и я буду рад!

Андрюхе до дома было тридцать шагов, но он, понимая, что прощание надолго, первым пошёл к своей калитке. Дед и Степан двинулись сначала в одну сторону, сталкиваясь плечами на скользкой дороге. Молодой решил проводить деда до «свету», то есть до освещённой фонарями центральной улицы. Около одного из них была дедова избушка, Степанова — дальше, через три двора.

Андрей тихонько зашёл в дом и, пройдя в спальню, включил свет. Разделся и, оставшись в трусах и безрукавой тельняшке, подошёл к шкафу с высоким зеркалом и, задрав, висящие до колен семейные трусы, посмотрел на ноги...

— Да, действительно, незагорелые, бледные! Ну, не буду же я на тракторе в шортах работать — не буду! Поэтому, — он согнул руку, напряг мышцу и удовлетворённо крикнув, закончил: — чем богаты! — затем на носочках проскочил в спальню и лёг, уткнувшись жене в плечо. Господи, как он любил это тепло и этот запах, как всем этим дорожил!.. Он плотнее прижался к жене и мгновенно уснул, счастливо улыбаясь...

Виктор ещё постоял, дождался, когда стихнут шаги Степана и деда, и вернулся в дом. Подумав, решил, что уберёт всё завтра. Неожиданный визит соседей доставил ему совершенное удовольствие. Он лёг и сказал, вслух и убедительно:

— Чтобы путём всё было, надо дела делать... И бани.

Старики

У деда Прони захворала бабка! Сухая и скорая на подъём, работающая, добрая, некрикливая, всегда встающая раньше него, вдруг, раз! — и не поднялась утром. Он вначале даже не заметил, по привычке быстро одевшись и выскочив до «ветру», но, когда «управившись», зашёл домой, то, чур: что-то не так! Спали они уже лет двадцать порознь, как он говорил: «Уже не помню, когда!» Дед — любитель тепла, устраивался на печке, бабка, не любящая духоты — в дальней тёмной комнате. Как она умудрялась вставать до зари, он не понимал, ведь там не было окон, и «ночь» длилась сутки. Наверное, по природному чутью или внутренним часам, по науке.

Сегодня же его знаменитая, одна на всю деревню полурусская печь ещё не гудит, принося в дом тепло и уют. Дед осторожно вошёл в бабкину комнату и, елозя рукой по стене в поисках выключателя, елеинно проговорил:

— Ты чё, старая, проспала подъём? Я же тебя просил, ложись где-нибудь на свету...

Из дальнего угла слышался её слабый, какой-то виноватый голос:

— Дед, иди возьми спички, а то убьёшься об стол...

Дед уже ткнулся бедром в угол стола и, беззлобно матерясь про себя, вышел в кухню и взял спички. Выключатель оказался на противоположной стене,

около кровати. Он включил свет и удивился, как всё здесь незнакомо.

Он помнил эту комнату в те времена, когда были ещё маленькими дети, тогда, по-«евоному», выключатель был около дверей. Он совсем забыл, что перенёс его сюда с соседом-электриком, ныне покойным, Петром по просьбе тогда ещё крепкой жены своей в 1985 году, когда младший ушёл в армию. Старший тогда заканчивал учёбу в морском институте, и она всё чаще ночевала в этой комнате из-за страшного мужнина храпа.

— Что мне, из-за разовой двадцатиминутной «радости» всю неделю его свист слушать? Ну, уж нет — надо будет, позовёт, а так хоть высыпаться буду!

Ежедневные заботы убивали желания, и уже очень скоро стали они жить по разным сторонам одной избы, встречаясь только на кухне.

В комнате оказалось как-то уютно, и даже отсутствие окна не портило этого впечатления. Половички, сплетённые из разноцветных тряпичных полосочек — на полу; белые и светло-голубые, похожие на снежинки, салфетки — на столе, на трюмо с тёмным зеркалом и на старом огромном чёрно-белом, давно «слепом» телевизоре на безногой тумбочке. Над кроватью, на цветном с горным пейзажем ковре — фотографии. Чуть выше опять они — старинные с одинокими дородными женщинами и усатыми сидячими мужчинами (бабки и деды по обе линии), посередке — свои: почти с детства до свадьбы и дальше, а ниже всех — современные, какие-то несерьёзные, мелкие, всё больше цветные.

В левом от кровати углу, под потолком небольшой иконостас с потемневшим от времени и забот ликом Николая Чудотворца, обставленный с обеих сторон иконками чуть поменьше. Снизу под полочкой — висячая красивая лампадка с чуть заметным, на удивление живым, огоньком. А за лампадкой, что деда покорило, — большие фотографии его детей: старшего, сильно похожего на Проню в юности, и младшего, наоборот — вылитая

мать! Иконостас сверху задёргивался «грешной» занавеской на леске, но сейчас она была собрана в углу...

Поборóв малодушное желание перекрестится, дед повёл взгляд дальше, знакомясь со всем, как бы впервые.

На фоне чистых, два раза в год белёных, стен — огромный, ещё хрущёвский, шифоньер с плавными углами, жёлтыми торчащими ручками и мутным зеркалом. И среди этой чистоты и серьёзности — маленькая голова жены, повязанная по ресницы белым простым платочком, её лицо, иссечённое временем.

— Ты что это, старая? — Проня склонился над кроватью, — захворала? Ты, поди, простыла, я думаю, вот и заболела. И что болит? — он приготовился слушать историю болезни.

Бабка открыла чуть красные глаза и тихо сказала:

— Ничего...

— Это как? Не чувствуешь?

— Это — ничего не болит. Просто встать не могу, слабость.

Дед, не знакомый с понятием «слабость», усмехнулся и, махнув рукой, заключил: «Заболела!»

— Я печку налáжу, пельменей тебе сварю и сбегая к фельдшеру, пускай придёт тебя потрогат. И фельдшер — баба, она ваши болезни знает, не то, что наши!

Бабка закрыла глаза, а он пошёл топить печь, вспоминая случай, произошедший с ним лет пять, нет, десять, назад...

... Кум его, Федор Ильич, сосед через огород, позвал его в гости просто так, от души. В процессе опробования вчерашнего самогона, после третьего полстакана, кум вспомнил, что перестелил полы в стойке у скота.

— Знаешь, — хвастал он, — сейчас пол я настелил с уклоном в пять градусов, и все отходы скотские очень легко убирать: жидкие стекают сами, а твёрдые, подтолкнул чуток лопаткой и — в канавку. Потом грузи в тележку и увози.

Проня, конечно, похвалил его, но кум настоял посмотреть. Когда зашли, его коровы как раз недавно опорожнились, и Проня, на грех в кирзачах, скользнул одной ногой и сел почти на шпагат. Между ног, в паху, что-то хрустнуло, но, разгоряченный алкоголем, он значения не придавал. Однако утром встать не смог от сильной боли, вызвали фельдшерицу — тогда ещё совсем молодую дородную девушку.

Разговор Прони и врачихи потом живо пересказывал всем кум, в принципе, сам во всём и виноватый.

— И вот заплывает она, большая, как баржа, моет руки и подходит к Проне. А я смотрю на него и вижу: начал он сомневаться в правильности хода. Говорит ей: «Не надо, уходи». А она: «Почему это? Будьте любезны, уж покажите, что болит», и стягивает с него одеяло. Проня глаза вылупил, одеяло руками держит и орёт, что у него там ничего нет, чего, мол, смотреть? Она — в непонятках: «Я врач, меня стесняться нельзя, к тому же я уже всё это видела раньше!» А он: «Вот у кого видела, у того и лечи!» Она ему: «Вот вы могли там что-то потянуть, и это повлияет на вашу половую репродуктивность». И опять одеяло тащит. А Проня от этих слов вообще ошалел! Откуда же он знал, что у него там вместо того, что есть, — половая репродуктивность! Он, ажно всплакнув немного, говорит: «Если эта репродуктивность не перестанет болеть, я сам в больницу к хирургу поеду, а сейчас ослобони от греха, уйди». Она стоит и головой качает: «Зря вы так, я бы смогла вам помочь». А он с визгом в ответ: «Я со своей бабкой сорок лет живу, она и то мне уже не поможет!» Врачиха ему: «Вы что имеете в виду?» А он ей: «А вы?» Плюнула она: «Ну, и болейте!» И ушла. Вытер Проня пот с лица, выпросил у меня самогону на втирания, и через неделю бегал, как конь, по деревне...

Дед, улыбаясь воспоминаниям, растопил печь, сварил штук двадцать пельменей и поставил в тарелке остывать. Вспомнил, что бабка любит пельмени с хрено-

дером, нашёл его в поллитровой баночке под порогом и положил на пельмени горку. В стакан налил настоявшегося чая из душицы и понёс бабке. Поставил всё около кровати на стул и повторил:

— Ешь, я за врачом пойду.

Она открыла глаза и еле слышно ответила:

— Хорошо. Иди. Я поем...

* * *

Жизнь Проня помнил до 90-х. В деревне было весело и хорошо! Все жили как бы одной семьей и знали своё дело: работали на ферме, сажали огороды и даже строили жильё. И от этого было спокойно. Всякие неурядицы решали сообща. По крайней мере были объединены, пускай чуть утопической, но целью, пускай не слишком настоящими, но правилами. Потом вдруг как-то быстро, совершенно непонятно для большинства, стало плохо: не нужно, не важно, не выгодно. За несколько лет развалили то, что строили почти столетие. Дети из города писали всё больше о страшном, а они с бабкой, как могли, помогали им. Старший в 90-х уехал на Восток, младший подался в бизнес...

Проня подошёл к больнице и, тщательно обметая ноги, вошёл. Врачица, как обычно, хотела пошутить, но, посмотрев ему в лицо, не стала.

Проня, переведя дух, начал:

— Бабка моя что-то захандрила, не встала сегодня. Говорит, устала, а что это за болезнь? Вот и я говорю, простыла, поди. Ты приди, — он окинул взглядом большую врачиху, — приди дочка, посмотри её. А я уж тебе картошечки, огурчиков солёных, помидорчиков...

Врачица улыбнулась и пообещала. Дед вышел...

... Старший стал моряком, помощником капитана, потом капитаном. Сообщал о себе редко, но метко. За двадцать лет приезжал три раза.

Младший, резво начав бизнес, во время дефолта прогорел. Где-то прятался от долгов, изредка присы-

лая письма. А в 99-м, весной, пришло последнее, где он написал, что устроился на хорошую работу где-то далеко. Написал, чтобы не волновались и не искали, и что он обязательно скоро приедет. Всё, с тех пор — ни слуху, ни духу. И судьба теперь их — ждать.

Мир двух старых людей ограничился домом, огородом и хозяйством.

За дом отвечала бабка, за хозяйство — дед, огород — общий.

Кошка отходила к дому, к хозяйству — старая лошадь, по годам конским — ровесница дедов, и собака, тоже старая, проведшая жизнь на цепи, охраняя хозяйство. И всё. Даже телевизора — друга всех стариков России — не было. Однажды дед посмотрел, как убивали солдат в Чечне. Ошарашенный увиденным, вырвал из него шнур, а на вопрос бабки ответил:

— Не могу судить, но, смотря такое, могу согрешить. — Что он имел в виду, она не поняла, но решение его приняла...

И остался у них от мира маленький телефон, по которому раз в месяц-два звонил им старший сын.

Бабка лежала так же, как утром. Пельмени уже подсыхли, чай совсем остыл.

— Ты чего не ешь? — дед нагнулся над её лицом и, ощутив прохладу, испугался. Но когда уже хотел закричать, она вдруг открыла глаза и чуть улыбнулась.

— Я хотела поесть, только повернулась на бок, голова кружится, думаю, протяну руку и скувыркнушу на пол...

Дед понял свой промах, разделся, помыл руки, и, подпихнув бабке под спину подушку, стал кормить её, как маленькую. Но только она была действительно слабой, и жевать пельмень не смогла. Дед растерянно смотрел, потом подобрав пельмень, выпавший из её рта, участливо спросил:

— Может, я пожую? Как ты?.. — бабка закрыла глаза и прошептала: — Пить!

Дед поднёс стакан с чаем, но, наклоняя его, не смог унять дрожь в руках и почти всё вылил ей на грудь. «Что же это?» — он вздохнул и хотел повторить, но бабка отказалась: «Хватит».

«Может, соску? — с отчаяньем думал он, чувствуя, как закипают слёзы в глазах, — нет, лучше соседку попрошу!»

— Я сейчас управлюсь по хозяйству, врачаха придёт, может, чё посоветует. Ну, а потом уже посмотрим, что делать.

Бабка снова еле заметно шевельнула головой, и он, чуть успокоенный, вышел...

* * *

В кухне неуютно. Вроде, всё, как обычно: чисто, тепло от печи, ещё не мусорно после вчерашней бабушкиной уборки. Но на столе — нож не на месте, кастрюля с плавающим в ней забытым пельменем, открытая банка хренодера. Дед сиротливо оглянулся на дверь и с опаской подумал: «А вдруг помрёт?» — и, уже не стесняясь, перекрестился, добавив: «Не дай, Господи, не позволь, Отец родной!..»

Потом покрошил в пельменный бульон чуть подсохшего хлеба, и, посомневавшись, для полноты — вчерашнего варёного картофеля, пошёл «управляться». Собака, поняв, что идут к ней, вылезла из будки и, натянув цепь, задорно завиляла хвостом, болтаясь от этого вся. Её, маленьким нескладным щенком, подобрал дед лет пятнадцать назад, назвал за длинноту и нескладность Воблой и, после «детской» месячной верёвочки, определил на цепь. Она честно несла службу, звонко лая на чужих, и по ночам, регулярно, два раза в год, «неизвестно откуда», приносила щенят, которых по просьбе деда за бутылку топили местные алкаши. Сам Проня очень переживал по этому поводу, но оправдывал себя тем, что пока слепые, они без души, попутно стыдя за такую распутность Воблу. Вобла все понимала, но сде-

лать ничего не могла — и всё повторялось. А вот теперь, думал Проня, и надо бы щеночка, но собака, как назло, уже года три, а то и пять, без помётов.

Он поставил чашку около будки и назидательно сказал: «Всё съешь — чашку унесу, а то остынет». Вобла поняла, поблагодарила деда: «Ахва» — и стала есть.

Проня улыбнулся и пошёл к главной своей любви (после бабки) — старой лошади, которую очень давно назвал Сказкой.

* * *

Он купил её у молодого, нечистого на руку, разбитного весёлого ветеринара. Купил 30 декабря 1966 года, когда вместе с ним обмывали рождение второго сына. Ветеринар пьяно доказывал Проне, что лошадь ему сейчас очень нужна:

— У тебя же теперь два сына! И покос нужен большой, и дрова, чтобы тепло им было. А трактора нынче не допросишься! — и он убедительно мотал указательным пальцем у Прони перед глазами. — А подрастут, научишь их джигитовать, — он опять закрутил пальцем перед лицом, — и будут они сильные и смелые! — Проне очень хотелось отломить этот палец, но последний аргумент его убедил, и он согласился, от «греха подальше»...

— Только скажи, а где ты взял жеребёнка, сам сподобил или его твоя корова отелила?

Ветеринар хмурил лоб, вспоминая, откуда у него жеребёнок, если лошади своей нет, но придумать ничего не смог. Сошлись на том, что это из соседней деревни, и за десять полновесных червонцев Проня перетащил от ветеринара завёрнутого в тряпку жеребёнка, который к тому же оказался жеребухой.

Получилось так, что Сказку, родившуюся в колхозном стаде от крепкой кобылы Речки и украденную ветеринаром, Проня увидел и полюбил, пускай меньше, но раньше сына, которого уже звал Захар!

31-го он прекратил пить, и 1 января колхозная «скорая» привезла домой его сына! Проня затащил его в дом, размотал все тряпки и с упоением смотрел на орущее чудо с перевязанным поперёк животом, с маленькими кукольными ручками и ножками и с этим, ни с чем не сравнимым, запахом сладкой прелости и женского молока! Потом целовал и обнимал Капу, благодаря её за это, ещё одно в его жизни, чудо. В общем, теперь уже по-трезвому, порадовались все вместе новому человеку и, внятно объяснив сыну Фёдору, кто для него Захар, стали жить!..

Дед вошёл в тёплый, светлый и чистый сарай и сразу увидел Сказку, уже стоявшую посреди загона. Она, конечно, узнала хозяина и, немного похрапывая, запряла ушами.

— Ну-ну, милая, — дед обнял её за шею, прислонившись головами, они несколько секунд постояли. Она, тоже соблюдая какой-то старый ритуал, замерла, чуть вздрагивая кожей и прикрывая слезящиеся глаза. — Ладно, давай завтракать.

Дед подтащил два ведра и открыл оба. Одно — почти полное грубо мятой картошки, второе — до половины запаренного подсолнечного жмыха.

Он поставил и назидательно, как человеку, сказал:

— Доешь — отдыхай. В обед водички принесу с дрожжами и ещё чего-нибудь вкусного. Просто сейчас некогда, бабка на грех заболела. Боюсь за неё очень, не отошла бы, а то, вредная, засобирается — не отговоришь. — И, услышав редкий лай Воблы, быстро вышел. Это действительно была врач, или, по дедову, — врача.

* * *

Она, стоявшая, как солдат, с фельдшерской сумкой через плечо, действительно, казалась надёжной и крепкой. Дед, ещё раз посмотрев на неё, подумал: «Здорова. Должна, поди, всё равно что-нибудь понимать», — и заспешил навстречу.

— Ты скажи, милая, что это за болезнь: «устала»! Нету такой болезни, хоть убей! Вот грипп там, простуда, хондроз, в конце концов... Даже пускай аппендикс, опять-же, а она — «усталость». Скажи, чтоб не дурила, а то залежится, так постель не отпустит. У нас вон «знакомец» Толя Горобец: пока работал — хоть бы что! А на пенсию решил уйти: выспаться, отдохнуть, так через полгода сложился от неизвестной болезни! Вот это да! А я думаю, работал бы на своем тракторе, так и ничего бы не случилось, ещё бы скрипел...

Врач шла следом за семенящим и болтающим дедом и, улыбаясь, вспоминала, как один раз в жизни хотела его полечить тогда, давно — уже и не вспомнить, когда...

Войдя в натопленный чистый дом, разделась у порога. Бабу Капу она сразу и не заметила, таким маленьким было её личико на фоне подушки. Дед что-то ещё хотел посоветовать, но фельдшер строго ему сказала: «Уйди», — и для верности показала рукой. Дед, растерявшись, быстро вышел в кухню. Он из-за чуть приоткрытой двери прислушивался к разговору с таким вниманием, что с испугом слышал шум сердца, только не в груди, а где-то в горле. Чтобы не разволноваться, сел за стол и вспомнил, что сегодня ещё не ел.

— Надо перекусить, а то сам истощаю!

Он достал вчерашний, тёплый на печи картофель, из-под порога — солонину и трёхлитровую банку простокваши, отрезал добрый кусок белого хлеба и стал с аппетитом есть, запивая вкусным, чуть кислым питьём. Когда вышла доктор, дед был сыт и готов слушать историю болезни. Она села напротив и, облокотясь, заняла сразу полстола. Дед, подождав минутку для «порядку», уже хотел открыть рот, но врачница опередила:

— Она здорова. Почти совершенно для семидесяти-трехлетней женщины.

Дед, усомнясь, поинтересовался:

— Дык чё с ней?

— Устала, — и, чтобы он не перечил, начала говорить: — Устала. Устала от работы, от однообразия жизни, от трудностей, от мыслей и от памяти в конце концов. Как получилось, что, оставшись вдвоём, вы стали жить отдельно, дед? У каждого свой мирок, своё жильё, дела. Так нельзя, вообще, поэтому она и не выдержала. Сейчас только ты сможешь её поднять, помочь ей, обрадовать чем-то. И надо, чтобы сын ваш приехал, хоть как. Она тоскует по нему, боится за него и не может тебе об этом сказать. Вы, словно, чужие, пойми. Стань снова человеком родным, внимательным и понятным ей...

Она встала и, обойдя деда, обулась у порога. Он, сидел, смотря в стену, и молчал.

— И ещё: купи, что ли, телевизор. Сделай дом немного живее. Немного... — и вышла.

Дед вдруг понял, что она права. Ведь, действительно, никакой жизни сейчас у них нет!

Он ясно помнил, как ещё вчера, с отцом и матерью, в новых яловых сапогах и в чёрном шерстяном пиджаке на красную рубаху, сватался к Капе. И даже немного раньше, когда ходили с нею в холодном августе по деревне, и он рвал ей в чужих огородах последние, самые дорогие, цветы. И бедную, но громкую — на всю деревню — свадьбу с медными кольцами и тройками по мелкому ноябрьскому снегу. И время безудержной любви, когда бежал с работы домой, страшно соскучившись по желанной и любимой теперь уже жене. Потом — рождение первенца, упоение и восторг от незнакомых раньше отцовских чувств, постройка своего дома — и дальше, дальше...

Второй сын родился, когда чувства уже немного поостыли, и их снова на какое-то время окрылила любовь...

А потом работа, работа, работа.

Время летело настолько быстро, жизнь проходила так суетно, что иногда, вспоминая о чём-то, случившемся два-три года назад, он пугался. Казалось, что

заметное событие было месяц, два назад, а пролетело уже...

Но было и наоборот: дни, когда время вставало забором, когда думаешь: «Скорее бы всё это кончилось...»

Дед отогнал печальные мысли, встал, заглянул на секунду к жене и, увидев, что она спит, пошёл поить лошадь.

* * *

Сказка! Длинноногая, поджарая, с блестящей, чёрной с отливом шкурой и белым пятном на лбу под чёлкой. Маленький Захар оставлял родителям совсем мало свободного времени. Но, всё равно, несколько раз в день Проня прибегал в сарай, где кормил, поил своей любимицу и просто разговаривал с нею.

Сказка не знала матери, и он старался ей её замечать: протирали мягкой тёркой шкуру, расчёсывал чёлку и гриву, летом водил на уздечке в поле, где отпускал, и они играли в догонялки. И она, действительно, понимала, что надо делать, и догоняла Проню, тыкаясь в него мордой...

Когда им исполнилось пять (Захару и Сказке), на неё в первый раз надели седло, и она, не понимая, в чём дело, бегала по заснеженному огороду, падая и кувыряясь, пытаясь сбросить ненавистную тяжесть. А они с сыном наблюдали за ней из ограды, восхищаясь её силой и резвостью...

Через день, не вешая на неё мешки, как делают почти всегда, объезжая лошадей, Проня, поговорив со Сказкой ласково и убедительно, сам сел в седло! Она брыкалась, вставала в свечку, но, чувствуя, что на ней человек, не падала на землю, и, покрутившись, во весь опор пошла из деревни по накатанной тракторами дороге.

Проня не держал её, и лошадь, сначала в галоп, потом в карьер, несла его в поля. Домой он вернулся под

утро, ведя в поводу Сказку, покорную и признавшую его силу.

Но всё это еще больше сблизило их. Она совершенно спокойно сейчас давала себя оседлать, и Проня, доверяя, не надевал удила, не ломая ей железом зубы и не раня рот. В общем, она стала ему настоящей помощницей и даже больше — другом...

... Лошадь стояла с закрытыми глазами, с безвольно опущенными ушами и, как обычно, не толкнула его головой.

— Что ты, милая, что с тобой? — Проня за шею обнял её, глядя по осыпающейся шкуре. Сказка даже не вздрагивала.

— Сказка, что случилось-то, Господи?

Лошадь вдруг потянула вверх морду и протяжно, с каким-то стоном, выдохнула. Вот не было печали! Дед суетливо пытался заставить её попить, поднимая ведро и окуная её морду в воду. Сказка не отворачивалась, но и не подавала признаков жизни.

— Да что же это на меня валится всё к одному?! — дед поставил ведро и побежал к ветеринару.

* * *

Ветеринар, точнее теперь пенсионер, жил в старом облезлом доме, окружённом полутораметровым тесовым забором, не знавшим краски и от времени почерневшем. Жил он легко и весело, поэтому в старости остался вдруг один. Но совершенно не расстраивался по этому поводу, чем злил Проню. Часто, выпив понемногу, они начинали спорить «за жизнь», в оконцовке доходя до ругани.

— Чего ты один живёшь, как сын? Ведь сломаешься, некому будет тебя покормить, помыть...

— А ты? — спрашивал серьёзно ветеринар.

— Что я? У меня своих забот полон рот, ещё из-под тебя выноси? Вон поезжай в соседнюю деревню, там бабок пруд пруди. Кто-нибудь да поедет к тебе, хотя

возьми меня в проводники, я бы... — и Проня с отчаянием махал рукой.

Ветеринар был на пять лет младше соседа и с иронией признавал его старшинство. Он обычно начинал рассуждать:

— Тебе легко сказать, ты свою полста лет знаешь, а я кого привезу?.. Откуда угадаю, может, она раньше меня ослабнет и сляжет, так тогда мне за ней ходить? А помоложе возьму, вдруг приставать начнёт, мне тебя звать на помощь, что ли? Да и то неизвестно, может, и вдвоём не справимся, вообще тогда на смех поднимут...

Проня подошёл, еле пропихнул осевшую калитку и заскочил по низкому крыльцу в дом.

Ветеринар сидел на маленькой табуретке и строжил над лежавшей на половике огромной кошкой. Подняв глаза и, кивнув Проне, сосед продолжал:

— Ладно, молоком тебя пою, понятно. Но почему ты решила, что я и мышей за тебя ловить буду, а?

Кошка, растянувшись, сыто перекатилась с боку на бок и зевнула в ожидании, когда ей почешут живот.

Проня плюнув, перешагнул через неё в кухню, сел, опершись руками на колени, и, посмотрев внимательно на улыбающегося ветеринара, сообщил:

— Лошадь у меня заболела. Пойдём, посмотрим. Боюсь за неё. Стоит и словно не дышит, глаза закрыты, даже не вздрагивает... — у Прони навернулись слёзы, — она мне, как сестра, я столько с ней, мне её... — он запутался в словах и замолчал.

Ветеринар, помедлив, поднялся, отпихнул кошку и пересел к столу.

— Сосед, ты согласен, что я ветеринар?

Проня кивнул.

— Так вот, лошадь твоя уже не лошадь, а мамонт! Лошади столько не живут. Пойми, ей, наверно, уже лет сорок!

— Нет, она Захара моего ровесница, одноклассница с ним, на три дня старше. Ты же сам мне её продал, помнишь?

— Не помню! Не могу помнить то, что было почти полвека назад. Но знаю, то, что коль она живёт — это чудо: не может лошадь столько жить! И этой кобыле достаточно, она уже уснула и едва ли проснётся. Лошади Бог отпустил в среднем двадцать — двадцать пять лет — край. Не будь дураком!

— И что теперь? — Проня, не поднимая глаз, сжал на коленях руки, неотрывно глядя на них.

— Теперь, пока земля не промёрзла, копай яму, где её зако... — он взглянул на соседа и, поперхнувшись, закончил: — похоронишь. Заметь, не на скотомогильник предлагаю. Я помогу, в конце концов. Не лечится старость ни у людей, ни у животных, ни у кого...

Ветеринар замолчал. Проня встал, надел шапку, постояв в дверях, не поворачиваясь, переспросил: «Поможешь?» — и вышел.

По дороге зашёл к подруге жены — Катерине, по прозвищу Вещунья. Так её звали люди за нехорошую привычку придумывать трудности. Например, собираются бабы в лес, а она начинает:

— Ой, бабоньки, а вдруг медведь в малиннике сластится? Ягода-то созрела, с ума сойдешь, сколько её. Что думаете, он — медведь — слепой, что ли?..

И так разрисует всё, что бабы уже и сомневаются, надо ли идти.

И так всегда, по любому поводу.

Но с Капой они были близки с детства, и он решил её попросить помочь.

— Чё говоришь, захворала? Лежит? А ты давно ушёл? Вдруг уже померла? — стрекотала она, одеваясь.

— Если будешь балаболить без толку, уж и не знаю, правда... — и вышел, чтобы поторопить её. Хорошо, что на улице было прохладно, и они быстро дошли до дома Прони, а то, если бы зацепилась с кем языком про «страшную Капину болезнь», неизвестно, во сколько бы пришли.

Катерина с порога проскочила к Капе. И по их

весёлым голосам Проня понял: они рады друг другу. Катерина знала в их доме всё так же хорошо, как сама хозяйка, поэтому он сразу пошёл в сарай.

* * *

Сказка уже лежала. Лежала, не как отдыхающая лошадь, а как сдыхающая, закинув вверх морду и вытянув ноги со стёртыми копытами в сторону. Дед присел около неё и прижал пальцами толстую вену на шее. Сердце молчало, не продавливая кровь в большое тело животного. Всё понимая, ладонью поднял веко и, как ему показалось, увидел огромный чёрный глаз, который вдруг засветился изнутри и сразу погас.

— Слава Богу, успел. — Проня склонился над лошадиной головой и вдруг гулко, с болью в груди, сжимая зубы, заплакал. Заплакал с безнадёжным отчаянием, забывшись и слёзно, как плачут только взрослые мужики...

Минут через десять приподнял лошади голову и подложил под неё свёрнутую попону. Встал, прошёл вглубь сарая и достал из давно пустующего куриного гнезда бутылку самогона и стакан. Вернулся к Сказке, сел рядом на солому и налил полстакана.

— Прощай, Сказка... прощай, прошедшая со мной целую жизнь. Прощай и не обессудь за то, что подчинял твою волю своей. Дед выпил и, склонив голову, опять заплакал.

* * *

... Когда в 99-м пришло последнее письмо от Захара, Проня поседел от горя и обиды.

— Да что я ему, чужой, что ли, почему ко мне не приехал? Вместе бы придумали что, — кричал он, пугая плачущую жену. — Скот бы продали, телегу, Сказку, — тут Проня запнулся и растерянно сел.

— Нет, но всё равно как-нибудь бы, а?

И он ударял пудовыми кулаками в самодельный кедровый стол.

Потом уже тихо говорил фотографии сына, улыбающегося отцу:

— Обидел ты меня, сын, ох, обидел. И трудно мне тебя будет простить за слабость твою...

Выйдя из дома, вскочил без седла на Сказку и, голыми пятками прижав бока, громко закричал:

— А ну, неси меня, Сказка, быстро, как можешь, чтобы выдуло обиду из души моей!

Целый день скакали они по полям и когда измученные вернулись домой, Проня сказал жене:

— Всё, мы решили ждать, — и виновато её обнял...

* * *

... Зайдя в дом, старик разулся, прошёл в комнату жены и приветливо улыбнулся.

— Ну, как вы? Всё хорошо?

Жена чуть слышно откликнулась:

— Да, теперь всё хорошо.

Катерина, махая руками, зачастила:

— Ой, да, Проня, всё нормально. Ты в вечер печь протопи, картохи достань, за молоком сходи, не забудь в магазин: хлеба запаси, может, ещё чё надо — посмотри. Да кусочек сальца свиного достань, я решила картошечки надавить с сальцем. Управиться, надеюсь, сам не забудешь, бабушкину работу тоже поделай всю, она же болеет. Ну, а потом можешь идти отдыхать, всё равно с тебя толку мало.

— А какой тебе ещё от меня толк нужен? — Проня с удивлением смотрел на Вещунью, — или живой воды в момент притащить?

Последние слова он произнёс с ехидцей и покрутил в воздухе расправленной пятернёй.

— Да пошто, пошто? Живой не надо, теперь воде веры нет! Я её своей настоечкой недельку полечу, да ноги потом помажу, по лицу морщины разглажу, кости в бане прогрею — к весне сама она скажет, мол, не болею.

Бабка смешно тараторила, немножко подбоченясь и притопывая ногой.

— Ну, ладно, тогда начинаю по порядку. — Он надел волглые сапоги и пошёл за дровами. Занимаясь управой, упорно думал о лошади.

— Ну, что ж, дня два смогу её не морозить, пока холода нет. А потом в кол замёрзнет, что делать, такую яму выкопать?..

Потихоньку сделав всё «по списку», взял старый, с оттянутыми боками кошелёк и пошёл в магазин.

* * *

Проня жил здесь всегда, и, наверное, должен был бы знать всех. Но, нет: когда уходил от своего дома, стоящего на краю у леса, к центру деревни очень редко встречал знакомых. Оказывается, то, что было не надо совхозу — земли — очень оказалось надо городскому люду. Поэтому деревня превратилась в подобие дачного общества, где основное движение летом, а осенью и зимой — покой и тишина! И людей стало мало как раз тех, кого дед мало-мальски знал и помнил. Магазин он болезненно не любил, путаясь в ценах и товарах, поэтому за это всегда отвечала бабка. Однако когда приходилось ему, то он сразу подходил к знакомой продавщице Наташе, дочери соседей, и всё ей наговаривал. Она весело набирала в крепкий старый рюкзак, что нужно, и рассчитывала его. И обязательно слышала от него традиционное: «Да, в наше время на эти деньги можно было мотоцикл (телевизор, шифоньер, холодильник) купить, а тут рюкзак неполный...» Сегодня на «эти деньги» можно было купить, почему-то, «домик с участком»... и ещё «с банькой в придачу!»

Высказав это, дед закинул за плечи рюкзак и прямой, в старании показать себя независимым от обстоятельств жизни, пошёл обратно. Попутно он решил зайти к братьям Ощепковым и попытаться их уговорить помочь похоронить лошадь. Братья эти жили вдвоём

давно, были здоровы, нанимались на разные работы и при расчёте отдавали предпочтение «его величеству» самогону. На счастье они были дома и, как ни странно, совершенно трезвы. Поздоровавшись с Проней, закурили и, понимая, что ему что-то надо, начали первыми:

— Давай-давай, Вовка, не стой. Иди погреб закрывай, а то мороз: позамёрзнет всё, — старший показывал младшему рукой на ограду, — наработались на людей, самим бы зиму встретить... — Старший, с любопытством поглядывая на Проню, ожидая, когда тот заговорит.

— Серёж, я вот что... помогите яму выкопать. Вы двое, да мы с ветеринаром за день сроем. А потом закопаем и я рассчитаюсь...

— А зачем рыть-то, чтобы закопать? — Серёга, с непонятной кличкой Агонас, уверенно улыбался.

— Да лошадь надо похоронить, померла моя старая лошадь...

Серёга разинул рот от удивления:

— Это та, на которой ты нас с Захаркой ещё катал? Она что жива была? — он недоверчиво засмеялся.

— Да, та. Она у меня в сарае последнее время жила...

— Дак, может, её и закапывать не надо! Она уже, наверное, мумия, ей сто лет, поди... — он явно шутил.

Обиженный Проня возмутился:

— Поможете? Нет, тогда не надо. Других найду. А зубы скалить я тоже умею.

Подошёл слышавший разговор Вовка:

— Сколько дашь?

— Ну, — Проня, не зная расценок, задумался, — три литра самогона!

— Сколько?! — братья возмутились враз, — да это же кубов пять земли надо перелопатить! Потом ещё закопать. К тому же — лошадь! Ладно, тебя, не дай, Бог! — бесплатно устроим. А тут тварь бессловесная, тяжёлая, по вере непонятная. Может, её закапывать — грех. Может, её сжечь проще — и наших нет!

— Сколько надо? — Проня старался унять справедливую злость.

— Пять литров и 250 рубликов на курево, и завтра к вечеру твоя каурая обретёт вечный покой!

— Договорились. — Проня развернулся и быстро зашагал в сгущающихся сумерках домой. Уже «в области прямой видимости» дома к нему привязалась вольная собака, каких много по деревням. Она пристроилась за ним, противно твякая, то, приближаясь, то, отставая. Её настойчивость возымела действие, и скоро за Проней бежало уже штук пять разномастных шавок. Он пожалел, что перестал носить недлинный самодельный кнут для подгона лошади. Обращаясь к противной собаке, убедительно пригрозил: «Как бы стеганул по ушам, из шкуры бы выпрыгнула, пустолайка!» Собака, увидев, что человек уже пришёл, потеряла интерес, и вся стая вместе с ней отстала.

Дед, включив свет в сарае, перевёл туда Воблу и, закрыв двери, пошёл домой.

«Чтобы крысы случаем не погрызли», — и, с трудом сдерживая слёзы, поднялся на крыльцо.

Ожидавшая Катерина, встретив, шёпотом заговорила:

— Лежит! Немного укусила картошечки толчёной и простоквашки полстаканчика выпила... — Потом, понизив голос до еле слышного и собрав брови на лбу, добавила, — и сходила по маленькому, чуть-чуть! Вишь, организм заработал! А ты говоришь, зря я тут...

— Да ничего я не говорю... Мне, хоть ночуй здесь.

Катерина косо глянула на Проню и опять прошептала:

— А мой?

— Что твой? — не понял Проня.

— Что мой скажет: ты же мужчина, а я...

Проня, прикрывая рот, засмеялся:

— Ладно, иди, гетера! В лучшее время не сподобились, сейчас и вовсе не надо!

Он дал ей маленький налобный фонарик и проводил до калитки.

— Управляюсь, завтра приду. Если мой отпустит... — она хитро засмеялась.

— Иди... с Богом! — Проня задвинул защёлку и пошёл в дом.

* * *

Агонасы пришли ни свет ни заря. Проня только-только успел растопить печь и вывести собаку из сарая. У каждого было по лопате и лом с приваренным топором.

Старший — в карьер:

— Ну и где, князь, место для друга, — он совершенно серьёзно смотрел на Проню, — черти размер.

Дед решил не обращать внимания на сарказм — сам же позвал, и наметил лопатой квадрат в два с половиной на два метра. Младший присвистнул, но упрямо воткнул лом в землю: «взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Старший предложил:

— Неси пол-литра и чуток закусить. Да беги по-быстрому за соседом, а то в троих не вытащим.

Проня выполнил пожелание братьев, а потом пошёл к ветеринару.

Тот опять разговаривал с кошкой. Проня не слышал, о чём сегодня, но возмутился:

— Ты что с ней базаришь целыми днями? Смотри, а то замаячишь ненароком или она заговорит, что тоже может быть...

Ветеринар, не смущаясь, парировал.

— Ты же по-лошадиному не заржал, хотя свою Сказку больше бабки любил. Или можешь уже?

Проня, понимая, что говорит глупость, попытался смягчить разговор.

— Ладно, проехали. Ты обещал помочь Сказку похоронить, уже могилу роют... Приходи через часа два, вытащим вместе...

Ветеринар, не отрывая влюблённых глаз от лежащей вверх пузом кошки, пообещал:

— Хорошо, приду. А поминки будут или мне поесть зараня?

— Будут! — Проня шумно выскочил за порог и со злостью плюнул под ноги. Придя домой, на крыльце увидел Ивана — мужа Катерины. Он недолюбливал его, считая, что тот сильно уж похож на свою бабу. И действительно, сосед был такой же шебутной.

— Попроведал Капу: бедная, болеет...

— Что же это она бедная — ты считал? А болеет, так выздоровеет: твоя Катерина кого хошь на ноги поставит! На тебя вон смотрю, ты уже лет тридцать в одной поре благодаря ей. Как в сорок постарел, так и в семьдесят такой же... — и Проня сдержанно усмехнулся.

Иван обиделся и, быстро проскочив мимо, пошёл домой.

К обеду яма была готова. Пришёл ветеринар, и они вчетвером, привязав лошадь за задние ноги, вытащили её из сарая. Встал вопрос, как её сваливать. Проня, сквозь слёзы, злился.

— Вы же понимаете, она упадёт на спину, ногами вверх. И что делать? Там тесно, не перевернём. Надо придумать, как аккуратно опустить...

— Вызови кран и опустишь, как надо. Или вертолёт, — чуть пьяные Агонасы даже не хотели думать. Им и так было хорошо.

Проня смерил глубину ямы и перевязал Сказку вожжами через брюхо: один конец на метр короче, второй привязал к старому, как сам, кривому клёну. Затем, перекрестившись, вместе с остальными подпихнули её в яму. Труп лошади, повиснув на вожжах, перевернулся брюхом вниз, и когда Проня обрезал их, мягко и по месту упал. Он поставил лестницу, спустился и подправил голову, вытянув её, сколько возможно вперёд, ноги подогнул одну за другой, как в бешеном беге. Присел около головы, подержал руку на лбу, не стесняясь слёз,

встал и, накрыв Сказку старой попоной, вылез наверх. Все, потрясённые серьёзностью Прони, молчали.

— Закапывайте, — и он отвернулся.

Через пятнадцать минут всё было сделано.

— Ладно, остальное — моё. — Проня отдал банку, из-под покупной воды, мутного самогона и деньги.

Агонасы ушли.

— Пойдём, старый, помянем мою ушедшую Сказку, — Проня, вытирая глаза, пошёл впереди, почему-то в баню.

* * *

— А чё ты в бане-то? — ветеринар, стоял, пригнувшись в низком предбаннике, глядя, как Проня торопливо нарезает на небольшом столе сало, достаёт хлеб и стаканы.

— Да, понимаешь, не хочу, чтобы бабка догадалась: кто её знает, вдруг расстроится. Она, как бы и так болеет, хуже может быть.

Они, молча, выпили по полстакана, заели салом с луком и чёрным хлебом. Проня, глядя на хлеб, вдруг вспомнил:

— Сказка очень любила хлеб с луком, поэтому, когда выпивал с мужиками, всегда терпела, ждала гостинец...

— Ты сейчас договоришься, что она ещё, поди, против была, когда ты выпивал? — ветеринар улыбался, поймав нахлынувшую от алкоголя тёплую волну, — может, она просила тебя соблюдать трезвый образ жизни?

— А ты что, думаешь, не так? Она вон всегда психовала, когда видела, что я пьяный. И нетерпимая становилась, и ругала меня помаленьку, даже брыкалась и кусалась...

— Ой, Проня, да это её наверно бабка настропалила за тобой следить: они, бабы, друг с другом в любом облиии общий язык найдут!.. — Проня немножко сомневался, но в принципе был согласен.

После третьего полстакана он вспомнил про бабу и засуетился.

— Я пойду, проверю, как там у них, и вернусь, ещё посидим! — но ветеринар наотрез отказался оставаться в бане.

— Что я, как беспризорник, среди тазов и шаек буду серьёзным делом заниматься — поминать? Пошли уж ко мне, стол сподобим и посидим, как люди...

Проне, действительно, вдруг захотелось посидеть, поговорить за жизнь, повспоминать хорошее и, может, не дай Бог, не очень. Они вышли из бани и, щурясь на солнце, слепо перебрались через ограду, после чего ветеринар пошёл прямо, а Проня — проведать бабок.

У тех была полная идиллия. Капа сидела на кровати с подложенной под спину подушкой, а Катерина угощала её каким-то волшебным варевом, принесённым из дома. Зыркнув на замаранного землёй и глиной Проню, соседка по-хозяйски посоветовала ему «привести себя в чистый вид, а потом уж врываться к больной», на что Проня, рассудив, что это на руку, сказал: «Ага, чичас». Выйдя на стылую серую дорогу, он увидел, что ветеринар заворачивает к себе, и ускорил шаг.

У ветеринара было тепло и тоже, по-своему, уютно. Прожив большую часть жизни, с незначительными перерывами, один, он научился следить за собой. Достаточно сказать, что у него, едва ли не у единственного из местных, не включая новых русских, в доме был туалет.

Сделали его ветеринару калымщики, строившие огромный дом соседу-дачнику. Выпили они у него, как он говорил, пять литров крови и выбрали почти все деньги, отложенные на книжку за два года. Самому ему туалет не нравился, он любил «свободу духа», но туалетом гордился, прибав для порядку на дверь пластмассового мальчика без штанов с горшком в руках...

Проня снял сапоги и, пройдя в комнату, поставил на стол литровую бутылку самогона, положил булку хлеба и завернутый в белую тряпку кусок сала.

Ветеринар быстро, по-хозяйски ловко, собрал на стол. Глядя на аппетитную красоту деревенской пищи, Проня, сглотнув слюну, подумал, сможет ли сам так сытно жить без бабки? Ветеринар сел напротив и налил в стаканы. Выпили молча, взглянув друг на друга, как бы уже играя в настоящие поминки, и долго, теперь уже обстоятельно, ели.

— Послушай, сосед, а почему ты, правда, один, что тебе мешало взять и жениться или просто жить с бабой?

Ветеринар дожевал хрустящую квашеную капусту и, глядя мимо Прони в окно, спросил:

— А вот, как меня зовут, скажи, Проня? Как?

Проня, действительно, растерялся и, нервно перебирая имена, пришедшие в голову, искал его имя.

— Не вспомнишь! А звать меня Виталья, Виталий Фомич Новицкий, собственной персоной. Причём, окончивший в 1964 году институт сельскохозяйский. Но не внушаю я доверия своим каким-то легкомысленным видом и не внушал. И ни первая, ни вторая, ни третья не любили меня, возможно, думая, что я ненадёжный. Хотя делал я всё для них, разрывался, только что дитя Господь не сподобил родить. Но они, пожив со мной, уходили к серьёзным, хозяйским, справедливо, наверно, ценя мужицкую прижимистость. А я — вот он. Душа — нараспашку: приходи, проси, помогу! То корова не растелится, то лошадь хромает, то свиньи не растут. Нужен всем, но, думают люди, что работа не такая уж и важная, и в благодарность обычно — бутылка. Совсем не брать нельзя, а самому не надо, вот и смеялся над собой всю жизнь, боясь заплакать. И думали все, что, мол, легко ему: «Смеётся, не грустит — как с гуся вода...»

Проня хотел что-то вставить, но ветеринар остановил его рукой.

— Вот и ты! Рядом жизнь прошла и почти всегда вместе, а ведь ни разу не спросил, как, мол, тебе, Виталья, живётся с твоим дойным гуртом и стадом молодняка.

А бабы, они что — бабы! С ними никто, шутя, не проживёт — заплачет. Так и я...

Проня ничего не понял, но в словах ветеринара Виталия Фомича сквозила такая обида и боль, что слов успокоить его он не нашёл и, вздохнув, налил ещё.

— Давай, Виталя, выпьем, и прошу тебя, забудем обиды. И хоть жизнь уже к закату, постараемся понять друг друга и простить...

— Сильно, — мотнул головой Виталя, и они выпили...

Сегодня вспомнили они многое, о многом поговорили и поспорили.

Оказалось, что часто делали выводы, ничего не поняв, или понимали то, из чего выводов делать не надо было.

Разговаривали долго, раскрыв душу крепким Прониным первачём. А когда слова кончились, ветеринар достал здоровый баян и запел, вдруг душевно и красиво, так, что Проня заплакал, сквозь слёзы подпевая:

И шумит над полем, чисто скошенным,
Ветер забияка и лихач,
Я один остался, тобой брошенный,
Но прошу тебя, уже по мне не плачь!

Потом он пьяно хвалил Виталия Фомича за его доброту и в конце упросил разрешения звать его просто Фомичом.

— Давай, это ведь по-нашему, по-простому. — Ветеринар согласился, и за это выпили на посошок. На улице ветеринар направил его лицом ко двору и сказал, что будет стоять, пока Проня не войдёт в дом.

Проня, сильно опьяневший от переживаний последних дней, упорно называл его Вита-Фомичом, тряс руку и благодарил за душевность. В конце концов, не сумев отцепить соседа, ветеринар проводил его и, заведя в дом, закрыл за ним двери. Проня, придя чуть в себя,

очень удивился, поняв, что вместо гостей находится дома. Чуть подумав, решил, что, скорее всего, в гостях он был вчера, разулся и, не вспомнив, зачем сегодня пил, уснул...

* * *

Кто же не знает, как время здорово лечит?! Как окутывает оно, время, неотложными заботами, проблемами, делами, мыслями душу человека, успокаивает её, давая надежду на продолжение всего!.. Как плачет человек над чем-то, произошедшим сегодня, как переживает над тем же завтра, как тоскует послезавтра и как с трудом вспоминает через месяц. Не будь времени, не смогли бы сказать: «Всё плохое прошло или всё хорошее впереди! Не оставайся в прошлом, не гноби себя, ведь всё, что было, уже не исправишь. Оно прошло: горькое или нет, но прошло! Научись, не хороня и не презирая прошедшее, жить настоящим и стремиться к лучшему в будущем». Только так бесценный дар — время — лечит и помогает жить!

* * *

Утром, включив везде свет, Проня быстро сходил за дровами и растопил печь. Не забыв про собаку: намяв в миску картошки и наломав в неё хлеба, залил холодным супом, вспоминая, когда же он его варил. Вобла почему-то не встретила его, как обычно, радостно виляя хвостом — лежала в будке, положив голову на лапы. Проня присел рядом на корточки.

— Ну, а ты что? Поди, не нравится, что я вчера выпил? Это надо же, — не угодил! Пока жил с вами тремя один, терпел соблазны, был хороший! А тут раз выпил, когда нельзя было не выпить, и не угоден. Ну, и ладно, ешь давай...

Он поставил чашку у будки и пошёл в свою небольшую столярку, где занимался разным деревянным рукоделием долгими зимними днями. Растопив небольшую

железную печурку и, подложив в неё несколько берёзовых полешек, плотно прикрыв дверь, зашёл в сарай. Здесь у него стоял двухметровый брус, слегка потемневший от времени. По-хозяйски оглядев его, Проня, затащил его в столярку...

Вещунья в это время рассказывала Капе, «что видела своими глазами»:

— Иду от тебя, когда Проню уложила, слышу, у ветеринара кричат. Подхожу ближе, а это он песни поёт под баян. Поёт красиво, но громко. Я в сенцах послушала, постояла немного, даже всплакнула. Только зайти стесняюсь, посмотреть, перед кем это он разоряется. Вышла — и в палисадник, благо, снегу мало. Заглянула в кухонное окно: «батюшки святы!», он шпарит с закрытыми глазами, поёт, рыдает, а на стуле напротив — кошка! Огромная, чёрная, как смоль, глаза зелёные, и улыбается. Веришь, нет, довольная, и даже подпевает ему, по-моему. Я к окну прилипла, а кошка пела-пела и зырк на меня, словно огнём лицо мне обожгло. Не помню, как до дома добежала, закрылась, трясусь. Хорошо, дед дома, а то бы со страха померла. Вот те крест, не вру!

Капа слушает и уже весело, в голос, смеётся. Катерина машет рукой и начинает хозяйничать.

... Ближе к обеду Проня вынес из столярки освещённый рубанком брус и аккуратно вкопал его в заранее подготовленную ямку у небольшого холмика, насыпанного над Сказкой. Прихлопал землю, подровняв холмик, и, удовлетворенно вздохнув, протёр от налипшего снега надпись на фанерной табличке, укрепленной на брус:

**Сказка.
Лучшая лошадь.
1966 – 2011 гг.
п о м н ю.**

В конце декабря Проня, взяв в помощники возмущающегося Виталия Фомича (ветеринара), направился в магазин за накануне заказанным телевизором. Виталий Фомич, от пуза наевшийся капустных пельменей со сметаной и чёрным хлебом, умолял друга не торопиться.

— Я, Проня, жизнь прожил здоровым, знаешь, почему? А потому что, что бы ни случилось, но после обеда часок, да сосну! Всегда. И тем более мне обидно, что, уже уверовавши в этот замечательный способ от болезней, я сейчас с тобой прусь в этот магазин. И, возможно, даже буду напрягать спину, поднимая телевизор. Они знаешь, какие. Вон у меня полупроводниковый цветной в моём детстве весил килограмм тридцать, наверно. А сейчас уже все тридцать пять из-за пыли, в нём скопившейся. Но, хотя он разогревается час, выбрасывать его жалко, пусть уж стоит. Без него угол пустой будет.

Проня терпеливо объяснил, что заказал новый «жидкокристаллический», чуть не сломав язык, выговаривая.

— Диагональ 80 сантиметров и антенна-тарелка, сто каналов, а стоит это чудо тридцать пять тысяч рублей. За эти деньги раньше можно было «Волгу» купить и два «Жигулёнка»!

Ветеринар внимательно, но лукаво поглядев на Проню, многозначительно заметил:

— Уважаю! Идём!

В магазине их, оказывается, ждала сервисная служба: посадив дедов, лёгкая «ГАЗель» направилась к Прониному дому.

Пока ехали, Проня всё пытался что-то спросить, но не осмеливался. Ветеринар же, наоборот, интересовался: почему им сразу не везут телевизор. Те, посмеявшись, указали на картонную коробку, плоскую, как стол.

— Не может быть, — ветеринар недоверчиво хмыкнул, — мой телевизор размером с мартеновскую печь, в которой железо раньше плавили. Такой же большой и горячий, и цвет всё больше красный из экрана...

— Да ты, дед, деньги давай, мы тебе такой же привезём, не печалься.

Ветеринар отказался, мотивируя тем, что погодит, пока не убедится в качестве Прониной покупки. Парни быстро приладили маленькую антенную тарелку к фронтому и, занеся телевизор в дом, распаковали его. Вкрутив два штыря в стену, повесили аппарат. Потом дали хозяйке в руки пульт, научили, как им пользоваться, и баба Капа со страхом нажала указанную кнопку. Комната осветилась всеми цветами радуги, и на экране начались действия, одно краше другого. Все возрадовались, мастера пожали дедам руки и испарились, как джинны. Пока обсуждали покупку, пока чуток «обмывнули» её в бане, пролетело более часа. Вернувшись в дом, деды убедились, что Капа не пролистая и половины каналов.

— Здесь есть и про зверей, и про спорт, и сказки, и картины... — бабка увлечённо рассказывала, привскакивая на кровати от восторга.

Ветеринар, глядя на довольную Капу, предложил Проне:

— Пойдём, сосед, примем ещё по граммулке, и можешь насовсем переходить в свою комнату, ведь бабке ты больше не нужен. У неё теперь сто, этих, как его, каналов...

В бане, опрокинув по стопарику, долго сидели молча, погружаясь каждый, в свои мысли.

— А знаешь, Проня, — вдруг оживился гость, — может, я, правда, из соседней деревни Глашку Игнатову привезу. Я её давно знаю, но у неё раньше муж был, — ветеринар заулыбался, смущённо опустив глаза, — а теперь овдовела. Она мне нравилась, и я — ей.

Проня встрепенулся:

— Ты кого, как кот старый, щеришься — говори по делу. Что-то решил и юлишь передо мной, как перед этой самой Глашкой! Фофан!

Ветеринар обиделся:

— Да дочь её приехала вчера в наш магазин и ко мне зашла. Говорит, мать просила спросить, как я поживаю. Ну, ведь не зря интересуется. Вот я и предложил передать Глаше — пусть приезжает в гости. Буду, мол, рад приветить, да и вспомнить есть чего. Мне ведь, Проня, снится уже, что я Мурку свою под венец уговариваю. А она мне, скотина толстая, говорит языком своим кошачьим, но почему-то понятным: «Какое у вас приданое, Виталий Фомич, кроме тёплого туалета? И могу ли я всерьёз рассчитывать на денежное довольство после вашей скоропостижной смерти по причине слабого сердца?» Я в поту проснулся от страха, а она, Мурка, на моей подушке спит, а я, мордой в неё уткнувшийся, с полным ртом шерсти её да ещё и с блохами, наверно! В общем, определил я её пока в сарай, потом видно будет. А Нинка говорит, что мать хочет на Новый год ко мне приехать с okazji, может, поживётся?

Ветеринар участливо глядел теперь на Проню.

Тот, подумав, налил понемногу в стопки и предложил:

— Посошок! И вот ещё что: ждём тебя с твоей Глашей к нам на Новый год. Мы же, наверно, лет десять Новый год вместе не справляли, а? А это повод и почин добрый.

Они чокнулись, выпили, и ветеринар, пожав руку Проне, пошёл домой.

* * *

Ночью Проне, уснувшему в чуть хмельном состоянии, посмотревшему ещё с бабкой кино про большую обезьяну, снился ветеринар с кошачьими усами. Он был похож на бравого гусара и даже выпячивал грудь, но обут был почему-то в валенки. Проня ничего не спра-

шивал, но ветеринар сам объяснил: «Чтобы когти не стучали».

Проня во сне не хотел иметь с ним дела, но ветеринар тормозил его, приговаривая: «Проня, Проня...»

Он открыл глаза и увидел бабу, в ночнушке, без платка, с рассыпанными по плечам волосами, в протянутой руке — телефон.

— Проня, сын, сын звонит... Бери, радость какая!

Он схватил телефон и, отвыкший от него, заорал:

— Алё! Алё!

Тут же услышал знакомый до боли голос Фёдора:

— Привет, отец, рад тебя слышать живым-здоровым...

Проня, опомнившись, громко затараторил:

— А я хочу тебя не слышать, а видеть, сын, пойми. Мы с матерью уже сдурели здесь одни! Приезжай: кто знает, сколько нам осталось...

— Да я поэтому и звоню. Мы собираемся к вам все вместе. Захар же нашёлся, отец! Он на китобое ходил, потом в японскую тюрьму угодил. Он едет ко мне, и мы все вместе — к вам! Обними мать, на Рождество будем...

Телефон запищал и умолк.

Кто сказал, что от радости не умирают?! Другое дело, что это очень обидно: не от горя, а наоборот.

Проня почувствовал, как волна непередаваемого счастья нахлынула, сбив дыхание. Он сел на кровати и прижал к себе Капу.

— Помоги мне: не задохнуться бы... — и Капа гладила его седую голову, как в юности, радуясь ему...

Проня поднял глаза, полные незамутнённой влаги:

— Бог есть! Его не может не быть, если такие дела происходят в этом мире, — и, уткнувшись ей, такой нужной, в плечо, выдохнул: — Как же я счастлив, мать!

Поздний подарок

Макар открыл глаза. В доме было тихо и спокойно, в кухне стукали любимые дедовы ходики и он сам, ровно, но тихо всхрапывал на своём небольшом диване. В неширокое, не закрытое шторами окно серилась зимняя холодная лунная ночь, по нетоптаной целине блестя серебряным снегом, а дальше — вырывая тени забора и деревьев чёрными пятнами. Макар до самозабвения любил этот небольшой дедов домик из кухни и комнаты, эту старую, ещё «хрущёвскую», по дедовым словам, панцирную кровать, придвинутую к окну, и вообще...

В это «вообще», он вкладывал всё, буквально всё, что мог вспомнить из детства, и всё, что происходило сейчас...

Сон не шёл. Макар приподнялся и, встав на колени, навалился на тёплый подоконник. Удивительно, но он уже много лет помнил вот эти моменты в жизни, этот волшебный холодный покой за окном, мерцание снега, освещённого огромной бледно-жёлтой луной и даже обязательную, ясно видимую ровную тропинку через палисад, туда — к реке. Но, как ни странно, как сейчас, так и тогда ещё в детстве, он испытывал очень похожие чувства, сродни ностальгии, только той, которая предстоит, но уже волнует своей неизбежностью. И опять, до слёз, хотелось что-то сказать, чем-то оправдать своё восхищение или объяснить этот щемящий душу восторг...

Дед всхрипнул и, подняв голову, несколько секунд смотрел на внуков силуэт в окне.

— Ты, кого не спишь, Макарка? — со сна спросил он тихо и хрипло...

— Не знаю, не спится, и всё... Как-то тоскливо, и... хорошо совсем — не передать!

Дед откинулся на подушку и со знанием дела продолжил:

— Это луна, ядри её... Глянь, как лупит на землю... ты на неё шибко не любуйся, заскучаешь... И спи давай, завтра дрова по плану, а ты не спамши... какой колшик-то? Смех... — И дед снова задремал, негромко всхрапывая.

Макар, приехавший на Рождественские каникулы к родителям, но живший, как обычно, у деда, в отдельно стоящем его доме, задвинул штору и лёг, не переставая улыбаться. Так и уснул!

* * *

Его, Макаров отец — сын деда Ивана — Олег Иванович засобирався жениться в двадцать пять лет, в прошлом веке, в девяносто шестом году. Сам Иван был рад до слёз. В стране творилось Бог весть что, а женитьба была вариантом как-то привязать сына к дому, к хозяйству. Девчонка, выбранная в жёны — местная, деревенская, поэтому всё вроде получилось. Волновал только вопрос жилья, но как только Иван узнал, что сноха Лена забеременела, сразу объявил сыну и сватам:

— Свесны в конце огорода себе домик начну, думаю, как первенец у молодых определится — перейду. А этот дом пусть дети обживают и внуки. Надеюсь, за внуками дело не станет?

В то время Иван — Иван Макарович Челядин — был совсем ещё не дедом, а шестидесятитрёхлетним молодым пенсионером, работающим и крепким. Поэтому в его словах никто даже не сомневался.

Недолго думая, он выписал в доживающем последние дни совхозе сорок кубов осины, которую любил за лёгкость обработки (пока не высохла, высохла — железо!), и за май-июнь с помощником поставил на краю своего участка, перед самым спуском к реке, белый сруб на кирпичных столбиках. Распустив остатний лес в соседней деревне на пилораме, поднял невысокую крышу и соорудил лёгкую холодную веранду. Новый девяносто восьмой год он встречал уже в своём свежем, пахнувшем осиновой горчинкой, доме с котом Барсиком, не пожелавшем остаться в старом жилище с новыми хозяевами.

Внук Макар притопал своими ногами к деду уже на следующий год. Никаких заборов и заплотов Иван не делал, ни от кого прятаться не хотел, сам же постоянно что-то мастерил, пилил, строгал или прикапывал в огороде какую диковинную веточку, из которой потом должен был вырасти чудо-куст, плодоносящий вкусно-той. Макарка, хоть и был совсем ещё маленьким, едва научившимся ходить, но, как говорил сам, чётко помнил этот первый к деду приход... Будто бы дед завёл его домой и кормил сладкой жимолостью, которая обоим очень нравилась. Правда, в тот раз всё немного испортила Макаркина мать, потерявшая сына и обежавшая уже все берега. Заскочив к деду и увидев сына, весёлого и сине-фиолетового от ягоды, сначала от радости плакала, потом, правда, ругалась. Но... процесс пошёл, и, чем дальше, тем больше стареющего Ивана и взрослеющего внука манило друг к другу. А когда у Олега и Лены родилась дочь, а за ней, через год, ещё одна, Макарка почти постоянно стал жить у деда. Время шло!

* * *

...Утром он, конечно, проспал. День уже был светел, значит, часов девять. Вчерашняя ночная радость улеглась в душе, но бесследно не прошла, превратившись в умиротворяющий совершенный покой, какой он испытывал только у деда.

Сам Иван Макарович что-то стряпал на кухне, откуда распространялся вкусный запах. Понял это Макар по тому, что дед пел, вернее, мычал мелодию, понятную ему одному...

— Опять чего-то в календарике вычитал, — с удовольствием подумал внук.

Просто у старого уже Ивана совсем недавно, года три назад, появилась интересная страсть. Он вдруг стал увлечённо собирать, читать и детально изучать настенные календари! А так как их сейчас много всяких, то были у него и кулинарные, где на обороте каждого листка был какой-нибудь рецепт. Именно по этим рецептам он и готовил иногда себе и внуку пищу, и, как ни странно, — получалось. Если было вкусно — хорошо, а если не получалось, оправдывался: «Ну, где я возьму тебе сейчас в кашу дыню — зима же! Вот я и добавил кусок тыквы, у меня её полный подпол. Может, и не сладко, так медка немного добавь. А мне и так вкусно!»

Но Макару действительно нравилась стряпня деда, поэтому ел он её с удовольствием...

Макар встал и, с хрустом потянувшись, подошёл к дедову дивану, над которым висел ещё один, теперь подаренный деду им самим, календарь. Был он большего, чем обычные, размера, а на обороте листа, который не отрывался, а переворачивался, были пропечатаны фото, имена и фамилии разных знаменитых и не очень людей. Здесь же — небольшое пояснение: что за человек, чем знаменит или что придумал в жизни. Сегодняшний лист был уже перевёрнут и, наверняка, прочитан. На Макара смотрел Алексей Толстой — большого, широкоскулый мужчина с лысиной на полголовы. По памяти парень знал только его фантастику про инженера Гарина, больше, почему-то, ничего. Он улыбнулся.

— Не обижайся, Алексей Николаевич, но мне важнее одиннадцатое число... Дед мой завтра родится! — и он, радостный, пошёл на кухню завтракать.

Сегодня у Челядиных — дрова! Иван Макарович, прожив серьёзную жизнь, совершенно точно знал: хочешь, чтобы всё было в порядке, не торопись. Не торопись и попытайся хоть немного спланировать свои время и дела... И порядок будет!

Дров у него, конечно, с запасом. Но — летние, берёзовые: быстро сохнут и зимой годятся только на растопку да на случай быстро печь протопить...

А для тепла на долгую зиму они с внуком пилили берёзовые лесины на чурки в октябре, перед самыми холодами. Всё это составлялось в поленницу в углу ограды, и зимой, обычно уже по хорошему холоду, кололось на поленья. Вот это дрова, так дрова!

Двор был вычищен до самых выставленных вдоль забора чурок. Макар выбрал невысокую, отпиленную от комля, и, откатив её ближе к центру двора, выставил, как было удобно самому — он был на расколе. Проще говоря, колот чурки на три-четыре, желательнее не толстых, пласта. Дед же, не желающий сидеть без дела, оттаскивал их в сторону и колот уже на более мелкие своим небольшим, насаженным под руку, колуном. Он, конечно, не поспевал за внуком, но и не останавливался, размеренно поднимая и опуская не тяжёлый колун: «Тук-тук! Тук-тук!».

Макар, в отличие от деда, работал с юношеским азартом, скинув куртку и раскрасневшись, паря всем телом. Он затаскивал чурку на «эшафот» и, оценив её крепость, бил со средней силой и, молча, если она была небольшой. Или наоборот, прочнее встав и с серьёзным замахом, если та была, на его взгляд, мощной. Ещё при «вложенном» ударе по большой чурке он коротко и отрывисто хыкал: «Хыек!». Получалось красиво и синхронно: «Хыек-тук, хыек-тук»...

Морозные чурки кололись легко и со звоном, радуя обоих непередаваемым азартом удачно проделываемой работы. Дед иногда останавливался, поста-

вив ногу на чурку и, облокотившись на колено, смотрел с удовольствием на Макара. Внуком старый Иван гордился!

За короткий зимний день, с небольшим перерывом на обед, они перекололи третью часть чурок. А так как к этому времени приспела баня, созрело предложение у деда:

— Давай с утра быстро сложим в поленницу, а потом сядем, посидим чуток... — по какому поводу, он не уточнил, знал, что все помнят!

На том и порешив, вместе пошли в баню. Дед, хотя и не шибко терпел теперь жар — возраст, но присутствовать всё равно любил. Внука к серьёзной бане приучил именно он, пробудив в нём эту исконно русскую страсть.

Макар, сидя под потолком в парной, с нескрываемым уважением смотрел на деда, сидящего, в самом низу, на деревянном самодельном стульчике. «О чём же думает он, часто вот так замолкая и задумавшись сам с собой? Куда несёт его память, какие листки этого, почти векового календаря, листает она?..»

Макар негромко окликнул деда. Тот, вздрогнув, расправил опущенные плечи, словно поддув себя изнутри и, глубоко вздохнув, ответил:

— Всё нормально, внук, всё нормально... Пошёл я, обмоюсь да тебя подожду в раздевалке на лавке. А ты не торопись, побалуй себя паром-то, побалуй, — он поднялся и, пригнувшись перед низкой дверью, вышел из парной.

«Побалуй!» — ну, кто же ещё может сказать так просто и так понятно? Кто же ещё в одно слово может вложить всё, что ждёт от бани и ради чего туда идёт простой деревенский мужик? Да только они, люди, прожившие с этим, или, вернее, в этом — жизнь...

Макар, черпанув и поддав на каменку душистый взвар, сжал зубы от жара и удовольствия и стал париться.

Дед вставал всегда рано, летом — с солнцем, зимой — задолго до рассвета. Эта привычка... она живёт с ним всю его жизнь и, только умерев, он ей изменит!

Так и сегодня: Иван проснулся и тихонько, чтобы не разбудить внука, прошёл в кухню. Уютная, сложенная им самим печь, была ещё тёплая, но дед, наложив дров, растопил её и поставил на плиту чайник. По-хозяйски осмотрев кухню и подвинув низкий табурет, сел к печной дверке. Весёлый огонёк, разгораясь на высушенных летом растопных дровах, задорно и часто щёлкал сверчком, ярко моргая деду через щель. Иван в стотысячный раз смотрел на огонь и снова, как и всегда, восхищался и успокаивался им или, наоборот, грустил без надрыва, со старческой мудростью.

— Вот и ещё год! Теперь уже восемьдесят два, поди! Вот ведь, Господи, прости, летит времечко... — кажется, вчера он поднёс спичку, дрова разжечь, и печь ещё не протопилась, а год проскочил, как зимний короткий день! Дед несколько минут посидел и, услышав, что чайник закипел, встал, заварил чай в не большом фарфоровом заварнике, оставшемся у него ещё от жены, про которую он вспоминать не любил, но, заваривая чай, вспоминал каждый раз.

Приготовив чай, дед заглянул к Макару и, удостоверившись, что внук спит, снял со стены календарь. «Ну, кто же со мной в один день сподобился на свет появиться?» — он сел на лавку, положив календарь на стол, налил в кружку немного чая и, отхлебнув, перевернул лист на одиннадцатое января!

На него с довольно широкого листа смотрел... он сам, снятый по пояс, в пиджаке и галстук, с широко открытыми, наверно, по просьбе фотографа, глазами и искусственной полуулыбкой. Усатый! Он растерялся, узнав себя, и, словно вор, инстинктивно оглянувшись, вернулся на предыдущую страницу. Радости не было: сердце, непривычно для него слышимо и даже осяза-

емо, неприятно заторопилось в стуке. С этой страницы на него смотрел Алексей Николаевич Толстой. Он, слеповато щуря глаза (забыл, что в очках!), стал читать, лихорадочно соображая: «Так, писатель... почему не знаю? «Хождение по мукам» — опять незнакомо, «Орёл и орлица» и что ещё?

«Буратино»! Да какой это Толстой? Ненастоящий, поди, и он, и календарь, а? Наш-то Толстой это «Война и мир!», — он опять перелистнул страницу и, увидев себя, быстро перешёл на следующую.

Растерянность была уже очевидной. Он инстинктивно хлебнул горячего чая и, ожегшись, чертыхнулся... но сразу вслух продолжил:

— Двенадцатое января... Раймонд Паулс... композитор... латыш. Ага, а где я ихних знаю? Своих-то плохо помню! Что же делать, кого спросить?..

Вспомнив про Макара, шлёпая босыми ногами по деревянному полу, заспешил в комнату. Внук спал, улыбаясь во сне. А, может, и не спал...

Дед, нагнувшись над ним, тихонько позвал:

— Макар, Макарка, проснись, что ли, дело есть...

— Чего тебе, дед? Подъём? — не открывая глаз и почему-то улыбаясь, откликнулся внук.

— Да нет, ещё, спи... Токо того... скажи мне, кто такой Толстой?

— Понятно кто, писатель. Довольно знаменитый. По крайней мере, весь мир знает, кроме тебя, — внук уже явно иронизировал.

— Я тоже знаю, не дурак. Токо Льва, а тут новый какой-то. Или, может, я не слышал про такого ещё? Не врёт календарь-то, который ты мне на Новый год подарил?

— Нет, не врёт. Это же «Литиздат», тысяча экземпляров, им врать нельзя. Он и называется «Знаменитые люди России», Что непонятно?

Дед хмыкнул и, отойдя, пояснил негромко, для себя:

— Всё понятно. Почти. Не понятно токо, я-то кака знаменитость, за что меня туда вклеяли, как насекомую, в цветочную гербарию? — он быстро ушлёпал обратно в кухню.

* * *

Покой пропал. Дед сел, положив руки на календарь, понимая, что предстоит ещё и прочитать, что там написано про него. Удивительно, но всю жизнь, мечтая о даже небольшой известности, сейчас он этого устрасился. Жизнь, прожитая в деревне, безвылазная работа в большом, на три отделения колхозе, пускай, не миллионере, но всё же, где основным мерилом успеха была премия, ею и стимулировалась. Можно было надоить полторы тысячи литров молока с коровы в год, жить спокойно и получать сто восемьдесят рублей в месяц! Но можно было и немного постараться: молока не раздавать, домой не таскать и надаивать уже тысяча восемьсот, а то и две тысячи литров! А это ты — уже мастер: почётная грамота, та самая фотография на Доску почёта и двести пятьдесят рублей в месяц денег. Плюс премия... плюс известность!

Но Иван-то таким не был — вот в чём беда! Он всегда работал честно, ответственно выполняя возложенные на него обязанности. Но не более того. Слишком много было забот, связанных с устройством личной жизни, и это для него было всегда важнее. И тут эта радость, которая, наверно, скорее — беда...

Он решился и открыл календарь. Выдохнул и стал читать, спотыкаясь глазами:

«Челядин Иван Макарович. Родился 11 января 1934 г. Простой работник племенного хозяйства «Победа». В 1974 г. во время пожара, рискуя жизнью, открыл ворота в 34 загонах, чем спас 210 голов месячного молодняка КРС. Награждён медалью «За отвагу на пожаре» и премирован путёвкой в Крым.»

Иван только теперь, дочитав, выдохнул и стёр выступивший от волнения пот на лбу. А ведь это было,

было! И именно он, увидев огонь над фермой, прилетел туда на велосипеде и сумел сбить замок с задних ворот. Забежав в дым и рёв и задержав дыхание, почти по памяти, повывёргивал задвижки на воротах загонов.

Вот так дела! Ещё минуту назад он не знал, что и думать, боялся, что не по делу его вспомнила власть, а оно — смотри, как! Сам-то он давно всё это забыл, словно и не было такого. Значит, всё-таки не зря прошла его тяжёлая, хотя и не очень заметная трудовая жизнь. Иван встал и, войдя к Макару, сказал негромко, но с гордостью человека, о котором помнят:

— Я разобрался здесь. Тут написано по делу: и про Толстого, и про музыканта. Да и ещё про некоторых, не таких известных, но всё-таки делавших дела! Давай вставай, помогай деду стол сподобить. Скоро гости пойдут.

Макар теперь уже открыто улыбался, видя сквозь прикрытые хитро глаза лицо деда, слыша его радостный голос. И какая разница, кто вклеил этот лист в календарь, «Литиздат» или он, Макар, напечатав его на принтере в училище. Главное — правда о его очень не простой жизни, которую не надо забывать, которая важна для наших дедов и бабок!..

... За столом Иван Макарович Челядин сидел в костюме и при галстукe! И на лацкане блестела найденная утром в дедовых документах медаль «За отвагу на пожаре», натёртая до блеска рукой Макара! А за ним на стене — календарь «Знаменитые люди России» с молодым Иваном на листке «11 января»!

19.01.2015 г.

Гиблая философия

... Наступила осень! Тёмный зрелый лес, издалека, словно рваная стена, вдруг побило жёлтыми пятнами. Позавчера, а может и вчера, но всё равно, недавно, смотрел — всё, как обычно! А сегодня, на удивление — большие, словно выжженные осенним солнцем ярко-жёлтые, с пока чуть красными вкраплениями, участки. И какая красота! Лес, без говора птиц, сверчания и жужжания разных насекомых казавшийся немым, снова ожил! Только теперь миллионами красок, напоивших его непередаваемой сочностью жизни, радостью понимания того, что и это окончание — осень — начало чего-то нового, обязательного и нескончаемого!

Михаил Лукич, высокий, не согнутый временем, остролицый дед в накинутом на плечи старом, вытертом до шкуры, тулупе, на голове — круглая баранья шапка, стоял, держась за забор, и смотрел в сторону леса. Солнце, просыпающееся с каждым днём всё позднее, быстро вставало с восточной стороны из-за уходящего туда лесного гребня. Оно выкатывалось скоро и неотвратно, сначала стреляя острыми лучами между слившихся деревьев, потом ярко поднимавшись над ними, заискрило и засверкало тысячами алмазов и изумрудов на стылой земле!

Дед восхищённо крикнул и стёр с глаз слёзы, выступившие от переполнявшей душу радости увиденного сказочного действия. Ещё постояв минуту, уже не в

силах смотреть на яркое солнце, а просто поминая хвалой Бога, пошёл в уютный, построенный давно своими руками дом, подтопить немного печь и заварить вкусного, на смородиновом листе, чаю.

* * *

Они жили вдвоём с бабкой, не в размер ему: маленькой и живой, весёлой и компанейской! Она всё ещё, несмотря на солидный хотя и намного меньший дедов возраст, ходила в деревенский клуб выступать в хоре. Сам дед, очень замкнутый, всегда был дома. Два-три раза в неделю к нему заходил сосед Станіслав с литовской фамилией Алсис, немного похожий на деда ростом и повадками.

Станіслав появился в деревне давно, лет сорок назад, но, откуда и как, не знал никто — изначально он жил тихо и незаметно. Бабка его умерла в девяностых, и с тех пор он хозяйничал один...

У Михаила Лукьяныча и Елизаветы Егоровны были два сына и дочь. Сыновья — взрослые, один старше другого на пять лет, но не любившие друг друга с детства и перенесшие эту нелюбовь во взрослую жизнь. Уехав в город, посещали стариков очень редко и то по очереди, чтобы не встретиться. Дочь тоже жила в городе, но у неё уже было трое детей, поэтому в гости приезжала раз в год. Так и жили, как и миллионы других стариков в России: вроде и не брошенные, но одинокие.

* * *

... На 7 ноября, после обеда из дома Михаила Лукьяныча Елисова вышли, окутанный душистым паром, сам хозяин и его хороший знакомый — Алсис Станіслав.

Спустившись с невысокого крыльца, они почти враз запахнулись длиннополыми, одинаково очень старыми тулупами и дружно, плечом к плечу, по широкой улице направились к берегу водохранилища. За три часа до этого дед Станіслав пришёл к Елисовым

отмечать 7 ноября — праздник для них, несомненно, важный и традиционный. Посидев за хорошо накрытым хозяйкой Елизаветою столом и дёрнув по три семидесятиграммовых рюмочки крепчайшего дедова самогона, они вдруг решили проверить, как обстоят дела со льдом, ведь мороза, вчерашней и сегодняшней ночью даванули до двадцати. Поэтому, поговорив о хозяйстве, дровах и угле на зиму, о курах, которым стыло в незакиданной снегом землянке, заговорили о рыбалке.

* * *

Рыбалку они любили оба, но понимали её совершенно по-разному. Дед Станіслав, в жизни степенный и неторопливый, умеющий подумать перед любым делом, в рыбалке менялся до неузнаваемости. Попав в струю или, правильнее, в рыбацкий гон, он мог за день обойти огромный участок, дырявя не толстый ещё лёд своим старомодным, семидесятих годов прошлого века, буром — «ложкой». Он «терял лицо», становился совершенно неузнаваемым и суетливым, зорко следил за соседями, сам не переставая сакать удочкой. А если видел, где поймали два-три окуня, совершенно не смущаясь, катил туда со своим раритетным буром и высокими, с удобной сидушкой, санками. Если же начинало клевать на мормыш или мотыль, то, чтобы не терять времени, он набирал живую насадку в рот, чем заметно, ускорял процесс наживления наживки. Часто удивлённые увиденным, особенно городские рыбаки, спрашивали его всерьёз, но улыбаясь:

— Дед, а если поперхнёшься или икнёшь вдруг, не боишься всю эту флору сглотить?

Дед, аккуратно сплюнув на ладонь живёхонькую шевелящуюся массу, немного с акцентом отвечал:

— Да сколько раз так было уже! Только хорошо, если сразу сглотишь, а то иногда в горле встанет и шевелится там, плыть пытается. Трудно прокашливаться!

— и снова закидывал рыбацкое шевелящееся счастье в рот.

Особо впечатлительные рыбаки сразу начинали плевать и стонать, кто же покрепче, убегали к своим лункам, матеря его про себя.

Кто знал деда Алсиса в жизни и видел его на рыбалке, поражались такой изменчивости...

Дед Лукич был полной противоположностью деду Станіславу. Именно в том, что, как и в жизни, в рыбалке он был серьёзным и неподдающимся азарту. И способ самой рыбной ловли был у него один, неизменный уже лет пять точно!

Начать с того, что рыбачил он только до тех пор, пока лёд не становился настолько толстым, что не позволяло ему быстро и без особых усилий прорубить лунку пешнёй. Именно пешня была для него единственным орудием для бурения, точнее, прорубки льда. Буры, как старые, неуклюжие и очень неудобные, так и современные — шнековые, словно сверла дырявящие лёд, он не признавал. Определившись, где, по его мнению, сегодня есть рыба и где он будет рыбачить, дед делал три-четыре отверстия во льду. Не маленькие, а сантиметров сорок в диаметре, через которые можно взять и щуку на три-четыре кило, и окуня намного больше большого, и даже судака, килограмм на шесть, горбатого и мощного. Исходя из этого и сами взгляды на рыбалку, «философия», как говорил Лукич, были у них разными!..

* * *

Придя на берег, деды, постояв на высоком обрыве, спустились по прокопанной в земле крутой тропинке со ступеньками к воде. Осторожно отойдя по скользкому льду метров сто, Лукич ударил подобранным у берега кирпичом по отливающей тёмным серебром поверхности. Под ударом лёд не проломился, а растрескался короткими лучиками от центра.

— Дальше пойдём? — поинтересовался Лукич

— А зачем? Всё понятно. Мороз не слабнет. Через два дня, на пятницу, можно идти. Мне сейчас нужно дозвониться до знакомого, заказать мотыля. На тебя заказывать?

— Ты же знаешь, что не надо. Я на блесну или на якорёк порыбачу. С вашими червяками душа не лежит возиться...

— Но-о, Михаил, сейчас же крупной рыбы очень мало-о. Или она совсем не ловится.

— Конечно, не ловится, если вы её не ловите! На всякие хитрости уже идёте: то черви, то мормышки, то хрен пойми что... а я поймаю, как есть, одну, но настоящую!

Станіслав захохотал и махнул рукой:

— Ну, пойдём, у нас там ещё по рюмке есть. А на выходные узнаем, чья философия мудрее, а чья пользы больше приносит. Лично мне нужна польза: мудрых слов я за жизнь наслушался...

Они пошли, чтобы не упасть, балансируя руками, похожие сзади на двух королевских пингвинов, каких показывают по телевизору в программах о природе...

* * *

На следующий день после обязательного, привычного уже утреннего моциона, включающего в себя управу с небольшим куриным хозяйством и туалета, Лукич полез в холодную кладовую. Там в зелёном, очень крепком, из-под патронов, ящике, подобранном им когда-то на соседнем полигоне, хранилось его рыбацкое снаряжение. Раскорячившись, Лукич выволок, оказавшийся вдруг тяжёлым, ящик, недоумевая:

— Это каво такой тяжёлый? Что же там я напратал, не помню, хоть убей...

Он здесь же открыл ящик и заулыбался своей забывчивости. С одной стороны в нём лежали короткие зимние удочки, завернутые в целлофановый пакет, а с

другой — летние жерлицы с прочной леской и свинцовыми грузилами, аккуратно смотанные и перетянутые, чтобы не запутались, резинками! Жерлицы он не ставил давно, но обязательно летом разматывал каждую и, проверив крепость поводков, которые намного тоньше основной лесы, удовлетворённый, снова сматывал и складывал в ящик. Сейчас он пообещал себе окончательно: «В лето надо Фёдору, соседу, отдать. Он с сыновьями этим занимается, а я, наверно, уже всё!» — Лукич вдруг ощутил имолётный холодок между лопатками, поняв, что это ещё шаг к старости. «Ну, разнюнился... Ещё поживём!» — он открыл входную дверь и, с трудом подняв ящик, вошёл в дом.

Егоровна, собирающая на стол, увидев это, хлопнула по бокам руками:

— Ты сдурел, дед, тебе надо только удочки, а ты весь ящик в дом прёшь. Ведь, не хватало греха, ещё надорвёшься на старости лет, герой!

Дед понял, что действительно сглупил, но сдаваться не пожелал:

— Ты не указывай! Ташу, значит надо... Я же не учу тебя блины печь. И ты, уж будь любезна, не лезь...

Оба: одна — умная, другой — довольный ответом, удовлетворённо замолчали. А ведь, действительно, удочек было у него всего четыре. Четыре удочки и каждая с отдельной блесной. И всё! Он всегда поражался, когда рыбаки уже на льду раскрывали свои рыбацкие лари и начинали спорить, на что сегодня будет «братъ». Обычно у каждого было несколько удочек, но всевозможных блёсен, размером от ногтя до большого пальца, блестящих и пёстрых, и прочих мелких крючков, включая еле заметных глазом мормышек, — десятки. И обычно рыбалка, если клевало не очень хорошо, превращалась в лотерею с сомнительным выигрышем одной блесны над другой. Лукич же был уверен, что на выбранную им блесну клюнет обязательно: не сейчас, так через час. Но обязательно!

Он развернул пакет и по очереди у каждой снасти проверил леску, намотав её на пальцы и пытаясь порвать. Удостоверившись в крепости, проверил остроту крючков на блёснах и заточил их для надёжности на «нулевом», тонком и длинном, словно карандаш, оселке. Сделав, как он считал, всё, завернул каждую удочку отдельно, потом все четыре — в один пакет и засунул его в рюкзак. В рюкзаке же завтра будут: тонко нарезанное сало — единственный продукт, которому не страшен мороз, и полуторалитровый термос с травяным чаем. Хлеб, пластами на два пальца — в пришитых своими руками на свитер карманах, чуть ниже груди...

— Может, всё-таки позавтракаем? — Егоровна смотрела на деда с ироничной улыбкой, — тебе собираться — голому подпоясаться, а ты уже час сидишь!

— Ты опять? Завтракай, я не держу. Но если что-то забуду, думаешь, охота будет домой тащиться? — Лукич уже просто «набивал цену».

Умная бабка, поняв это, примирительно предложила:

— Садись, давай, пока тёплое, завтра я сама утром прослежу за тобой. Ничего не забудешь!

Дед, ополоснув руки и похлопав по рушнику, сел, радуясь, что отстоял свою независимость, на которую, впрочем, никто и не покушался. Но, всё одно — приятно!

* * *

В половине восьмого утра в пятницу, ещё по сумеркам, Алсис стоял у ворот. Лукич вытянул свои рыбацкие саночки с рюкзаком, пешней и сложенным сверху тулупом и вышел на дорогу.

У Станіслава было так же, только вместо пешни знаменитый на всё водохранилище его бур. Оделись оба в лёгкие фуфайки, «чтобы на дороге не сопреть!», к пимам привязали пробитые на манер тёрки жестяные листы, позволяющие по льду идти ровно и не скользя.

Почти по всему берегу, над обрывом и выше в гору, стояли легковушки. Деды, остановившись перед спуском, глянули вдаль, в сторону островов, где по тёмному, с проблеском льду были уже рассыпаны чёрным горохом люди.

— Мне интересно: сегодня же рабочий день, откуда столько людей свободных? — Лукич с сомнением качал головой.

— Наверно, это безработные, — растягивая слова, предположил Станіслав.

Помогая друг другу, оба стали спускаться с обрыва.

По гладкому льду ход быстрый. Разгонится рыбак, где прокатится по гладкому, как стекло, участку, где, словно на коньках, скользнёт! И вот уже и подошёл к заветным увалам,* где играет в догонялки весёлый окунь, проказничает небольшой судачок и пиратствует неутомимая щука! Это, если ты ещё относительно молод, старикам — труднее. Стоит поскользнуться, брякнешься на твёрдый, как асфальт, лёд, и чем закончится это — Бог знает!

Поэтому путь Лукича и Станіслава до увалов, а это три с гаком километра, оказался не скорым, однако к десятому часу они подходили к столпившимся рыбакам.

Станіслав, увидя, как один из них вытащил окунька, заторопился, предложив почти без акцента:

— Давай, Миша, расходиться. Тебе с твоей философией, не знаю куда. А я — в ту кучку. Видишь, ещё один поднял, значит, крутится там окунь, и мне — туда...

Он взял немного в сторону и, зачистив, пошоркал к рыбакам.

«Неужели он мне врёт, что литовец?» — в тысячный раз, засомневался Лукич. — Хотя я литовцев-то и не знаю, кроме него...

Пройдя ещё метров сто, он остановился, отвязал

* Увал — русло старой реки, ручья выше дальнейшей протяжённости. Или (также) холмистые возвышенности, затопленные водой, резко уходящие вглубь.

пешню и застучал по льду. Сначала большую дыру не делал, а раздолбил, чтобы прошла блесна. И, отступив пять шагов — ещё одну. Достав удочку с самой тяжёлой блесной, он, размотав леску, посчитал глубину. Затем у первой лунки — то же самое. У первой оказалось глубже. Положив удочку, пробил ещё одну лунку по направлению к острову. И ещё одну за ней в трёх метрах. Опять смерил и, удовлетворённый результатом, продолбил ещё одну. Затем, не торопясь, расширил лунки, выбрал лёд и, поставив санки посередке, выбрал другую удочку. Начал он от берега, следовательно, с мели. Посакав несколько минут на одной лунке, он переходил к следующей, потом обратно или дальше — куда душа пожелает...

Дед Алсис к обеду поймал штук пятнадцать небольших окуньков только на мотыля. Блёсны сегодня рыба отказывалась брать, поэтому многие, устав бегать, сидели на заветных лунках, чуть шевеля подергушки. Вокруг удачливых прыгали и засыпали цветные окуньки и тёмные ерши, пузатые и с огромными головами.

Было довольно прохладно, и Станіслав решил сходить к Лукичу. Подойдя, застал того за обедом, жующего ароматное сало с хлебом и запивающего всё чаем из собранных им в осеннем лесу трав. Лукич предложил ему подкрепиться, но Станіслав, узнав, что у того ни разу не клюнуло, с иронией, не свойственной ему, посоветовал:

— Ты лучше на блесну кусок сала навешай, может, кто из рыб и позарится. Или бросай свою ходьбу, пойдём, дам тебе удочку и мотыля, хоть на уху поймаешь!

— Я и так поймаю! Сейчас ещё лунки две-три сделаю и поймаю...

— Так-так, — начинал злиться и переходить на акцент Алсис, — так-так, конешньо-о, делай. — И он быстро, насколько позволяли тёрки, уходил к своей удочке...

В пять вечера, подходя к дому, Лукич попросил Станіслава:

— Ты шибко моей бабке не говори про рыбалку. Вернее, не хвались, а то начнёшь опять, — и он дразнил Станислава, растягивая слова, — ко-онешньо-о пойма-ал, два-адца-ать пять штук! Скажи, если спросит, мол, плохо брало, вода мутная.

Задетый за живое невозможностью похвалиться, Алсис пообещал. Следующую рыбалку уставшие рыбаки наметили на воскресенье...

* * *

Суббота прошла быстро. Лукич, уснувший непри-
вычно рано, спал до десяти утра, чем напугал жену. Она взволнованно ходила около закрытой двери его комнаты и не решалась войти. Он столкнулся с ней, стоящей с телефоном в руках, собирающейся звонить «до скорой»...

— Войду, а ты, можа, холодный?.. И что тогда делать, куды бежать? — жаловалась она ему, растрёпанному со сна, и, понижая голос, попросила:

— Может, не пойдёшь ты завтра на свою эту рыбалку, ну её. Я в магазине хек куплю, тоже вкусно...

Дед брезгливо сморщил лицо и с уверенностью, свойственной сомневающимся, ответил, натягивая на кальсоны лёгкое трико:

— Себе — хоть сейчас иди, купи, а мне не надо. В воскресенье поймаю и нормальной рыбы наемся, и тебе дам ещё...

Они, больше не затрагивая эту тему, позавтракали, и Лукич пошёл растоплять баню, которую любил самозабвенно, и из-за которой субботу считал праздником!

К трём часам притопал Станіслав и, чтобы случайно не проговорился, был сразу выслан в баню. После, пока мылась Егоровна, он обсох и ушёл домой. Последним, и так как жена не парилась, то в самый

жар пошёл Лукич. Совсем вечером, хорошо поужинав и часик посмотрев по телевизору «картину», разошлись по комнатам спать...

Утром всё повторилось, как и в пятницу. К полдесyтому они были уже у острова, где сегодня народа было в пять раз больше. Станислав опять занырнул туда, где дёргали окуньков, а расстроенный обилием народа Лукич, пошёл дальше, метров за пятьсот от толпы, где нынче ещё не ловили. Как и в первый раз, но уже с большим трудом продолбив пять лунок, стал ходить с удочкой между ними. «Такой мороз, и уже через два-три дня моя рыбалка закончена. Лёд быстро растёт! Наверно, буду, точно, хек вместо рыбы есть», — он резче стал сакать удочкой...

* * *

К обеду рыбаки, ловившие окуней, стали расходиться. Это происходит всегда, когда клёв приобретает монотонный характер. Если это устраивает, ставят палатки и сидят в тепле, доставая несколько рыбок в час. Другие, и таких гораздо больше, начинают, кто пешком, кто на технике, ходить и ездить по всему водохранилищу, надеясь нарваться на «весёлый» клёв...

Дед уже дохлёбывал свой пахучий чай, когда около него остановилась явно самодельная «техника», на больших резиновых колёсах да ещё и с длинными санями сзади. На этой «арматуре», как называл её Станислав, сидело двое парней да на санях ещё двое. Они остановились метрах в десяти и с удивлением смотрели на Лукича, пьющего чай и не отпускающего удочку. Один не выдержал и, улыбаясь, поинтересовался:

— Ну и как рыбалка, дед, много наловил таким лихим способом?

Лукич не любил вопросов о его «такой рыбалке», но, понимая, что «они не виноваты», уверенно ответил:

— Да мне много не надо! Захотел бы количество, рыбачил бы с вами... но я хочу качество. Поймаю пару-

тройку — и хорош, до лета. А летом с берегу вон надёргаю окуньков, не расстраивая нервы...

Парни постояли, посмеялись сдержанно и пошли к своей «самоходке».

Лукич сделал последний глоток и вдруг в правую руку, держащую удочку, ударило гирей... От неожиданности он от лица без замаха бросил в сторону кружку и машинально подсёк поклёвку. Рыба рванула и Лукич, схватив левой рукой леску, потянул на себя... Но не тут-то было! На том конце так давануло, что тугой тетивой ему ожгло руку без рукавицы. Во как! Он, уже придя в себя, перехватился, напустив, не давая слабины, леску на рукав фуфайки.

Парни, развернувшись, быстро подошли к нему. Первый спросил удивлённо:

— Дед, ты не прикалываешься?

Лукич не владел этим сленгом, но поняв по интонации, отрицательно качнул головой: «Нет!»

— Помочь? Давай выведу!

Тот, даже не взглянув, отмахнулся:

— Сам!..

Он снова, не давая лесе слабины, опустил руки ко льду, плавно, но неотвратно отжал их вверх и резко, крест-накрест смотал отвоёванный метр снасти. Рыба, не желающая сдаваться, в ответ упрямо потянула вниз, теряя свою силу. Едва она ослабила натяг, Лукич, вскинув руки, выбрал слабинку. Как хорошо, что он совком для изымания льда из майны* завалил края, иначе бы леску обрезало острым, на сколе, льдом! Лукич, предчувствуя последний рывок добычи, приготовился к нему: чуть выждал, а затем, опустив перехлёстнутые руки к воде и намотав свободную лесу на кисти, отчаянно рванул на себя! Парни ахнули...

* Майна — широкое отверстие во льду, в старину для забора воды. Сейчас, в основном, для установки сетей или рыбной ловли, вырубленное обычно пешней.

Лукич в изнеможении упал на санки. У его ног шевелил хвостом огромный судак! Такой огромный, что бедный дед сначала даже немного устрасился его размеров. Судак болтанул хвостом и, перевернувшись на брюхо, как крокодил, широко зевнул, заставив всех, смотревших на него, в голос восхититься.

Его по очереди трогали, гладили, оттягивали жабры, шевелящиеся, словно створки огромной раковины. Дед распутал руки и стал вытаскивать блесну: судак так зажал пасть, что по блестящим щекам пошли волны. Парни весело помогали, а от ближайшего скопища, увидев суету, потянулись любопытствующие. Народ прибывал, и многие, узнав в чём дело, тут же доставали удочки с крепкой лесой и серьёзными большими блёснами. По всему периметру, площадью в несколько соток, под бурами зашипел лёд. Рыбе, если она ещё была, кроме той, что поймал дед, деваться было некуда!

Ловцы, испытывавшие удачу мелкими мормышками, насаживавшие на крючки тоненьких червячков мотыля и прозванные за это «биологами», впечатлённые увиденным, моментально переквалифицировались в «металлистов» — рыбаков рангом выше, промысляющих блёснами!

Притопал со своим буром и дед Станислав... Он остановился и, долго шевеля губами и хлопая ресницами, смотрел на судака, изредка поглядывая на Лукича в надежде уловить в глазах последнего зазнайство. Но нет, тот наслаждался сам и давал возможность подивиться красоте и мощи рыбы другим.

— Слышь, дед, продай конягу, я тебе серьёзные деньги дам...

Лукич, удивлённый, обернулся на голос:

— Продать? Кому, зачем?

— Да мне продай, за деньги... Я тебе тысячу предлагаю, — здоровый мужик в кожаной лётной куртке и

в лётных же кожаных сапогах стоял над судаком, самодовольно улыбаясь... — Что тебе рыба? Небось, привык уже к рыбьему вкусу, а вот колбаска — другой разговор или водочки литровочка — красота! Как, дед?

Лукич совершенно искренне обиделся.

— Колбас мы тоже едали: денег пенсионных хватает, а рыба мне нужна самому и именно такая, какую поймал, — он поднялся и, зацепив судака за нижнюю челюсть багорком,^{*} подтянул к санкам.

* * *

Рыбаки — народ мобильный! По крайней мере, через полчаса об удаче Лукича знали все на водохранилище. Те же счастливцы, что были в шаговой доступности, спешили к «фартовому» деду «оказать ему почтение» и посмотреть на улов!

Один из новоприбывших, совсем молодой любитель рыбалки, пока не разобравшийся, чему посвятить душу, и таскающий вместе с рыбацкими снастями ещё и хороший фотоаппарат, предложил деду:

— Дедуль, давайте, я вас сфотографирую с этим прекрасным трофеем и отправлю это фото на конкурс. Я где-то в Интернете видел рекламу. Там первый приз — снегоход рыбацкий! Глядишь, и выиграете, а нет, так люди порадуются...

Предложение очень понравилось деду и он, немного поломавшись для форсу, согласился. Фотокорреспондент записал данные о личности деда, сам назвался Владимиром Негрех, чем вызвал долгий и дружный смех собравшихся. Нисколько не обидевшись, он стал «готовить» кадр. Для начала Негрех решил переодеть деда в свою красивую одежду.

— Ну, кто поверит, что такого красавца, — он показал на судака, — поймал простой и даже, может быть,

* Багорок (багор) — железный острый крючок, на деревянной длинной ручке (до 1,5 м), для извлечения из лунки застрявшей крупной рыбы.

отсталый дедушка?! Нет, вы должны выглядеть современно, чтобы признаки цивилизации были...

Дед недопонимал «умных» слов, но, смекнув, что его хотят нарядить в китайский пуховик и сапоги, возмутился...

— Край, что сделаю, это тулуп одену вместо фуфайки — и больше ничего. Не нравлюсь, так фотай вон, — он посмотрел на рыбаков, среди которых сидел на санках и Алсис, и ткнул в деревенского парня, — Серёгу Ковалёнка. Он красивый, хоть в фильме снимай!

Все посмотрели на Серёгу и неожиданно азартно закричали:

— Какой Серёга?! Давай тебя, деда, как есть! Что за дела такие?..

Негрех сильно спорить не стал, но уговорил Лукича надеть тулуп, а шапку снять. Дед всё сделал, но поднять судака одной рукой не смог, чем огорчил художника кадра. Подумав, поставили Лукича около лунки, всучив в левую руку смотанную удочку с висящей здоровенной блесной, а в правую — судака, распластанного на льду и как бы взнузданного дедом. Кадры, как кричал сам Негрех, были удивительно качественны и правдивы.

Осталось одно — определить вес этого достойного представителя рыбьего царства. Единственный найденный кантарик — до десяти килограммов, значит, для взвешивания гиганта не гожа, и всенародно, по очереди подходя к судаку, решили: в нём — двенадцать кило, что и зафиксировал фото-рыбак в своей книжке под сведениями о Михаиле Лукиче и его рассказом.

Для пущей важности под весом расписались несколько рыбаков, среди которых оказались Серёга Ковалёнок с дедом Алсисом!

Общее оживление закончилось небольшим сабантуетом, что произошло само собой и по-доброму. Многие приносят с собой по двести пятьдесят — на удачу. Но отметить рады и чужую!

Отметив, молодые напросились довести героя и его соседа Алсиса до берега. Судака, завёрнутого в предложенный кем-то огромный кусок целлофана, привязали к дедовым санкам, сняв ящик и определив его на санки Станіслава. Усевшихся на большие сани чуть хмельных и гордых дедов провожали всем рыбацким кагалом с криками и пожеланиями. Лукич был серьёзен и скромно улыбался, Алсис же даже чуток всплакнул от переполнявших душу чувств...

«Арматура», собранная из больших колёс и «всего железа», зарычав, плавно тронулась, спровоцировав ещё более громкие и радостные крики забывших о цели приезда рыбаков...

* * *

Деды сидели за столом в доме Лукича и любовались добычей. Судак уже уснул и, вытянувшийся, казался ещё длиннее, а весу ему хватало. Хозяйку рыбаки не застали — была на хоре, поэтому, затащив рыбу в дом, решили отметить удачу. Выпив по рюмке «своего», вдруг загрузили, изредка поглядывая на речного гиганта.

— Ну, что, Михайло-о, — оживился Станіслав, — расскажи о философии своей, если коонечно, это не секрет.

Лукич, что с ним бывало редко, с весёлым придохом, заулыбался:

— Всё просто, Станисла́в, — он назвал его на русский манер: от «Слава», — всё просто, как жить... — Лукич перешёл на другую сторону стола и сел напротив собеседника. — Вот жил я, работал, как все, суетился, знаешь сам нашу жизнь. И времени не было головой покумекать, да и желания особого выделяться не имел. Точнее, не знал, что можно жить по-другому, что думать можно не так, как все, и не факт, что это будет неправильно. А тут на пенсию сподобился! И само-то главное: жизнь мне не наскучила, а боле того — захотелось о других людях знать, о той, тоисть, не

знакомой мне раньше жизни! Решил — сделал! Детям по очереди отзвонил, проблему обрисовал. Не знаю, что они подумали, но все по очереди напривозили мне книг умных: о людях, о делах, о войнах и мире. Оказывается, есть энциклопедии, где всё о каждой проблеме грамотно расписано... Но разговор не об этом... Понял я вот что, насовсем и бесповоротно! Шансы одинаковые у всех, но история запоминает единицы — тех, кто что-то из ряда вон сделал или придумал хитрость какую, которая людям теперь помогает. Взять царей в стране Египте! Их там тысячи было, а помнят Хеопса: он огромную гробницу себе соорудил, по сей день люди восхищаются, и имя его теперь до скончания веков не забудут. И так во все времена находятся люди, которые делают что-то не так, как все. Они, заметь, рискуют больше остальных по причине того, что ставка у них выше: или пан — или пропал! И вот, прожив жизнь, в том годе осознал я всё это, до ломоты в зубах, до боли в сердце. И ведь сделать-то ничего уже не смогу достойного, хотя вижу много и понимаю. Ну, вот взять ту же осень, — Лукич протянул руку через стол в сторону леса, — чего она достойна?

Станіслав, не ожидавший такого вопроса, ответил непонятно и смешно:

— Давай возьми. Не знаю...

Лукич, не услыша, продолжил:

— Какая красота творится в лесу в октябре-ноябре, видел?

Алсис, соглашаясь, кивнул.

— И все видели и плакали от красоты и радости непередаваемой, сказочной. Так пойді, донеси это людям словами или картину нарисуй, как Репин, и потомки запомнят тебя — гения слова или мастера кисти. Но учти: говорили об этом и рисовали это тысячи, а запоминают только гениальное и только того, кто это сумел показать, чтобы до слёз, до немоты...

Лукич, раскрасневшийся, задохнулся и умолк.

— А рыбалка, она-то-о ка-ак твою философию подтверждает?

Лукич опять засмеялся.

— Ты на ту осень сколько поймал, по головам и весу, напомни! Где-то ведь ты это записывал раньше.

Алсис кивнул, немного помолчав, ответил:

— За три наших выхода — семьдесят один окунь, тридцать ёршиков и девять чебаков! Всего двадцать один кило!!! — Станіслав довольно улыбнулся

Лукич продолжил:

— Я — нисколько! Словно, и не рыбачил. Но важно другое: кто помнит о твоей, в том годе, такой удаче?

Алсис растерянно улыбнулся и, подумав, ответил:

— Никто...

— Вот же, — Лукич легонько ударил ладонью по столу, — и про меня никто не помнит в том годе! И нонче тыймаешь не меньше, а то, может, даже и больше, против того годе, но опять же никто этого не запомнит! Но только, — Лукич понизил голос и, привстав, потянулся через стол, — меня запомнят! Потому запомнят, что я один раз поймал за несколько лет. Раз! Но рыбу, какую многие и не видели в жизни. Вот и философия, вся до копейки, какая близка мне стала на старости лет!

Станіслав поднялся, смял в руках шапку, что-то пытаюсь сказать, но не находя слов для этого. Уже у дверей определился:

— Дак, следовательно-о, ты-ы больше не пойдёшь ноне-е на лёд?!

— Нет, думаю, что пока хватит. Да и лёд уже тяжёлый для меня... наверно, до следующего годе.

Сосед надел шапку:

— Ну, тогда, до свидания, философ... А я, поди, через день, во вторник сбегая. На зиму наморожу себе хоть мелочишки... Бывай! — и, согнувшись, вышел, напустив в дом белого, видимого холода.

В середине декабря у дома Елисова Михаила Лукича остановилась красивая легковая машина. Молодой парень, посмотрев на бумажку и сверив написанное с синей табличкой на доме, вошёл в ограду. Постучав в первое кухонное окно и увидев, что на него смотрят, с улыбкой поздоровался. В доме его узнали. Поднявшись на невысокое крыльцо, парень зашёл в дом.

— Ну, здравствуйте, хозяева! Здесь живёт ли наш герой-рыбак, Михаил Лукич?

Лукич, уже узнавший фотографа-многостаночника, радостно его обнял.

— Я заждался тебя, Володя, думал, обманул старика, наобещал с три короба — и будь таков...

Володя разделся и сел за стол, на который Елизавета Егоровна уже собирала перекусить с дороги.

— Нет-нет, только об этом и помнил. Для начала вот, пожалуйста, — и он подал большой тонкий пакет.

Дед заскорузлыми пальцами с трудом вскрыл пакет и вытащил фотографии большого размера. Вот это да! Такого ещё ни он, ни хозяйка не видели... С листа портретного формата смотрел улыбающийся, довольный собой и удачей, Лукич, легко взнуздавший огромного судака. Даже бабка, видевшая и даже разделявавшая его, восхищённо ахнула:

— Это же надо, какая красота! Как картина, прости, Господи, настоящая!

Лукич, от удовольствия немного даже покрасневший, застеснялся:

— Да ладно, чё уж... Ну, повезло, всяко бывает...

Кроме этой фотографии была ещё общая, где стояло много рыбаков, включая Алсиса, и, конечно, с судаком! Сам герой был как-то заслонён радостными, с разинутыми ртами (кричали ура!) мужиками, даже Алсис был на ней удачней...

Володя уже давно сидел за столом с хозяйкой, рассказывая ей о том знаменательном дне, а Лукич всё

рассматривал фото, удивляясь чёткости и яркости кадра.

— Даже морщины у глаз видать! Хорошо, что рот не оскалил, а то засветил бы свой прикус в три с половиной зуба! И судак-то, прям, как есть, словно живой, — тут дед вспомнил и повернулся к Володе, — а как там дело с соревнованием, кто больше рыбу поймает? Ещё не было выбора победителя? — он уверенно приготовился к поздравлениям...

Володя прихлебнул чай, запивая пирог с вишнёвым домашним вареньем, и стал рассказывать:

— Нет, конкурс прошёл. Твой судак по весу оказался седьмым и в награждения не попал. Победил кто-то из Казахстана: он там семнадцатикилограммового на зимнюю удочку достал. Второе место — четырнадцать, третье — тринадцать с половиной. Остальные три немного тебя больше, но суть в том, что призы только первым трём. Тебя даже в журнал не взяли, хотя я просил, — и, увидев ужасное разочарование деда, торопливо добавил, — я тебя на своём сайте выставил, уже много просмотрел!..

На деда было страшно смотреть. Он, вдруг понурил плечи и, сев на печной низкий табурет, переспросил:

— Это как? Даже в тройку не попал? Такие здоровые судаки бывают? Во как, прости, Господи... А я-то, карман, того, расширил... Думал, на старости лет узнают Михайлу, самого... едрёна... Лукича...

Ухватясь за печной приступок, Лукич рывком поднялся и, попрощавшись: «Бывай!» — ушёл в свою спальню на заправленный диван.

Володя виновато посмотрел на растерянню улыбающуюся бабушку, торопливо оделся и, попрощавшись, выскочил на улицу...

* * *

Ранней ночью с двадцать пятого на двадцать шестое декабря к Алсису постучали... Станіслав, лежав-

ший напротив включённого телевизора, не торопясь поднялся, подтянул кальсоны и, обув коротко обрезанные валенки, вышел в сени и, не спросив — кто? — открыл дверь.

Вошёл, Лукич, которого хозяин узнавал даже по дыханию. Сосед прошёл к кухонному столу, выставил на него заткнутую газетной пробкой бутылку, большой полиэтиленовый пакет с чем-то и, сняв шапку, сел сам...

Станіслав молча достал стаканы, нарезанный хлеб из холодильника — тарелку с солёными огурцами. Сел напротив. Лукич молча разлил в стаканы и, подвинув один Станіславу, поднял свой. Дождавшись того же от соседа, выпил, коротко сморщился и откусил огурец.

— Я к тебе, Станисла́в, каяться пришёл, по поводу нашего, вернее, моего разговора про философию. Так вот, что хочу сказать в твёрдом уме и светлой памяти. Гиблая это философия, Станисла́в... Не может человек в одиночестве чего-то добиться, ведь все великие дела делаются маленькими людьми, — Лукич наморщил и потёр лоб сухой рукой, подбирая слова. — И сила великих — только в силе народа! А те, кто в памяти человечества остался, как какой герой, был тем последним, кому позволили на вершину встать, на плечи предыдущих, кто к этой победе шёл! И имя чьё-то лишь условно венчает величие победы!..

Станіслав, потрясённый и запутанный умной тирадой простого мужика, молчал, понимая, что тот искренне хочет быть понятым.

Сосед продолжил:

— Прости меня, что чуть не испортил на старости лет нашу дружбу, которая важнее всех в философий!

Он встал, надел шапку и пояснил:

— Тот судак хоть и здоров, совсем не вкусный, жёсткий. Мы вот фарша с бабкой намололи с салцем вперемешь. Пельмени славные получатся. — Он подвинул

пакет к Станіславу. — А мне дай, пожалуйста, пяток окуньков да пару ёршиков — так я по ухе соскучился, что во сне она мне снится. И приходи завтра, Рождество Великое встретим, как есть...

Деды обнялись в примирении и, наполненные душевным восторгом, один за другим вышли в сени, где в деревянном ларе, пересыпанная снегом, хранилась удача Станіслава — рыбная мелочь, не знающая философии...

05.01.2015 г.

За чертой

Дед спал в дальней, закрытой занавеской от кухни, комнате, и когда услышал стук в сенях, бабка, накинувшая на плечи платок, уже поднялась: «Опять какая-то животина влезла в ларь, Господи, прости! Пойду, свет включу, а то всё поизгадит...». Хорошо видная в темноте дома в белой до пят ночнушке, она прошла к входной двери и щёлкнула выключателем. В сенях что-то громко стукнуло. Нисколько не остерегаясь, бабка, запахнув плотнее платок, вышла в сени. Наблюдавший из комнаты полусонный дед расслышал несколько её негромких слов и окончательно проснулся, услыша чужое грубое, а через секунду — глухой звук от удара и болезненный вскрик. Он, спрыгнув с койки, как был, в кальсонах и босоногий, выскочил в дверь.

Бабка лежала в проходе перед открытыми во двор дверями лицом вниз, из-под головы растекалась кровь, правой рукой судорожно скребла деревянный пол. Ещё ничего не осознавая, дед схватил её за плечи, перевернул и вскрикнул от ужаса: лицо посредине лба было разрублено до серо-красной массы, левый глаз закрыт, правый, наоборот — вытаращен. По лицу волнами шли судороги. Через долю секунды из безвольно уже открывшегося рта выпал хрип: «Са-а-ало...», — глаз подёрнулся плёнкой, и тело, задрожав, вытянулось...

Дед, зарывав медведем, выскочил на улицу и хрипло заорал: «Кто-о-о?». Затем подбежал к сараю,

где билась в дверь, закрытая там с маленьким щенком его собака, открыл засов. Волчиха, зло рыкнув на него, перескочила забор и без лая, налётом понеслась в сторону тёмной стены леса.

Дед, крутнувшись, по-прежнему плохо соображая, побежал к бабке и снова, подняв уже в чёрной крови её голову, заорал нечленораздельно, по-звериному.

Вдалеке у леса раздался остервенелый, с хрипом, лай собаки, человеческий крик, а следом — собачий взвизг. В голове старика зашумело, в горле образовался сладкий ком, и он, пытаясь его сглотнуть, тоже завалялся на залитый кровью пол.

Придя в себя, отполз от кровавой лужи и, еле сдерживаясь, с трудом свесил голову через порог. Рвало сильно, с болью в груди и скулах, он едва успевал механически утирать льющиеся слёзы.

Стало немного легче. Не оборачиваясь, старик поднялся и прошлёпал через небольшой дворик в баню, где долго умывался из кадки, часто хлебая из ладоней воду и полоща рот. Потом снял в предбаннике с гвоздя серый «пчелиный» халат, надел его поверх «сонного» белья и, обувшись в обрезанные до калош сапоги и взяв тусклый фонарик, побежал...

* * *

Дом участкового находился в центре деревни. Около забора стоял милицейский «УАЗ» с двумя закрашенными зелёной краской буквами и написанными поверх новыми, превратившими «МИЛИЦИЮ» в «ПОЛИЦИЮ».

Дед хорошо знал Андрея — участкового, постоянно покупающего у него мёд, улыбчивого, белобрысого, невысокого тридцатилетнего парня, его жену — деревенскую девку да двоих ребятишек — пацанов-погодков. Он решительно затарабанил в кухонное окно, пока не загорелся свет.

Андрей легко выскользнул на крыльцо в накинутом на голые плечи кителе:

— Что, дед Ваня?

— Беда, парень, — старик, вдруг сморщившись, слёзно запричитал, — ой, беда! Бабку убили...

— Как, где?!

— Да там, дома лежит, в сенцах, — дед, плача, осел на крыльцо.

Андрей завёл «УАЗ», подбежал к деду:

— Садись в машину, бегом. Я штаны одену и... слушай, может, ты ошибся, может, живая ещё?

Дед, поднявшись, мотал головой. Только сейчас он вдруг ощутил тяжесть беды и боль. «Вот, вдруг — раз, и по чьей-то воле прекратилась жизнь человека — жизнь! — которую дал человеку Бог...»

Андрей уже выскочил из дома и втолкнул сгорбленного деда в машину...

Нет, всё так и есть. На фоне тёмного двора распахнутые сенцы сияли светом.

Андрей подошёл первый и инстинктивно отвернулся, увидя уже почти остывшее тело. Дед, упав на колени, разрыдался в голос, участковый тоже вдруг заплакал, не в силах сдержать боли.

— За что это, за что?! И кто, кто так смог?! — он обращался и к деду, и к себе, и в ночь.

Дед слышал вопрос и, всхлипывая, пытался ответить: «Не знаю».

Андрей встряхнулся:

— Ну, не приведи, Господь, поймать его мне, я ему... — он не договорил и, уже обращаясь к деду, энергично распорядился: — Будь здесь и ничего не трогай. Я постараюсь быстрее.

* * *

Опера приехали в начале шестого. Дед Иван, уже опрятно одетый, сидел на чисто вымытом крыльце. Прохладное, конца мая утро своей чистотой и яркостью никак не «вписывалось» в произошедшее здесь.

Андрей подошёл и тихо спросил:

— Надеюсь, там ты не мыл? — и повёл головой в сторону сеней.

— Мыл.

— А зачем? Там же следы могли быть.

— Ничего там не было. Я сорок лет служил егерем, в следах разбираюсь. Ничего! И топор он мой взял, с короткой ручкой. Я его в лес иногда брал: за ремень заткну и... Ручка удобная, по руке, лезвие хорошее, старое. Очень острый... Он на полке вверху лежал. Больше ничто не пропало, да там ничего и не было, почитай...

Андрей и оперативники зашли в сени. Бабка лежала на широкой низкой лавке, с плотно, до переносицы, забинтованной головой, с умытыми лицом и шеей.

Ночнушка, измазанная кровью, брошена в углу. На бабке — тёмное, до пят, платье, сухие руки на груди.

— В дом сил не хватило занести, — перехватив взгляд опера, оправдался дед, — переодел, а поднять, чтобы не волочить, не смог — но оно и нормально. Здесь ещё прохладно, — он легонько поправлял складки платья, — сейчас народ придёт, перенесём в дом...

Народ, действительно, уже собрался у ворот, вполголоса обсуждая происшедшее.

Осмотрев сени и сарай, где мог лазить преступник, оперативники уехали в сторону леса, куда побежала собака...

А в доме начались долгое оплакивание покойницы, грустный пересказ её прожитой жизни и дел её достопамятных...

* * *

... Собака догнала его уже у леса. По клочьям одежды — наверняка солдатской формы — было очевидно, что она напала и рвала его. Вырванных, окровавленных кусков было много — борьба была упорной.

— Она ему левую руку всю изуродовала: вот обрывки рукава, и периметр борьбы большой. Он, видать, сильно не мог её ударить сразу: собака его

таскала. Но и сбить не смогла, значит, он не маленький. Последним ударом, страшным, уже добивал: почти пополам её разрубил, — вполголоса рассуждал старший из оперативников.

— А ушёл он сразу в лес: по открытому месту страшно стало идти, — это уже добавил Андрей, — только куда он зайдёт? Ведь за лесом через три километра болота начинаются до границы с соседним районом, считай, сорок километров...

Оперативники прямо из машины запросили информацию о возможно сбежавших с мест несения службы солдатах. И, действительно, неделю назад с полигона, находящегося в ста километрах, исчез срочник Станислав Хомутов...

— Высылайте солдат, полицию, надо прочесать лес, пока он далеко не ушёл... — опер отключил рацию и пошёл помогать парням закопать собаку, над которой уже роем кружили мухи.

* * *

Через месяц после похорон Дед Иван шёл на пасеку. У него, конечно же, был с удобным кузовом и надёжным мотором верный мотороллер «Муравей», на котором он обычно ездил туда, делая по лесной дороге крюк в пятнадцать километров. Но по прямой, через лес, до пасеки было полтора-два часа ходу неторопливым шагом. Похоронив бабу, он вознамерился продать пчёл и уже нашёл покупателя, но, приехав с ним на пасеку, не смог! Не смог стать «предателем». Он так разволновался, что покупатель, поняв всё, без обиды уехал. Только пчёлы и постоянная забота о них вывели его из потрясения, в каком он находился первое время. Всё своё хозяйство, что было в деревне, он отдал своей младшей сестре, жившей неподалёку. Сам же на всё лето перебрался сюда и лишь изредка навещая покинутую усадьбу. Здесь же у него были небольшой аккуратный летне-осенний домик, омшаник для зимовки пчёл, тесовый сарай с

высокой крышей и маленькая баня. И, конечно же, главное — двенадцать полных, сильных пчелиных семей, дающих ему и успокоение, и работу, и доход. Вчера он ходил в деревню, относил гостинец родным — немного мёда в сотах, а сегодня, получив пенсию и сложив в небольшой рюкзак купленные в магазине чай, банку тушёнки, две булки хлеба, рано утром возвращался обратно. Вокруг него полкал уже рослый, но совсем ещё молодой, щенок убитой собаки...

* * *

... Солдата не нашли. Когда пришла подмога, люди полосой, не теряя друг друга из виду, двинулись по тайге до болота. Через день вышли на поляну у воды с холодным костровищем и раскиданными вокруг окровавленными тряпками. Над костровищем в сосну был воткнут острый, с рыжими пятнами крови, топор с короткой удобной ручкой. Следы вели в болото. Местные мужики побродили по болоту с опаской, так как в этой стороне мест не знали. Следов больше не было, и все решили, что солдат утонул. Для очистки совести около болота ещё с неделю постояло отделение солдат, кормя комаров и осторожно паля костры. Потом их вывели, и растревоженный людьми лес опять затих...

Пёс ткнул холодным носом деда в руку и тот, пребывавший в раздумьях, очнулся:

— Давай, Верный, давай вперёд! Конечно же, пойдём, милый!

... Они вышли к его пасеке. Когда старик работал егерем, это была огороженная огромным забором база. Уйдя на пенсию, он упросил начальство, и ему разрешили выкупить это хозяйство. Он подрезал пониже заборы и завёл дюжину пчелиных семей, которым хватало здесь цветочного разнотравья. В общем, место было и с охотой, и с мёдом...

Недалеко от усадьбы Верный исчез. Громкий, раздражённый лай его раздавался со стороны пасеки,

потом пёс вдруг появился и, виновато поскуливая, пошёл рядом с дедом, поглядывая на него и не помахивая хвостом.

— Что, Верный? Кто тебя напугал? Не бойся, я с тобой, — и дед, ускоряя шаг, по хорошо видной широкой тропе вышел к забору. Пройдя вдоль, подошёл к обозначенным толстыми столбами воротам. Нагнув голову, шагнул в ограду. Верный, скуля, остался за забором. Дед внимательно осматривал всё, пытаясь понять, что напугало пса. Подняв глаза к высокому крыльцу, он увидел, что дверь в дом открыта. В груди тревожно кольнуло: «Может, сам забыл?» — но, нет, он помнил, как вставил железный шкворень в засов. «Господи, да ну зашёл кто. Что из-за этого — убежать?» — дед медленно направился к дому. Подойдя к крыльцу, увидел на крашенных плахах чёткие следы явно солдатских ботинок. Секунду посомневавшись, поднялся и, резко открыв дверь, вошёл. Сильная вонь от грязного, прокисшего тела вместе с запахом алкоголя ударила даже не в нос, а в лицо.

— Здорово, отец, а я жду, жду. Думал, надолго ушёл, вот без спроса в шкафы залез, перекусил немного и водку допил твою, — незнакомец вдруг вздохнул грубо и болезненно...

Приглядевшись со света, дед увидел через стол заросшего щетиной мужчину в рваной солдатской форме, упершегося в ножки стола высокими солдатскими башмаками. Он полулежал на железной кровати и правой рукой держал на уровне груди ружьё: его же, деда, ружьё, спрятанное вчера в погребе. Левая рука, замотанная грязным тряпьем, как показалось деду, была привязана верёвкой к ремню на животе.

— Не кадри глазами, я тебя и с одной рукой хлопну... давай лучше, что там принёс...

— Да ты сколько не ел до этого?

— А что тебе, жалко? Жратву уже недели две не видел, но ягоды, грибы всякие ем...

Он натянуто усмехнулся и неожиданно перешёл на глухой, надрывный кашель, гыркая в дом, так как рот прикрыть было нечем.

Дед бросил ему полотенце:

— Прикрой рот, я не кинусь, не бойся.

Тот схватил рушник и долго, до слёз, кашлял в него, наклоняясь вперёд, трясая головой. Прокашлявшись, вдруг глухо застонал и, подтянув колени к груди и вытаращив глаза, прошипел:

— Отравил?

— Дурак, это ты от жадности наглотался всего, сейчас заворот кишок может случиться, и сдохнешь...

— Это как? — солдат опять застонав и отложив ружьё, прижал руку к животу.

— А так! Желудок без пищи усох, еле работает. А ты набил его сейчас, чем попало, и водки добавил, и солонину, вон, сглотал, и сало, и хлеб чёрствый...

Парень попытался встать, но не смог разогнуться.

— И чё, дед? Всё? — он смотрел воспалёнными, слезящимися глазами, правой рукой схватясь за столешницу, и, не в силах совладать с болью, инстинктивно тянул её на себя.

Дед уже понял, что это тот самый солдат, который лишил жизни его жену, а его самого — спокойной, тихой старости. И ему ничего не стоило сейчас взять ружьё и выстрелить в него! Выстрелить куда-нибудь в область паха, чтобы этот злодей испытал, что такое настоящая боль и, испытав её нестерпимость, ползал бы, прося лишь об одной милости — добить его скорее из второго ствола в грудь или даже в лицо...

Старый егерь смотрел на извивающееся тело и почему-то испытывал жалость. Этот молодой человек нырнул в тайгу, наверняка насмотревшись фильмов о всяких суперменах, приключения которых завершаются, конечно же, победой над обстоятельствами и природой. Но в реалии всё не так, совсем не так... И тайга его, скорее всего, погубила! На худой шее, сквозь щетину, дед

увидел язвы от укусов клещей. Такие остаются, когда клещ напился крови и отпал, пузатый и огромный, как виноградина. Видимо, в последнее время парень не следил за собой совсем, инстинктивно, как сдыхающий зверь, понимая, что подходит конец. Заблудившись, он бросался от дерева к дереву в таёжных сумерках, надеясь увидеть за очередным спасение. Иногда он находил следы чьёго-то присутствия и, обрадованный, орал до онемения, безумно радуясь возрождённой надежде, а потом выл, катаясь по земле, узнав свои следы. Ещё два-три дня, и он, наверняка, встал бы утром, но лишь для того, чтобы засунуть голову в развилку веток, закончив тем самым своё бессмысленное движение...

И, конечно, то, что он попал на одну из дедовых тропинок и дошёл по ней до пасеки — скорее, чудо или настоящая удача, которая бывает у каждого раз в жизни...

Дед открыл шкаф, взял пищевую соду и, зачерпнув литровую кружку воды, подошёл к согнутому колесом солдату, отпихнув от него стол.

— Пойдём на улицу, а то всё мне здесь поизгадишь: был бы ты человек, а то — так...

Нежданный гость, не в силах распрямиться, зажимая правой рукой живот, вышел вперёд деда на крыльцо.

— Стой. Сейчас я дам тебе соды, ты её сглотишь и запьёшь водой. Выпей весь литр. Потом перегибайся через перила и — два пальца в рот.

Парень с закрытыми глазами, из которых по лохматым щекам сочились слёзы, с готовностью открыл рот. На деда пахло звериным смрадом, он, сморщившись, засунул между голубыми зубами, какие бывают у долго голодавших, полную столовую ложку соды. Солдат захлопнул рот, зажав ложку так сильно, что с трудом удалось её вырвать.

— Пей! — отчеканил дед

Как приговорённый, не открывая глаз, парень присосался к кружке и долго, задыхаясь, тянул воду.

— Всё! Возможно, пронесёт...

Зайдя в дом, дед поднял брошенное у кровати ружьё, подвинул стол на место, открыл окно. В доме, в его доме долго находится нежеланный человек, даже больше — ненавистный, и дом потерял, пусть на время, но потерял бесценный для деда уют. Вроде, всё так же, а что-то не так... И комнатка, и небольшая кухня затаились, замерли, ожидая от деда необходимых слов и действий. Он, чувствуя это ожидание, остановился посреди избы и, найдя глазами икону в правом углу, для себя и для дома произнёс: «А и ладно. Всё сдуется ветром, смонется водой! Все пройдёт, прости, Господи!» — и широко перекрестился.

* * *

А на крыльце рвало убийцу его жены. Из его горла лилась ручьём вырванная содой из желудка масса, которую он обманывал желудок в лесу вперемешку с кусками хлеба, нежёваного сала, прошлогодней подкисшей солонины, найденными у деда. Старик вышел на крыльцо, и от вида этой парящей кучи, распространяющей сладко-кислую вонь, его самого затошнило. Пёс наблюдал за происходящим из дальнего конца ограды и, не переставая, лаял, вздыбив по-взрослому шерсть на загривке...

Парень, наконец, успокоился, оторвался от перил, сделал три нетвёрдых шага по ступенькам, но, не устояв, упал лицом вниз и притих. Дед, молча, подошёл к нему.

— Меня Стас звать, Станислав, — произнёс парень в конотоп, застилающий ограду.

— Знаю, как тебя звать, но это твоё настоящее имя, настоящим тебя ещё назовут... потом... — старый Иван отвернулся, сдерживая вдруг засочившиеся слёзы.

— Всё равно... всё равно спасибо, отец...

— Тьфу! — дед с отвращением сплюнул, собираясь вернуться в дом...

Стас, застонав, схватился за привязанную руку.

— Больно мне, очень больно. Лучше задави меня.

— Была нужда мараться. — Дед, охолонув, нагнулся над ним. — Покажи, что там.

— Нет, я сам боюсь смотреть.

— Покажи, я немного понимаю, — старик отвязал от ремня замотанную тряпками руку, но, когда снял тряпки, присвистнул, увидя вместо руки толстое чёрное полено с жёлто-коричневыми ногтями. Вмиг вспотев, он рванул уже надорванный рукав и оголил руку до плеча. Она вся была такого же цвета, а ниже локтя — почти отгнившие куски плоти. Стас лежал, отвернув лицо, и плакал, кусая губы. Не останавливаясь, дед сорвал гимнастерку. Наконец, он открыл почти всю грудь и только теперь тихо произнёс:

— Конец...

— Что, что? — Стас смотрел на него и плакал, уже не стесняясь, по-детски кривя рот и закрывая глаза.

— Это ты как же так, а? Это же конкретное заражение, тебе нужно было сразу после травмы в больницу.

Парня словно прорвало, и он, заглядывая в глаза деду, сбиваясь, болезненно морщась, торопливо заобъяснял:

— Да? А как? Меня собака укусила сильно, а я убежал... Нельзя было, чтобы поймали... Потом в болоте целые сутки сидел, меня какие-то черви чуть не съели... Сотни!... А эти стоят на берегу, костры жгут. Когда терпеть уже не смог, по болоту полз от рассвета до заката... На какой-то островок вылез, замёрз так, что меня судороги в колесо скрутили, думал — всё... но нет. Хорошо, май тёплый, утром отпустило. А рука уже гноится. Я тряпку мочой смочил, всё обтёр, а куски болят, может, ножом бы и обрезал, а зубами откусить не могу — от боли сердце останавливается. Так и замotal, а куда идти — не знаю. Счёт дням потерял, ночью мёрзну и вою, днём куда-то иду и поесть пытаюсь. Через неделю размotal: рука уже, как колбаса прокисшая, страшная... А у меня даже мочи нет рану обмыть. Разо-

рвал я майку — подарок кореша, замотал руку плотно и привязал к ремню, чтобы не болталась, и уже вот дней пятнадцать на неё не смотрю. А ещё ведь гнус, комары и клещи. Эти гроздьями с меня сыпались, я потом внимание перестал обращать: нащупаю на шее — долой, с живота — долой, на голове шишка вырастет — долой. И — ни страха, ни осторожности. Только хочу, чтобы кто встретился, но бесполезно — никого. Стал думать, как руки на себя наложить попроще, чтобы наверняка. И тут вдруг вчера на тропинку попал, выбрал наугад и часа через два пришёл...

Он замолчал. Молчал и дед.

— А что у меня там? — Стас стёр испарину со лба.

— У тебя там гангрена, которая съела уже полтела — всю левую сторону, и уже вся грудь распухла.

Стас опять заплакал. Заплакал и дед, стоящий на коленях над молодым погибающим телом... Потом вдруг предложил:

— Знаешь, давай я баню подтоплю и обмою тебя всего, нет, вернее, помою, побрею и постригу. Только не слишком модно, но всё равно, чем так.

— Давай. Знаешь, давай. А там посмотрим, да? — и он улыбнулся, заглядывая деду в глаза.

— Добро, — согласился, старый егерь.

* * *

В хозяйстве у него всё было по местам, поэтому уже через десять минут баня топилась. На вытопанный перед баней участок земли он принёс из хаты стул, вытащил из шкафа свою старую ручную машинку для стрижки и опасную, тоже очень старую, бритву в деревянном футлярике. Стас наблюдал издалека, сидя на траве, раскинув ноги и положив между ними тёмную, как бревно, руку.

— Что сидишь? Давай, до трусов раздевайся, — дед не мог без сострадания смотреть на пригревшегося на солнышке парня, ещё вчера бывшего незнако-

мым, даже врагом, а сегодня вдруг — нуждающимся в его помощи...

— У меня нет трусов, я их изорвал на тряпочки, когда пытался рану протереть...

— Ты бы лучше листьями, какими прилаживал — всё бы чище было...

— Да я же трав не знаю, может, вредные...

— Вредных трав не бывает, для тебя всякие бы пошли. Их просто чувствовать надо и тогда сам спокойно найдёшь...

Стас снял ботинки, содрал с ног кое-где уже сгнившие остатки носков, поднялся и, не смущаясь деда, стянул штаны. Старого Ивана, увидевшего его тело, передёрнуло. Оно всё было сплошной рвано-изъеденной раной. Было видно, что парень не чувствовал уже ни боли от укусов, ни неудобств.

— Когда сильно чесалось, я палку отламывал, ремень расстегал и, не снимая штанов, этой палкой чесался до крови. Очень неудобно, но постоянно руку отвязывать не мог, поэтому так приловчился. В туалет когда ходил, тоже не помню, нечем было... — Он неуверенно подошёл к стулу.

— погоди, давай и остатки одежды твоей сдерём. Я потом всё сожгу...

Стас снял державшуюся на нижних пуговицах солдатскую куртку.

Чувство острой жалости, какой-то безысходной, даже пугающей, охватило деда. За свою долгую жизнь в тайге он видел многое, но такое — действительно, впервые. Идущая от плеча на грудь тёмная полоса контрастно отделяла больное от здорового, но и «здоровое» уже покрылось синюшно-розовыми пятнами... Мухи сразу закружили над грязным, пахнущим нездоровьем, телом.

— Я давно не мылся, вернее, совсем не мылся. С того времени, когда терпеть боль в руке уже не мог. Не мог и одежду снять...

На нём кое-где висели ещё не напившиеся клещи, и дед аккуратно посрыгивал их в пустую консервную банку. Стас с безразличным выражением лица продолжал:

— Клещей меня, наверно, штук двести укусило. Но мне в карантине прививку ставили от энцефалита, может, и ничего. Как думаешь?

— Конечно, ничего, тут и думать не надо... — дед с сожалением качал головой, — давай садись, я тебе сначала ножницами голову подстригу, потом — щетину, а побрею после бани.

Стас, болезненно сморщась, сел и, уложив мёртвую руку между коленями, замер. Дед, задыхаясь от запаха, ловко подстриг его, обходя язвы на голове.

— Знаешь, давай я тёплой воды вынесу, мы тебя прямо здесь обмоем, а потом уже в баню. А то вонь ужасная, задохнёмся, если сразу...

Он, поливая из кружки тёплой водой, намочил ему голову, потом сладким «городским» шампунем намылил и смыл. Потом ещё раз, но не смывал, а мочалкой растянул по телу, немного шоркая, и опять смыл. «А может, не надо его парить? Вдруг организм расслабится — и всё? Не дай, Бог...» И он высказал опасения Стасу. Тот, успокоенный теплом, встрепенулся и слёзно запросил:

— Нет, пожалуйста, попарь меня, прошу. Мне в тайге ничего не снилось, только мать, не знакомая, но моя и баня... Пожалуйста!

Дед махнул рукой и помог ему идти...

Парень явно ослаб. Ещё утром он хотя бы говорил громко, сейчас даже этого не мог. Организм, державшийся из последних сил, просто сдался. Напряжение, копившееся, как в шаровой молнии, иссякло.

Он, вытянувшись, лежал на невысоком широком полке, а дед парил его, парил осторожно, с болью глядя на изуродованное молодое тело живого, но, по сути, уже мёртвого человека. Потом и побрил его, впавшего в забытё.

Стас в бреду что-то бормотал, а то, вдруг очнувшись, осознанно глядя ему в глаза, просил вылечить руку...

— Или отрежь, давай а, я потерплю. Сил-то нету — словно огнём всё жжёт. Ты мне дай браги или медовухи и режь, пока сплю... — он, действительно, начинал ровно сопеть. А из закрытых глаз текли слёзы от боли, которая теперь не отступала ни на секунду...

Минут через сорок он пришёл в себя и с помощью деда, в предбаннике, надел одежду охотника, приезжавшего сюда ещё зимой и забывшего её в бане.

— Мне и своего бы не жалко, тока я вдвое тебя меньше, — лопотал дед, натягивая на парня цветной спортивный костюм.

Стас устало откинулся на стену и, долго глядя на старого Ивана, признался:

— У меня не было отца, только отчим, который меня ненавидел, а мать его боготворила. И отдала меня, салагу, к бабке с дедом в деревню. Так я деда любил, как отца, но когда в армию ушёл, он через неделю умер. Упал с крыльца и шею сломал. За одну секунду умер. Но меня на похороны не пустили, вот я и убежал, думал, это просто — раз и всё. Только заблудился вот и уже не верил, что выживу...

«А почему он про бабуку мою не вспоминает? — думал, глядя на Стаса, дед. — Или это не он? Ведь может же такое быть! Сколько их бегают! Спросить?» — он с сомнением посмотрел на закрывшего глаза парня: «Ладно, потом,» — а вслух предложил:

— Знаешь, давай я тебе, правда, медовухи налью, и ты прямо здесь поспи до утра. А на рассвете я тебя на мотороллере увезу в деревню, а там — «скорая» или больница.

Стас лихорадочно блеснул глазами и радостно согласился.

— Только побудешь со мной, пока усну, ладно?

— Ладно, ладно, — дед пошёл в погреб.

Он обернулся быстро. Парень сидел, свесив ноги с полатей, сколоченных для отдыха в предбаннике.

— Желудок-то у тебя пустой, тебе сейчас ни есть много не надо, ни пить. Вот принёс кружечку меда, настоящего: отолью тебе в стакан, и вот морошка — ягода волшебная, силы тебе даст, не сомневайся. Стас, улыбаясь опухшим, но свежим, без щетины, лицом, взял правой рукой стакан с медовухой и с трудом поднёс к губам. Долго тянул сладкую прохладную жидкость, не моргая глядя на деда и, допив, задохнувшись, хукнул. Дед ложкой поднёс ему морошку, и он, открыв рот, как дитя, втянув её, стал жевать.

— Вкусно! И тепло как, дедушка...

Старик сам приложился к кружке и помог Стасу улечься.

Успокоенный медовухой, тот быстро уснул, а старый побежал с фонариком во двор сжечь смрадную одежду и накормить Верного. Потом, вернувшись и включив фонарик на слабый свет, посмотрел на спящего.

«Что такое? Еще сутки назад он был уверен, что если в жизни встретит виновника смерти бабки, то... то что? — дед закрыл дверь и сел на полоч. — Кто он? Убийца, терпящий страшную кару за грех, или мученик, невинный в смерти, и от этого ещё больше страдающий, или просто заблудший, выросший в безверии, виновный без вины?..» — Дед заплакал, скрипя зубами и сжимая кулаки: «Да какая разница? Рождён-то он был с незамазанной душой. А вырос так, как выпестовали мы... Может, Бог и привёл его ко мне, чтобы спасти если не тело его, так душу...»

Уставший старик прислонил голову к тёплой стене и задремал.

... Дед проснулся, как только первые утренние птички защebetали побудку. Включив фонарь, посветил на Стаса. Тот спал на спине, лицо его обострилось и показалось деду маской. Тихонько открыв ворота, дед

выкатил мотороллер. Положил в кузов с вечера подкошенной травы и сверху — старую свою овчинную шубу облезлой шерстью вверх.

Повозка готова.

Зайдя в предбанник, включил фонарь на полный свет и направил его в потолок.

— Стас, проснись, ехать надо, время не ждёт: пока доедем да пока «скорая» придёт...

Стас открыл глаза и, помолчав, спросил:

— Меня вылечат? Как ты думаешь, честно?..

Дед торопливо заговорил, глотая подступающие слёзы:

— Конечно, родной, конечно. Врачи сейчас, ох, как умны, они тебе и руку даже поправят — не сомневайся.

Стас помолчал.

— Врёшь, конечно, но как здорово, что ты есть со своей не понятной добротой, и... — он с надрывом, но слабо закашлялся, зажимая рукой рот, — и поехали скорей, чувствую совсем плохо...

Он поднялся сам, не позволяя деду задевать левую сторону с висящей рукой.

Укладывая парня, старик предложил:

— Выпей ещё маленько — всё боль отступит.

Стас согласился и долго цедил из стакана через плотно сжатые губы. Потом улегся поперёк кузовка, чуть подогнув ноги, и, торопясь, они тронулись. Кроме деда здесь никто не ездил, дорога была ровная, гладко накатанная, позволяющая ехать довольно быстро. Проехав глухую тайгу, дед остановился проверить больного. В междудесье быстро вставало солнце и ярко грело, наполняя воздух радостным теплом.

— Отец, ты крещёный?

Дед вздрогнул и отдёргнул руку, поправляющую шубу:

— Да, а что, думаешь, зря?

— Вот нет, думаю, наоборот, хорошо. Покрести меня, пожалуйста, чувствую, что не доеду я, покрести.

Страшно мне без всего через ту черту переступить, страшно и безысходно совсем...

На деда смотрел взрослый, скорее даже пожилой человек, смотрел осознанно и неотступно...

— Тебе отец, можно, я где-то слышал, что крещёным можно посвящать, — он тянул руку, а она падала...

Дед, видя, как туман застилает глаза парня, подошёл и, как помнил издавна, стал тихо читать молитву, капая слезами ему на лицо, осеняя себя и его крестным знаменiem: сверху вниз — справа налево, сверху вниз — справа налево!

Приподняв голову парня, старик, как положено, надел ему крестик, снятый со своей шеи... А новокрещённый, слабо сжимая руку деда своей холодеющей, шептал:

— Спасибо, отец... теперь не так будет пусто... за чертой... с верой...

02.02.2013 г.

Сачок

Дед Захар был настоящим. Тяжёлое лицо, изрубленное длинными глубокими морщинами, седая высокая щетина, сползающая с опавших щёк, и глубокие мутные глаза, смотрящие на меня внимательно и насмешливо. Большие длинные пальцы с явно подагрическими фалангами, как бы надеты на широкие ладони: руки — флаги. Он явно был «выпивши».

— Шёл, зашёл. Вижу, человек новый, можа, пригожусь?

— А чем же вы можете пригодиться?

— Может, и ничем... если ты дурак. А если умный, много поймёшь и научишься кое-чему.

Он вытащил пластиковую пол-литровую бутылочку, налил себе глоток в колодезную кружку и, хыкнув, выпил.

— Дай чё-нибудь заесть.

Я поскакал в дом, схватил хлеба, с окна — помидорку, но, выйдя, увидел, что он уже заел ранеткой.

— Думаешь, старый, из ума выжил? Ан, нет. Я много интересного знаю, жисть-та долгую прожил, много видал и слышал. Но, вижу, ты молодой да скорый, некогда всё вам. Так вот, я те щас расскажу историю недавнюю, погоду. — Он внимательно посмотрел бутылку на просвет и налил ещё немного. Снова быстро выпил, заел теперь хлебом и, сладко затянувшись, с дымным выдохом, продолжил:

— Тебе не предлагаю эту гадость, до шестидесяти годов пить вредно. Спирт — и, похоже, технисский. Да и куму Ивану надо малость донести, он тоже болеет после вчерашнего. А болеет он с того, что мы вчера с ним одну природную катаклизму мозговали. А без этого дела, — он щелкнул по горлу — тут не разберёшься. А произошло вот чё. Мы с ним друзья старые, да и кумовья, вот и рыбалим вместе. А так как силы не те, то далеко не лезем, здесь за камышами в заводи по одной сетюшки ставим. Китайские, хитрые, которые из лесы, на тонком таком поводе, ты, поди, знаешь? Так вот, поставили мы вчера эти сети и думаем уже домой ворочаться, как вдруг со стороны камыша зарябила вода. И не просто зарябила, а с шумом таким чвакающим (дед, широко открывая двузубый рот, смешно прочкавал: «Чвак-чвак») и со шлепками такими: «Шлёп-шлёп» (он дважды ударил рука об руку). Мы насторожились. А когда присмотрелись, б-а-а-атюшки, это сазаны огромные прут. И понимаешь ты, прут клином, стадом, вообще ничего не видя на пути. Прямо по верху воды и все огромные, килограммов по пяти-восьми, а то и десяти (он наклонил голову влево, прикрыв правый глаз, отчего стал почему-то похож на клоуна, которых рисуют в детских книжках). И так громко чвакают, что кум мой, Иван (он хитро посмотрел на меня) шёпотом мне говорит: «Сожрут, Захарушка». А я ему: «Не дрейфь, они нас не разжуют». И вот дошли до сетей наших и, знаешь, даже не остановились. Только заметно было, как повода натянулись и после небольшого плескания, ослабли. А сазан прошёл. И понял я, что кончили они сети наши. Меня обида взяла, ведь где опять денег взять на новые: бабка ни за что больше не даст, скажет: «Где потеряли — там и берите». — Дед, кривя рот и повысив голос до писка, передразнил бабку. Получилось смешно и убедительно. — Вот и решился я на отчаянный шаг. Дай, думаю, хоть одного поменьше добуду, бабке на показуху. Схватил сачок (мне его внук прикупил на семьдесят лет) и — хоп им ближнюю от

меня голову. Но без прицелки заарканил, не как хотел, помельче, а наоборот, килограммов на десять. Он до половины залез и дальше не идет, а я поднять не могу. Ивану ору, а у того ноги от страха отнялись, сидит, как пень, глазами хлопает и рот раззявил. И этот сазанище хвостиком так «Шлёп!» (дед опять, но теперь сильно, ударил в ладони), сачок — хрясь, и — всё. Мало того, что сам сломался, так ещё и мотня лопнула. И вся эта стая, даже не останавливаясь, спокойно так ушла из заводи. А где она собралась и куда ушла, так мы с кумом этого не знаем. Но мало того, бабка ведь нам не поверила (он вылупил глаза и надул щёки): «Бесстызые», говорит (дразнит тонко, беззубо шепелявя).

Он резко замолкает. Я весь рассказ смеялся и сейчас, вытирая слезу, спросил:

— Так, может, дед, деньгами помочь? — но он, опять посмотрев на солнце через бутылку, отказался:

— Разве што завтра, если мы сегодня с Иваном опять не разберёмся. Вот тогда зайдём. Мож, и займём двадцаточку рубликов на афсайт души. Но ежели бабки завозникают, тогда не жди. Моя-то ничего ещё — Муссолини, а у него — Гитлер. Захочет и никуда его не пускат. Дома томит. А вообще, вся эта природная катавасия — из-за нас, людей. Лезем, куда не следоват, вот и рыба возмутилась. И не нашим с кумом умом это решать. Только вот сачка мне жалко — страсть! Новый, блестячий, трубки тонкие — Китай, одним словом. Только вот не под нашу рыбу. Он встал, чуть качнувшись, пошёл, оставляя после себя запах табака и немножко перегара. До кума.

2006 г.

Неприкаянный

Дед Василий вышел из дома и, поправив на плече тряпочный самодельный ремень, «чтобы сумка шею не давила», коротким шагом пошёл в сторону кладбища. Маленькая, как щенок, но уже взрослая его собака, вертлявая и звонкая, по имени Лёлька, радовалась вокруг, точно зная, куда они идут. Торчащие врозь титьки, говорили о её недавнем материнстве, но хитрая Лёлька накормила своего сына, и он спокойно спал, уткнувшись в старый половик. Хозяйина своего она любила до самозабвения, чутко чувствовала его настроение и без придирок отзывалась на любое обращение, слушая его и понимая...

Сегодня было двадцать девятое апреля, прошло девять дней после Пасхи, и значит, Радоница. Но для них важнее то, что сегодня день поминовения усопших — поминки!

У самого Василия, уже старого, но ещё очень юркого и живого старика, старуха тоже третий год лежала на погосте под сосновым крестом, но шёл он туда не только к ней...

* * *

Он был уже старик, хотя, появившись в этой деревне лет пятнадцать-двадцать назад, был точно таким же. Откуда его привела Антонина — неизвестно, но однажды люди заметили около её низенькой хаты,

переделанной для жизни из небольшого банного склада, мужчину и удивились этому. Сама она была большой, крикливой и уже тогда очень пожилой. Когда в совхозе работала общая баня, она состояла при ней техничкой, заготавливала веники и потом приторговывала ими помаленьку. Антонина тоже была пришедшей откуда-то, и старый сердобольный председатель разрешил ей пожить в банном складе, велел рабочим сложить там печь и сладить стол и лежак.

Она прижилась и стала как бы завхозом бани, заняв именно то место, которое пустовало. Кто она и откуда, знал только председатель, но паспорт у неё был — значит, всё законно.

Деревенских мужиков, любящих как крепко работать, так и крепко «отдохнуть», она не стеснялась и не страшилась, а, несколько раз схватившись в перепалках и не уступив, завоевала ещё и уважение, внушив обидчикам постулат — «лучше не трогать». Всё встало на место и пошло дальше, как «так и было».

В доперестроечное время люди, жившие в одном месте, были, за малым исключением, словно родня. Поэтому у одинокой Антонины всего, вроде, хватало. И даже дрова каждый год ей подвозили к складу за счёт совхоза. Но потом всё перевернулось. Началась перестройка. Старый и всё понимающий председатель, переживая за совхоз, как за своё, скоро заболел и неожиданно для многих скончался. Его похороны были последним поводом людям собраться. После этого всё, что строили, к чему шли, что читали и любили эти люди, ради чего растили детей — в общем, всё, что радовало и объединяло, пропало! Через год развалился совхоз, ещё через год всё разворовали и раскурочили, каждый стал сам за себя — и деревня умерла...

Вот тогда-то, побродив около закрытой насовсем бани, в зиму чуть не замёрзнув без дров, Антонина и привезла откуда-то мужика.

Выйдя на прямую, до кладбища, дорогу, в которую из всех переулков деревни впадали ручейки-тропинки, Василий сбавил шаг и ещё раз ощупал свою сумку. Убедившись, что всё на месте, объяснил Лёльке:

— Время — пятый час, основной народ должен уже пройти. А кто ещё остался, так Бог с ним — ничего страшного. Начнём с ближнего угла кладбища и пока дойдём до нашей бабки, уже нормально наберём в помин душ усопших... Ты только не наглей, а то опять всё лучшее поглощаешь: и колбасу, где и мясо какое...

В общем, шёл старый Василий на кладбище помянуть Антонину и попутно насобирать еды, какую кладёт на могилы родня покойных. А для вина, налитого в рюмки на каждой второй могиле, у него полуторалитровая пластиковая бутылка из-под воды...

Идёт он, совершенно уверенный в правильности поступка и в совершенной его законности.

— А кому это оставляют? Испокон веку — людям свободным, бездомным на помин. Или просто, кто голодный... И, если здраво рассудить, хозяева радуются, наверно, что какие-то люди перекусят и горьким помянут сродственников их почивших, я так уверен! — из года в год повторял он Лёльке, которая была с ним согласна...

Мало того, за двадцать лет жизни он многое узнал о хозяевах могил: про тех, кто уже при нём нашли здесь свой приют, и про всех он рассказывал собаке, складывая в сумку еду и сливая вино и водку в бутылку. Зная людей и правильно их оценивая, старался никогда не говорить плохо о покойных, даже о тех, кто это заслуживал. Обычно он, чтобы не молчать в таких ситуациях, объяснял Лёльке, терпеливо ожидающей, что достанется ей, болтавшей хвостом и немного подскуливавшей в нетерпении: — Рязанец, вот выпить любил — но не грех — зато никогда не отказывал! Хоть ночь проси — поможет, но бутылку для него запаси — закон. Здо-

ровый был и не болел никогда, почто помер — не знаю. Смотрю, идёт народ. Что, спрашиваю? Рязанца хороним... Вот те раз... А этот, смотри, молодой совсем, — он долго, шевеля губами, считал года на табличке, потом охал и крестился: двадцать один! И ещё ведь год назад это было — двадцать... Господи, прости... Он с невестой поругался: она — к маме, он — к друзьям. Вина выпили, разгорелись, кровь молодая, он возьми, да на ремень, дур... Ой, Господи, прости! А теперь, вишь чё наложили ему? Оказывается, любят его, грешника, все, но назад не воротишь — вот беда! А как же мать его с отцом теперь, а? — и он, присев на лавочку, всплакнул... Через минуту успокоился и, разбив красное яйцо и выпив из маленькой рюмочки пятьдесят грамм, заев, продолжал:

— Раньше таких грешников за забором кладбища хоронили. Ведь грех это, единственный, который Христос не прощает. Значит, нельзя ему здесь быть с теми, кто по закону Божьему лежат... Однако сейчас на это не смотрят: куда получается, туда и опускают... — Он встал с лавочки и, перекрестившись, шёл дальше.

На некоторых могилах, где лежало совсем немного, ничего не брал, а на те, которые были забыты родственниками, сам положит конфетку или печенюшку. «Не печальтесь, просто ваши не смогли нонче приехать. Далеко живут, наверно. Но они вас помнят, не сумлевайтесь», — и обязательно крестясь, шёл дальше.

* * *

В этот год день поминок радовал. Немного стылый с утра, ближе к вечеру теплел. На душе у Василия тоже было тепло и уютно. Пройдя кладбище полукругом, он набрал уже полную сумку. Правда, всё больше были сладости и яйца, часто блины и довольно много фруктов. Но вот нарезанной кольцами колбасы и жареной рыбы было немного. И не потому, что не клали — клали! Просто вездесущие вороны и сороки, совершенно не стесняясь, собирали с могил почти всё мясное, чем возму-

щали деда и ещё больше Лёльку. Она, нахватавшись печений и очищенных ей дедом яиц, хотела колбасы и, бегая, облаивала мелькающих среди оградок воронок. Бутылка тоже уже была полна — оставляли часто хорошо, иногда даже по полстакана. Сам он, три или четыре раза приложившись, захмелел и боялся, ослабнув, задремать где на могиле. Заходящей за ним в каждую оградку Лёльке, объяснял:

— Спать на земле пока нельзя. Враз здоровье оставишь — земля ещё холодная. Вам-то, конечно, не понять — дело привычное на земле кемарить, а нам, людям, — нельзя.

Она понимающе тявкала и выжидательно следила за руками. Взяв с этой могилы несколько шоколадных конфет, он решил идти к Антонине.

* * *

Антонина умерла в феврале. Умерла, не болея или просто не жалуясь. Василий растерялся: он совершенно не знал, что делать. Продавщицы посоветовали ехать в сельский совет, в соседнюю — главную деревню их бывшего совхоза. Глава, выслушав, обещал помочь, и Василий, уже по сумеркам, пошёл обратно. До его деревни было десять километров насыпной дороги. Продуваемый противным резким ветром, он не стал стоять на перекрёстке, а пошёл, надеясь на попутку.

Три раза его догоняли и объезжали легковушки, моментально растворяясь в позёмке. Выйдя в пять часов вечера из сельского совета, домой он пришёл в одиннадцать ночи, до ломоты промёрзший и очень уставший. Антонина, как он оставил, так и лежала на деревянном настиле, на котором он сам спал. Старик сел на стул, решив немного отдохнуть, и, глядя на покойницу, раздумывал: «Её же надо обмыть. Что же сделать, к кому сходить за помощью?»

Он задремал и во сне расстроено вздыхал, пытаясь укрыться полкой пиджака, полагая, что это одеяло.

Проснувшись ночью и с трудом поняв, где находится, пошёл растапливать печь — в домике было очень холодно.

Утром, ещё по темноте, зашла соседка, совсем пожилая уже бабка, Галина. Василий очень обрадовался, не ведая, как самому всё это сделать.

Под руководством постоянно ругающей его женщины кое-как обмыли Антонину, натянули на неё простое чистое платье, после чего он вышел на улицу и долго стоял, ожидая известий. К обеду привезли большой гроб и сообщили, что ему надо идти к кладбищу — там копальщики ждут...

Старик, взяв лопату, заспешил по переёмам в конец деревни и уже издали увидел гусеничный трактор, сгребающий снег на свободном от берёз участке. Пока полз до места, подошёл экскаватор и начал скрести землю ковшом. Земля поддавалась плохо, и экскаваторщик в крик материл землю, морозы, лёгкий экскаватор и потом, уже до кучи, покойницу и молча сжимающего лопату Василия.

В конце концов, какую-никакую яму выкопали, Василий, как мог, её немного подровнял и, придя домой, обрадовался, увидев не одну, а уже нескольких старушек. Они сидели смирно и после того, как он растопил печь, разрешили ему поспать. Разрешения он уже не слышал, уснув, скрутившись в кольцо на старой шубе около открытой духовки.

На следующий день в обед приехал вчерашний тракторист на своём экскаваторе, только теперь с телегой и ещё с одним мужиком, пьяным почти в стельку. Втроем они загрузили гроб в телегу и, доехав до свежей ямы, похоронили Антонину. Тракторист, отстегнув телегу и виртуозно маневрируя на тракторе, за пять минут закопал яму и даже собрал из мёрзлой земли холмик. Второй мужик налил Василию полстакана водки, и они быстро уехали. Василий выпил водку, поставил пустой стакан на холмик и пошёл домой...

... Летом он подровнял землю, соорудил, как мог, крест, нашёл, кем-то выброшенную старую оградку и, частями перетаскав её, собрал вокруг холма. Могила Антонины оказалась метрах в пятидесяти от основного кладбища. Ну, что же, и на том спасибо...

* * *

Он уже почти вышел с кладбища, когда его окликнули. Обернувшись, увидел высокого мужика с гривой лохматых волос в распахнутой грязной куртке.

— Ты куда прёшь, дед? — оскалился он, не обращая внимания на собаку, — подходи к нам...

Василий, машинально повернув, подошёл. Их было трое — здоровый верзила и двое, чуть старше его, весёлых мужиков. Они сидели на лавках за большим поминальным столом, на котором было много еды, также собранной с могил, и разные бутылки.

Верзила шагнул навстречу и, цепко схватив за сумку, вырвал её у него из рук.

— Да ты мародёр, дед! Смотрите, сколько насобирал, елейный! — и он вывалил всё из сумки под ноги. Яйца и яблоки раскатились по земле, бутылку с вином он сразу ухватил.

— Я не мародёр, я помаленьку брал, по-Божески...

Верзила засмеялся и, открыв бутылку, стал лить вино в чёрный рот, смеясь и сплёвывая.

— Вот это да! Ёрш хороший, молодец!

Василий шагнул и потянулся за бутылкой.

— Отдай, пожалуйста... вы же сами... — договорить он не успел. Верзила правой рукой, кулаком, резко ткнул его в грудь. Старик, как подрубленный, упал спиной на соседнюю оградку и сполз на землю, закрыв глаза. Поднять руку к захрустевшей груди он не смог. Лёлька, отчаянно лая, кинулась на верзилу. Тот поставил бутылку, схватил стоявшую у стола лыжную палку и, изловчившись, сильным ударом проткнул собаку. Развязно ухмыльнувшись, он поднял её, визжащую,

над землёй и метнул, как из пращи, в сторону. Лёлька, звизгнув в воздухе, упала за оградки и через секунды замолкла. Верзила, рыкнув по-звериному, сел на лавку. Его собутыльники, напуганные, молчали.

— Будет ещё мне указывать, как жить, всякая голь! Так же? Давайте, собираемся и пошли: нам ещё сегодня-завтра надо в соседнюю деревню — там кладбище в два раза больше.

Они выпили, быстро собрали всё разбросанное в сумки и направились в сторону дороги. Верзила, вдруг ойкнул и, приказав им идти дальше, вернулся.

Присев и долго вглядываясь в лицо старика, он заметил, как дрогнуло веко и сразу, с оттягом, со всего маха ударил в него, вогнав разбитую голову между прутьями решётки. Кровь алой дорожкой потекла из носа, по шее под рубаху и из закрытого рта — по подбородку. Ноги, обутые в старые, со свалки ботинки, вытянулись, руки безвольно упали вдоль тела...

Верзила ещё раз наклонился и, затаив смрадное дыхание, секунду постоял.

— Так-то лучше, неприкаянный...

И, развернувшись, громко топая, побежал догонять своих.

* * *

Через четыре дня на отшибе, за кладбищем, вырос ещё один кривой холмик, одной стороной насыпанный на старую ограду. Креста на нём нет. Некогда людям...

*29-30 апреля 2014 г.
Радоница.*

Кормилец

Семён Ветлужанин торопился домой! Он вскидывал, как цапля, ноги, обутые в высокие резиновые сапоги, пытаясь не споткнуться и не упасть лицом в грязь, липко мерцающую даже в крошечной темноте. А шёл он домой с праздника, какой каждый год по окончании уборочной организовывал в их совхозе председатель.

В этом году Семён первый раз, по причине своей молодости, работал разнорабочим на зерноэлеваторе, в народе — сушилке! За месяц работы получил серьёзные, по современным меркам, деньги, несколько (семь!) центнеров пшеницы и, совсем неожиданно, уже на самом празднике — премию! Хитрый председатель, чтобы не ссорить народ, сумму премий не озвучивал, и счастливики, засунув конверты в карманы, все как один мучились, надеясь на большее...

Семён или, как его называли почти все в деревне, Сёмка, не выдержал первый и, наскоро поев за общим длинным столом, убежал.

— Что толку сидеть? — решил он про себя, — водку всё одно не пью, а хор слушать и подавно не стоит — одно и то же каждый праздник.

Но он лукавил, оправдывая себя перед самим собой и даже немного смущаясь этим. И если бы кто, заметив, окликнул его во время побега, он конечно бы не ушёл! Но... не заметили. И Сёмка торопился по тёмной, совсем промокшей за день первого осеннего дождя

улице домой, сжимая уже вспотевшей в кармане штанов рукой заветный конверт. Проскочив в калитку, обтопал на начинающейся сразу от ограды бетонной дорожке сапоги от грязи, и разувшись у крыльца под навесом, приостановился на свету под уличной лампочкой. Секунду посомневавшись, вытащил промокший вместе с рукой конверт и торопливо, но аккуратно надорвал его с самого края... С азартным нетерпением расширил указательными пальцами дыру и вытащил три купюры. Сверху была тысячная бумажка...

— Три тысячи, — он неожиданно расстроился, — всего то... Вот и пожалуйста, размечтался...

Когда он торопился из клуба, то мечтал хотя бы о пяти, поэтому сейчас почувствовал себя словно обворованным! Но нет! Развернув деньги, как игральные карты, веером, на свет, он радостно вскрикнул:

— Хоп!

Средняя купюра была пятитысячная. Значит, всего семь! Так-то... Он, радостно притопнув замёрзшей пяткой о крыльцо, заскочил в дом, предварительно спрятав деньги в уже знакомый им карман!..

* * *

Мать, посмотрев на неожиданно ворвавшегося сына, прихлопнула по бёдрам руками.

— Никак нагулялся? — и, рассмотрев его довольное лицо, добавила: — Али премию председатель сподобил?

Сёмка даже растерялся. Ведь он, пробираясь по грязи домой, уже эту радостную сцену вручения денег отрепетировал...

— На, мам! Вот ещё к тем деньгам доложи, копейка к копейке, глядишь, и перезимуем без хлопот. А летом опять заработаю, чай руки-ноги есть!..

А тут, она словно по глазам прочитала, неинтересно и буднично как-то.

Семён, уже без улыбки, подошёл к столу и положил смятые деньги.

— Вот ещё, правда, премия. За хорошую и ответственную работу сказали.

Мать крепко и нежно обняла его, а он, уткнувшись ей лицом в грудь, сам того не ожидая, вдруг соврал:

— Ещё сказали, на тот год ждут. Мол, им такие ответственные работники нужны, чтобы работать могли!..

Улыбающаяся мать ещё крепче прижала его голову к груди и поцеловала в макушку:

— Кормилец!

* * *

Отец Семёна ушёл от них четырнадцать лет назад. Был он пришлый из города, попавший в деревню ещё отрабатывающим практику студентом. Познакомившись с Галей, будущей Сёмкиной матерью, он влюбился в неё и, как обещал, вернулся после армии к ней. Ни с кем не советуясь, они скоро поженились, не дождавшись приглашённых на свадьбу родителей жениха. Те сообщили, что не для такого счастья они воспитывали сына, чтобы тот остался в деревне с коровами!

Отец Сёмки остался и первое время кинулся в работу. Но, полуразваленный в девяностые годы прошлого века колхоз поднимался с колен трудно. И очень скоро многие убежали от тяжёлой, почти бесплатной работы в город, за «потерянным кем-то лёгким рублём»! Среди них и отец Сёмки.

Сначала растерянная мать лгала уже совсем всё понимающему и любящему отца сыну всякие небылицы про командировки. Но после почти годового молчания мужа, созналась сыну, что отец где-то потерялся. Сын, вдруг став серьёзным, сжав кулачки, по-взрослому рассудил:

— Я так и знал, мама. Так и знал... но не думай, я вырасту и найду его!

Затем он долго плакал, уткнувшись лицом в маленькие мягкие ладошки, так и уснув в безутешном детском горе. Сама же Галя не спала совсем, но плакала без слёз. Слёз уже не было...

* * *

Утро субботы проснулось серым и грустным. Сёмка давно не спал и неотступно смотрел на жёлтую в детских картинках штору, закрывающую окно уже многие годы. Он точно помнил её из детства, и даже с закрытыми глазами мог указать, где он подрисовал Коту в сапогах очки фломастером, а где надел на Чебурашку и на крокодила Гену коньки. Мать тоже знала эти рисунки и, без зла, выговаривала Сёмке за них:

— Шторы то хорошие... Плотные и цвет как раз по комнате... они ещё лет пять-десять провисят, если их не трогать!

Сын раритет теперь не трогал и даже терялся, когда мать иногда снимала их стирать.

Из кухни через неплотную дверь потянулся вкусный запах завтрака. Парень принимался.

— Оладушки на простокваше или блинчики на молоке? — запах и того и другого был похож, к тому же и то и другое он самозабвенно любил. Особенно со свежей сметанкой! Или с мёдом — золотым и ароматным, или на худой конец со сгущёнкой. Семён радостно потянулся, прохрустев всеми косточками, незамедлительно встал и решил окончательно:

— Сегодня ещё в сарае почистить, пока на улице слякоть, а к вечеру баню сладить...

Он был прост, честен, трудолюбив и бесхитростно наивен, словно древний старик — всё знающий, но и всему верящий!

* * *

Всё-таки это были блины! Сёмка быстро доскочил до сарая, в котором был сделан «почти тёплый туалет», а на обратном пути тщательно, с фырканьем умылся с головой под длинным, во всю веранду сливом, устроенным из разрезанных на две полосы широких поливочных труб. Вода конца сентября, льющаяся серебряной струёй, была уже стылая, тяжёлая и натурально пахла

льдом, который он, пацаном, часто набирал в рот на озере, где играли в хоккей! Наплескавшись и ощущая в теле здоровый озноб, парень заскочил домой и стал обтираться махровым полотенцем, разгоняя по коже бодрящий огонь!

Мать, улыбаясь, поглядывала на него со стороны. Семён видел это и радовался!

— Ты, сынок, аккуратней. Не хватало ещё какой насморк перед зимой заполучить...

Сын молчал, понимая, что действия его одобряют, долго, по случаю выходного, завтракал вначале блинами со сметаной, затем опять же блинами, но с мёдом. Мать явно что-то хотела сказать, но терпеливо дожидалась, когда он насытится и, только убедившись в окончании трапезы, начала:

— Ты бы, сынок, съездил на завтра в город на рынок или на барахолку, как её там...

Сёмка поднял удивлённо брови, но мать продолжала:

— У тебя на осень даже курточки нет нормальной. А тут эта премия, она же не учтена нами, понимаешь? Это словно подарок неожиданный, или находка. Ну и разойдётся по мелочам незаметно. Так что езжай-ка завтра и купи себе обнову — заслужил!

Сёмка обрадовался предложению, но, понимая отсутствие в семье достатка, засомневался... Но заботливая мать окончательно убедила его в правильности этого решения.

— Самое-то главное, не дай, Бог, простынешь по осени в своей старой куртёшке. Как буду одна всё тянуть?

Сёмка сдался, чуть не взлетая от радости переполнившей душу:

— Хорошо! — Затем, не торопясь, встал, опять же, не торопясь, облачился в рабочую одежду и пошёл в сарай чистить и готовить скоту зимние стойла.

Галина подоила предварительно выведенную под навес корову — их любимицу Зорьку — а в сарае даже

не пошла — Семён сделает всё сам со взрослым пониманием, скрупулёзностью и тщательностью... Ведь из своих неполных восемнадцати, он уже почти пятнадцать — хозяин в доме!

В обед он зашёл, похлебал наваристого борща с курятиной, несколько минут посидел и опять вышел. Галина видела через окно, как сын таскал из-под слива воду в баню, снимая перед дверью тяжёлые грязные сапоги, чтобы не натоптать в ней. И к четырём баня с неохотой задымила в промозглое, плачущее небо. Галя посмотрела на часы — к семи будет баня, жаркая, сухая, побеждающая любую хандру!

* * *

В воскресенье, в семь утра Семён уже сидел в уютном ПАЗике на заднем сиденье. Автобус из-за дальности маршрута выходил из деревни в семь, в одиннадцать — был в городе, а в пять — возвращался в деревню. Времени для выполнения намеченного у Сёмки — с избытком.

— Сначала на барахолку, а потом около автовокзала похожу по магазинам, полюбуюсь... — Он не любил город, но совершая редкие вылазки в него, обычно с матерью, искренне радовался всему увиденному! Сейчас была возможность погулять, не торопясь, одному...

С автовокзала до барахолки можно доехать на трамвае без пересадок, что на радость Сёмки упрощало задачу. Трамвай, стуча на стыках суставами, не торопясь катил по городу. Парень с интересом смотрел на незнакомую ему жизнь, с удивлением отмечая, как неудержимо быстро меняется всё окрест. По этому пути они ехали с матерью всего каких-то два с небольшим года назад, а сейчас он почти ничего не узнаёт. Куда ни глянь — длинные заборы, окружающие новостройки с торчащими цаплевидными кранами, а кое-где уже и открытые для глаз высотки со сверкающими стёклами!

Сёмка вдруг ощутил радостный азарт, словно на удачной осенней рыбалке, когда выводишь на спиннинг игривого килограммового окуня и видишь, что за ним мелькают ещё два-три...

— Может, потом, заработаю денег и насовсем переберусь сюда, — ему очень понравилась эта мысль. А когда на повороте увидел в отражении трамвайного окна своё улыбающееся лицо, засмеялся негромко и смущённо, пригнув к груди голову. — Ох, как хорошо!

* * *

Барахолка обескуражила размахом! Он шёл по центральному ряду, понимая, что надо найти отходящий от него малый ряд именно с кожаными изделиями. Сотни людей шныряли вокруг, задевали его и друг друга, привычно не замечая этого, кричали и торговались громко и уверенно. Сначала он хотел погулять по огромной барахолке, посмотреть на «разные разности», «поприценаться», как говорила мать, но неожиданно заволновался и, начиная неоправданно злиться на всё и всех, пошёл, быстро огибая останавливающихся покупателей, задирая голову, высматривая свой ряд. Кожаный клондайк был почти в конце. Сёмка, увидев висящие куртки и плащи, сразу свернул в него, ещё минуту шёл быстро не глядя по сторонам, наконец, стал замедлять шаг. Перейдя на совсем тихий ход, он вытер рукой пот со лба и поднял глаза на кожаное богатство, висящее гроздьями и лежащее горами! Парень сглотнул сухую слюну и уже повёл глазами дальше, но услышал уверенный и, словно приказывающий, негромкий голос:

— Всё что надо — здесь!

Сёмка опустил глаза и увидел улыбающегося невысокого парня, скорее мужика, гладко бритого, держащего левой рукой на уровне груди, пластиковый стаканчик с кофе, а правой, чуть к лицу, между пальцами дымящую длинную сигарету.

— А что надо? — Сёмка задал вопрос машинально и раздельно, наверное, давая понять, что ему что-то нужно... Парень сосступил с деревянной подставки, поставил стаканчик на раскладной стол и, засунув сигарету между подвижных губ, заговорил быстро, но внятно:

— У меня есть именно то, что вы ищете, молодой человек. Несомненно, вам нужна не просто куртка, а очень качественная куртка, по возможно минимальной цене... И такие, — он провёл левой рукой взад и вверх, — именно, у меня есть!

Сёмка даже не удивился точности определения его желания или скорее не придал значения, словно заранее с мужиком договорился. Тот подошёл к нему и, взяв за плечи, продолжил сыпать словами:

— Сорок шесть — сорок восемь... немного выше колен, желательно с карманами на груди в дополнение к боковым, воротник — стоечка, замок медный, закрытый... Цвет — тёмно-серый, или совсем тёмно-коричневый, с осенним подкладом?

Сёмка, не любя злые осенние ветры, предпочитая закрывать бёдра подолом одежды и прятать руки в удобные нагрудные карманы, именно так и представлял себе желанную куртку. Он, опять сглотнул слюну и выдавил из себя:

— Да, примерно...

Теперь мужик заулыбался уже совсем уверенно и доверительно:

— Значит, вы издалека!?

Сёмка напрягся и даже слегка обиделся:

— Это почему так?

— Да потому, что только люди, приехавшие издалека, ценят и уважают хороший, тёплый продукт. Наши всё больше грудогрейки по пояс ищут, чтобы пуп синий видно было...

Он длинной палкой с рогатиной уже снимал куртку, почти чёрную и, сняв, стал расстёгивать.

— А причём тут продукт? — думал Сёмка, радостно улыбаясь и любуясь курткой, — я её есть не собираюсь!..

Мужик расстегнул вещь, вытащил подклад и, помогая надеть кожаное чудо на парня, снова аккуратно застегнул. Она, вправду, была в пору! Покупатель, затаив дыхание поворачивался у большого зеркала, одёргивал подол вслед за мужиком и совал руки в мягкие карманы на груди.

— Вот, посмотри! Ты преобразился в этом кожаном чуде! Тебя, несомненно, завершил, доработал этот «реглан»!.. Нет-нет, это не «реглан», к чему пафос — это лапсердак, не меньше! — Мужик не умолкал ни на секунду...

Сёмка, покраснев от удовольствия, засунул руки в боковые глубокие карманы.

— А лапсердак, это название стиля или фирмы? — Сёмка, наконец, взглянул из зеркала на продавца.

Тот, на секунду задумавшись, уверенно ответил:

— Лапсердак — это философия! Это целое направление в культуре, многим непонятное, но от этого ещё более манящее. Можно сказать, что лапсердак — это одежда успеха, и никак иначе!

Стоящие по обе стороны продавцы уже смеялись, но грамотно маскировались, чтобы не спугнуть клиента. Рука руку моет!

* * *

Всё нравилось! Но самое главное — цена! Она ещё не была озвучена, и парень мучился. В нагрудном кармане рубашки, под свитером и в свою очередь под ветровкой, застёгнутые булавкой, лежали именнные его деньги! Семь тысяч, как одна копейка... На автобус в две стороны и на перекусить — выделила мать из своих. Эти лежали отдельно и для торга не предусматривались. Надеяться, что такая красота, да ещё с подкладом, может стоить меньше, не приходилось...

Но, когда серьёзное лицо продавца приблизилось к лицу Сёмки, и подвижные губы шепнули: «Семь», — у него отлегло от сердца! Чтобы не заверещать от радости, парень закрыл глаза и глубоко вздохнул, сдерживая эмоции, переполнявшие душу. Мужик понял это по своему и, не давая одуматься, продолжил:

— Конечно, реальная цена больше... Но я тебе за дальний ход скидочку даю! Вот, не лукавлю...

И он, сразу повысив голос, обратился к толстомордому парню, торговавшему напротив:

— Миша, родной, сколь у тебя красота такая стоит? Озвучь! А то клиент сомневается!

Быкоподобный Миша, сделав два шага ближе, растягивая слова, промышал:

— Восемь рублей! У тебя что? Не так что ли?

— Именно так, так! — Поддержал Сёмкин мужик и ещё выдал аргумент в пользу себя: — А я вдобавок тебе, как первому покупателю, варежки кожаные презентую. Именно от широты душевной моей, — он ткнул пальцем в себя, — красоте душевной твоей! — теперь палец уткнулся в карман с деньгами на Сёмкиной груди...

Палец и, главное, не указательный, а большой был «обут» в серьёзный, как показалось Сёмке, перстень. И именно этот перстень на довольно холёной городской руке сломал последние сомнения парня. Он согласно кивнул головой и полез под свитер. Мужик быстро и ловко скомкал куртку, сунул её в красивый целлофановый пакет и сверху положил, похожие по цвету на куртку, варежки, запакованные уже в хрустящую плёнку...

Сёмка отдал деньги, мужик пересчитал их и, сразу потеряв к нему интерес, шагнул на свой постамент. Приподняв пакет с желанной покупкой, счастливый покупатель пошёл сразу к выходу. А что ходить судьбу пытаться после такой удачи?

В трамвае он немного успокоился и даже сел на освободившийся стул.

— Вот же город... В деревне бы сразу узнали о моей удачной покупке, и все бы интересовались и радовались со мной, — в последнем он был не совсем уверен, но всё равно заставлял себя думать именно так. Сёмка ещё раз оглядел безразличных до него людей и заглянул в пакет.

— Может, одеть её? Наверняка сразу внимание обратят! — Но, поразмыслив, понял, что просто спарится в тёплой куртке. Посидев ещё, достал варежки и, внимательно осмотрев, понял, что они ему просто не налезут на руки. Но вместо обиды, он легко оправдал продавца:

— Конечно, откуда ему знать про мои ручищи, мы же не здоровались!

Он пожалел, что не пожал руки такому хорошему человеку... Варежки решил подарить матери!

— У неё нет таких тёплых — всё самовязанные, из шерсти. А тут глянь: качество и тепло!

И он, снова ощутив прилив радости, улыбаясь, прикрыл глаза. Через пять минут Сёмка вышел на остановке «Автовокзал» и для душевного спокойствия первым делом купил билет до дома. Внимательно его изучив, сложил пополам и засунул в пустующий без денег карман. Совершенно удовлетворённый собой, потихоньку побрёл в сторону огромного нового торгового центра. Войдя в него, опять удивился, только теперь уже размаху магазина. Здесь было три этажа, на каждом из которых торговали чем-то определённым... Он побродил по электронике, полюбовался всякими спортивными товарами и решил на эскалаторе спуститься в подвал. Здесь торговали всякой одеждой, и даже был отдел кожаных изделий. Сёмка шёл вдоль стен с навешанными на них плащами и куртками и вдруг увидел — свою! Вернее, такую же точно, как у

него, один в один. Он подошёл поближе и прочитал висящую внизу рекламку и ценник. Довольно крупными буквами было написано: «Куртка. Производство КНР. Кожзаменитель. С подкладом. Цена 3000 р.» Парень испуганно отшатнулся и, посмотрев по сторонам, опять прочитал ценник. Так и есть: то за чем он проехал полгорода и купил за бешеные деньги, здесь стоит в два с лишним раза дешевле... Растерянно прошагав дальше, зашёл за другой ряд и остановился, захлёстнутый горячей, обжигающей до жара в лице и шее, обидой.

— Это как же? Он чё, обманул меня? Это их здесь покупать, туда таскать и такие деньги брать, за...за что? За хитрость, за жадность? Но это же обман! — Сёмка растерянно прошагал обратно и со звоном в голосе спросил у сидевшего за стойкой продавца:

— А почему вот эта куртка так дёшево стоит, вроде красивая, с подкладом?

Продавец, увлечённый игрой в телефоне, не понимая, поднял глаза и внятно, со знанием дела, ответил:

— А кто её дороже купит? Дураков сейчас нет... Двадцать первый век топчем, учёные все, — и без интереса опять наклонился к телефону...

Сёмка быстро зашагал к выходу.

— Да нет! А я кто? Именно тот, кто купит хоть за какие деньги... дурак, именно дурак!..

Он, не отдавая себе отчёта, почти бежал в сторону остановки, ещё не догадываясь, что будет делать. И только остановившись у железной остановочной будки, стал, комментируя мысли вслух и не замечая этого, соображать:

— В морду брошу ему и деньги заберу. «Бессовестный», — скажу ещё, может, стыдно станет... А нет, дак и не надо, пускай так останется, люди узнают — руки никто не подаст. — Он вспомнил, что совсем недавно жалел, что не пожал, как оказалось обманщику, руку, и немного оправдал себя.

— Как чувствовал, правда... И перстень этот! Где заработаешь столько, чтобы кольца так просто таскать, словно это рукавицы!? Тьфу ты...

Он вспомнил про рукавицы и где-то под пустым карманом опять заскребло... Если бы сейчас подошёл трамвай, он бы, не задумываясь, заскочил в него. Но трамвая не было, и к Сёмке стал возвращаться здравый смысл.

— Время ведь много. Там, наверное, всё закрылось уже, — он посмотрел на телефон, — без десяти четыре... И к автобусу не успею... Вот, блин! — Ещё немного посомневавшись, он взял с лавочки пакет и пошёл обратно, к автовокзалу.

* * *

На середине пути автобус, неспешно кативший по насыпной дороге, догнала ночь. Несмотря на тряску, все спали, а Сёмка, пытавшийся осмыслить произошедшее, смотрел через окно в темноту, разбавленную жидкими кляксами обгоняемых попутных деревень. Сбоку, через проход, сидел дед Марс, высокий, угловатый и остролицый. Был он серьёзно взрослым, даже старым, к восьмидесяти годам. Раньше он, со слов матери, был большим и «правильным» начальником. По какому поводу, она не уточняла, да и не очень важно, но сам дед этому имиджу соответствовал. И то, что теперешнее начальство часто с ним советовалось, а для механизаторов он вообще был желанным гостем в гараже, говорило о многом. Хотя, у него тоже был не понятный, но весёлый и безобидный бзик. Любил дед батончики с красивыми буквами на этикетке! Из-за них и кличку получил, но сам нисколько не смущался этого, ставя свою привычку в противовес увлечению некоторых алкоголем. И обычно споры, возникающие по этому поводу, безоговорочно выигрывал, зачастую поддерживаемый женским большинством, которое считало...

— Да мы бы сами вам эти ляльки покупали, кушайте и радуйтесь. С них же с ума не сходят, как с вашего зелёного змия...

Мужики посмеялись над ним раз-два да успокоились. А самому деду Марсу и подавно всё одно. За батончиками он ездил в город, попутно навещая детей, и покупал сразу много, на месяц, а то и больше!

Сейчас он возвращался из такой поездки и тоже не спал, скорее понимая, что впереди ночь, а выспавшись в автобусе, что потом делать? Сёмка боковым зрением видел, что дед поглядывает на него. И когда тот приподнялся со своего места, убрал с соседнего, рядом с собой кресла, пакет. Дед сел и, угнездившись, поздоровался:

— Ну, здравствуй, Семён Валерьевич, здравствуй, дорогой!

Сёмка очень не любил, когда его звали по имени — отчеству, именно потому, что с каких то пор стал считать отца предателем, просто не находя другого объяснения его ухода. И сейчас, вместо обычно уважительного, «дедушка Вася», буркнул сквозь зубы:

— Здравствуй де-е... Я же говорил тебе, не называй меня так, я просто Семён пока. Потом уже придумаю, как называться буду, — и он отвернулся к тёмному окну.

Скрежетнув вставной челюстью, старик приклонился к парню и возмущённо продолжил:

— А ты чё это от отца отказываешься, словно он враг какой твой или предатель?..

Сёмка даже вздрогнул от неожиданности и повернулся к деду: как правильно тот угадал его, сёмкино понимание всего случившегося.

— Ты не можешь судить, пока правду не узнаешь. Может он и не шёл к вам, но в жизни всяко бывает. Это ведь жизнь, а не сказка... Так что не суди пока...

Они ещё молчали несколько минут, потом старый, как бы извиняя глупость Сёмки, заговорил опять:

— А что такой сердитый сегодня, словно деньгу потерял в угороде, или ноги оттоптали?

«Да что же это такое? Они все словно мысли мои сегодня читают», — и парень вдруг горячо заговорил о сегодняшних своих похождениях за дешёвой красотой...

Дед сидел и внимательно слушал, иногда качая головой, а в конце повествования даже воскликнул: — Во, как! — и сжал рукой рассказчику локоть.

* * *

— И вот еду сейчас и даже не знаю, как быть. Себе купил, что не понятно, да и мамке подарок — тоже, наверно, дешёвая подделка, — Сёмка подал шуршащий пакет с варезками деду.

Тот большими пальцами порвал пакет, долго мял рукавички руками, затем уже двумя пальцами полез во внутрь. Удовлетворённый, взглянул молодому в глаза.

— Ты подарок по цене не оценивай, это не правильно... У меня отец ушёл на войну, мне было пять. Я помню, он меня на стол поставил, дал в руки ключ от единственного в хозяйстве замка, который замыкал сарай со всем нашим инструментом, и говорит: — Держи, сын, и управляй... Ты, теперь кормилец в доме и первый по рангу!... — А мне пять. Пять, понимаешь? Я топор даже держал в руках только в игре, стуки-стуки... И сестра ещё — три года, и мать — не полных двадцать пять!

Сёмка смотрел на замолчавшего вдруг деда, немного покачивающегося от неровного движения автобуса, и видел слёзы из закрытых плотно глаз...

— Через зиму, в апреле мать ещё девчонку родила. И теперь мы уже вчетвером: мать, день и ночь в поле, а я — на хозяйстве, и с сёстрами... Но выжили! Выжили и выросли все, слава Богу! Во, как!

Дед устало замолчал, но Сёмка, не поняв его, переспросил:

— А причём здесь подарок?

Старый словно очнулся и продолжил:

— Отца привезли в сорок шестом из Японии. Всего дырявого и чуть живого. Нам сообщили, что он в райцентре, в больнице лежит. И мы с матерью к нему засобирались. Вот я и сшил отцу кисет из куса плаща солдатского, дратвы тонкой надрал и сшил! У соседа, деда, табака на картошку сменял и полный кисет набил! В больницу пришли, а это двадцать с гаком километров, только отец без сознания. Операции ему одна за одной, осколки в теле... Подошли, я не узнаю его совсем, мать плачет, не переставая, еле оторвали её от него. Кисет я положил на тумбочку, и ушли мы... Через два дня приехали мужики в формах и отца привезли мёртвого... Закопали, из ружей стрелили да уехали... И один из них рассказал мне на прощание, что взяв кисет в руки, успел отец сказать несколько слов перед смертью:

— Закуривайте, — сказал он всем раненым в палате, — и запомните, что нет ничего на свете для меня дороже, чем этот кисет... Вижу, что встал мой сын после меня, и не найдётся сила спихнуть его с пути правильного... — Он умер, и плакали солдаты, поминая его крепким самосадом...

— А я только сейчас понимаю, как важно было ему, пусть даже в последнюю минуту жизни, понять, что МУЖИК остаётся за него. А это был лишь ничего не стоящий кисет с табаком за четыре картошки!

Дед замолчал, молчал и Сёмка. Автобус простучал по переезду, значит, до дома — минут десять.

— Ты посмотри, милый, как похожи наши судьбы. Тогда, после войны, жить конечно было страшней, но и по новым временам трудно быть хозяином слова своего, ещё труднее — дела. И тебе не должно быть стыдно за то, что произошло, потому что поступал ты по всем раскладам, правильно. И купил, что захотел, на честно заработанные деньги и попутно понял, как плохо быть обманутым. Значит, сам так поступать не

будешь, а это очень многого стоит. Не переживай и не жалей того, что сделал, парень!

* * *

Мать услышала стук в сенях и в ожидании повернулась. Вошёл Сёмка в красивой, до колен, кожаной куртке, улыбающийся и довольный. Мать подошла и, трогая кожу, восторженно-серьёзно сказала.

— Ты, сынок, прямо повзрослел сразу. И ростом словно добавил, и весом. Вот что значит качественная вещь!

Сёмка достал из кармана лёгкие и тёплые варежки и надел их матери на руки.

— Это тебе подарок, мама! А на следующий год, думаю, поедем вместе и купим тебе что-нибудь красивое и серьёзное. Может, плащ, а может и сапоги к нему. — И, на вопросительный взгляд её, успокоил: — А денег я заработаю. Не беспокойся.

Радостная мать, сняв варежки, обняла его за шею и, встав на цыпочки, поцеловала в голову.

— Спасибо, кормилец!..

27.09.2015 г.

Комель

В первый раз я увидел его пять лет назад, зимой, когда в первый раз приехали с женой в гости к её родителям. Сама поездка, предполагаемая для знакомства с тётшей и тестем, намечалась летом. Но моя, достаточно не молодая уже, жена забеременела на нашу радость, и, само собой, стал вопрос — сейчас или уже года через два, три...

Дело в том, что её родители жили так далеко, где-то в деревне на краю Новосибирской области, что я лично сомневался: можно ли туда пробраться зимой. Но...его величество рубль может почти невозможное! И пятого числа, уже в вечер, крепкий парень Лёша на своём снегоходе забросил нас в её родовую деревню. Рассчитавшись с ним, я договорился, что, не смотря на погоду, жду его через десять дней здесь. Конечно, можно было до станции добраться с кем-то из местных, но рисковать не хотелось...

Лёха, здоровый, улыбающийся белыми зубами, краснолицый от ветра, весело пообещал:

— Не сомневайтесь. Пятнадцатого утром я здесь. Мне эти сорок километров — лёгкая прогулка, сами видели...— И он, газанув, быстро растаял вместе со своими высокими нартами между деревьев.

Конечно, этот день да и следующий мы знакомились, потом собирали стол с её многочисленными дядьками и тётками, затем ещё день ходили по новой

теперь для меня родне с ответным визитом, что к вечеру закончилось весьма серьёзным опьянением... И только восьмого числа я, уже уставший, наотрез отказался от продолжения. Жена, принявшая мою сторону, помогла мне отбиться от пожилого, но хваткого и весёлого тестя, который закончил наш спор:

— Ну, муж и жена одна сатана!.. Не хотите отдыхать, идите вон баню топите. Вода в колодце на соседней улице — Дашка, моя жена, знает. Дрова — в поленнице, тяга — в трубе, веник — на подъизбице... А я сегодня ещё к Сане Ворону схожу, про охоту порешаем...

Тёща, его жена, в отличие от хозяина степенная и не говорливая, конечно, знала, про какую охоту тот хочет поговорить, но держать не стала.

— Январь он на то и январь, чтобы на целый год вперёд нагуляться да набаловаться. Потом год работать, рук не покладая, спины не разгибая. Пускай гуляет!

Тесть ушёл, мы, собравшись, вышли во двор.

* * *

Быстро нашли всё нужное, я убрал снег от двери и растопил баню. Грамотно устроенная, сваренная из толстой трубы печь быстро разгорелась, звонко треща дровами. Чёрный от берёзовой коры дым, прогорев, прошёл и в тихом морозе из высокой трубы валил уже другой — густой, как молоко, бело-жёлтый, переливающийся на солнце! Всё это удивительно напоминало детство, и тоже деревню, и дёдов с бабкой большой рубленый, крытый железом дом, и небольшую аккуратную баню, зимой два раза в неделю дымящую чистым дымом!.. Как всё это болезненно остро понимаешь, живя в городе, как радостно-обречённо выхватываешь из памяти кусочки забытого, но навечно, до последней минуты живущего в тебе. И ведь точно, всё именно так, как тогда! И яркий день чистого солнца, и мороз заставляющий ребятню постоянно, не останавли-

ливаясь, двигаться, и столбы дыма по деревне, прямые и такие густые, что откидывали бегающие по домам серые тени!.. И незабываемое чувство нескончаемой радости жизни, с пониманием вдобавок своей значимости! Это всё уже точно было именно так и именно со мной... Но неужели уже тридцать пролетело? И — так, и — не верится... Я чуть не загрустил, хорошо тёща позвала обедать...

Когда сели за стол, в кухне, совмещённой в одной большой комнате со столовой, как во всех деревенских домах, я посмотрел в не заледеневшую половину окна. В соседской большой ограде тоже топилась баня, а около неё человек рубил дрова.

— Интересно, почему летом не наготовил? — вслух удивился я.

Тёща посмотрела в окно и, как все женщины, не откладывая на потом, объяснила:

— Это сосед наш, дед Коля — Комель. Он уже третий год вдовец, но молодец: не пьёт и не сидит. Вишь, баню топит не реже нас, сам себя обслуживает. А дрова у него, не приведи господи, одни комеля витые, те, что мужики из лесу не берут, бросают. Их же рубить почти невозможно, но он собирает их, на своём мотороллере возит, слаживает и вот зимой колет помаленьку. И зарядка, говорит, и дрова жаркие... А может тоску с себя работой снимат... кто знает?

Издалека человек не походил на деда, уж очень ловко и умело он работал. Я ещё полюбовался и увлёкся домашними, ни с чем несравнимыми по вкусу, пельменями с деревенской волшебной сметаной.

— А вечером ещё баня, — думал я с полным ртом, — ну разве не рай?!

* * *

В следующий раз я приехал к тестю с тещей ровно через год. Они прислали телеграмму, что приготовили нам немного угощений, включающих в себя: сушёные

грибы, маринованные и солёные овощи, солёную и сушёную рыбу, и, конечно, мясо, которое тесть добыл с Вороном где-то в тайге.

До райцентра добрался на своей машине, а оттуда со ставшим уже хорошим знакомым Лёхой, на его снегоходе. Сроку на всё про всё жена мне дала три полных дня! Надо спешить.

В первый вечер выпивали за встречу. Теперь тесть не очень меня слушал в отсутствии дочери и, сдавшись на его весёлые, но достаточно мотивированные уговоры, я пробовал с ним его настойки. Их было много, почти все на «лечебных» травах, но с неистребимым вкусом самогона как спиртовой основы. Причём сам он пил стограммовую, а мне наливал пятидесятиграммовую рюмку. Но и это слабо помогло, и после шестой или седьмой пробы я был уже «на грани».

— Вот, давай ещё эту попробуем, на солодовом корне, она по мужицким вопросам хорошо помогает. Если вдруг какой дискомфорт там, — тесть хитро подмаргивал, глядя мне ниже пояса, сразу ко мне — выпишу тебе литра три, и, как рукой...

Я где-то умом понимал, что у меня пока всё нормально, но рука инстинктивно поднимала рюмку, и рот сам собой открывался, впуская тестевы панацеи в горло. Может, понемногу, под хорошую закуску и, главное, по делу: праздник, день рождения — все его настойки и действительно хороши... но! И, хотя стол изобиловал разносолами, есть я просто не успевал. Сам тесть логично твердил, что «закусь градус крадёт», и закусывал мало, наивно полагая, что и я так могу...

Я не оправдал его ожиданий, и уже через полтора-два часа был совершенно пьян. Спасло то, что умная тёща, вовремя подхватила моё уже бесчувственное тело и увела спать. Сам я этого уже не помнил...

... Утром, открыв глаза, сразу понял, как был вчера наивен, полагаясь на своё крепкое ещё здоровье. Непривычный к таким стрессам организм не на шутку

болел, словно его сначала травили, а потом ещё и топтали. Голова трещала, желудок изводила огненная, с тошнотой, изжога, мышцы рук и ног ныли. Поняв по тёмному окну на светлой стене, что ещё рано, снова закрыл глаза, но окно не исчезло, а долго стояло, чернея в глазах, выдавливая из них слёзы.

Уже по свету зашла тёща и, немного виновато улыбаясь, объяснила:

— У него-то, лешего, к этим настойкам привычка, он их всю жизнь пользуется, как целебные. И, вроде как, действительно всё по делу... То на шиповнике, то на боярке, то на солодовом корне или ещё хлеще — где-то золотой накопает... Тайга большая и трав нужных в ней много — только наклоняйся. А они с Санькой Воронном ещё южнее уезжают, где леса больше лиственные, оттуда прут. А на чём настоять — так это без вопросов! Ну а потом лечат друг друга, не болея никак... Как это? Профилактически! Мы то, с Настей, женой Ворона, привыкли уже, и вроде они постоянно при деле, и не злоупотребляют шибко. Ну, а новому человеку, не привычному, аккуратней надо быть конечно...

Я, давясь тошнотой, поднялся и с замиранием сердца помылся холодной водой из-под крана, кляня свою слабость. Тёща же, зная как бороться с этой основной болезнью местных мужиков, напоила меня чем-то кислым, потом чем-то немного солёным, и к обеду я, уже совершенно придя в себя, дегустировал прекрасный борщ со свежим, наверняка, добытым тестем мясом...

Заниматься зимой в засыпанной снегом деревне почти нечем кроме, конечно, уборки подворья и рубки дров. И это только потому, что некоторые не хотят или не успевают рубить последние. К тому же дрова, оставленные к зиме в чурках, не настолько сухие, что сказывается на их большей теплоотдаче. У тестя много дров было составлено чурками вдоль забора. Я проскрёб лопатой снег посреди большой ограды и взялся за колун!

Стылые чурки рубились хорошо. Колун у тестя — новомодный, с длинным резиновым топориком, которое в свою очередь напаяно на железный стержень. Немного привыкнув к довольно тяжёлому топору, я быстро наколот приличную кучу и решил сразу стаскать поленья в предбанник. Утащив первую охапку и идя обратно, увидел через забор соседа, тоже занимающегося дровами. Мне очень хотелось с ним познакомиться и, не раздумывая, я подошёл к ограде. Он был увлечён работой. Причём как-то по-детски, совершенно отстранившись от реальности. Я залюбовался грамотностью и последовательностью действий.

Чурка, на которую он ставил следующую для раскола, была несколько шире предназначенных для рубки, что позволяло ей стоять плотно, и — в половину ниже. Это опять же давало более длинное пространство для замаха и удара, и сам удар был сильнее и жёстче... Он ставил чурку и внимательно её рассматривал, находя только ему понятную слабинку по которой нужно ударить! Наметив такое место, брал колун и, примерившись, вставал на наиболее выгодном расстоянии для удара. И как-то неожиданно коротко взмахнув колуном, без обратного сгиба к чурке, как это получалось у меня, по-профессиональному плавно, но резко и чётко опускал колун. «Хэ-эк!» — колун бил по чурке, издавая всегда определённый звук, позволяющий кольщику понять — в правильное место удар или нет. Этот удар деду Коле не понравился и он, отставив топор, немного развернул чурку руками. Затем снова шаг назад, короткий над головой замах, и плавно-резкий удар: «Хэ-эк!» Да! Сейчас он слышал именно тот звук, который хотел. И уже не трогая чурку, снова — шаг назад, замах, удар... шаг назад, замах, удар!.. После четвёртого удара кусок дерева издал хруст и расслоился на две получурки, связанные между собой жилами дерева. Дед поставил колун и, взяв другой, уже лёгкий и острый

топор, короткими взмахами дорубил по разрыву, развалив чурку надвое. Затем поставил одну половину на подставку и снова, как по сценарию, продолжил работу. Через пять минут чурка была расслоена на шесть или семь неровных, с торчащими деревянными волосами кусков, слабо напоминающих моих ровных и гладких полешек. Да, тут, кроме силы, необходимы ещё и терпение, и упорство...

Я, улучив момент, когда он отбрасывал дрова в кучу, громко, боясь, что он глуховат, подал голос: — Здравствуйте!

Дед моментально повернулся, причём не рыская взглядом вдоль забора, высматривая, откуда окликнули, но сразу заключив мою голову в поле зрения. Так моментально реагируют на шорох профессиональные охотники, по слуху определяя, откуда звук.

— Здоров, коль не шутишь, — он выпрямился во весь рост, широко, устойчиво расставив ноги, и взялся руками за ремень на поясе. Так он, в своей кожаной с мехом безрукавке, одетой на шерстяную кофту и в лохматой, овечьей шапке, совсем был похож на северного крестьянина, который занимается всем, что приносит достаток и моральное удовлетворение. И то, и другое мужик может себе позволить, потому что крепко стоит на ногах и уверен в себе и в завтрашнем дне...

Он не улыбался, как обычно улыбаются люди, согласные на знакомство, и я, не зная, как добиться продолжения, немного польстил ему:

— Вон, у вас как лихо получается! А я некоторые откладываю — не могу разрубить. Потом бензопилой с тестем пилим...

Дед, неторопливо вытащив правую руку из-за ремня, подошёл к забору и внимательно, секунд пять смотрел на меня, чуть прищурив глаза под лохматыми бровями. Затем на заросшем лице появилась снисходительная улыбка и он, немного растягивая слова, как-то внутренне-глухо заговорил:

— То есть, ты Сёмки Летуна зять? Помню, помню... Вы в том годе с Дашуткой тута гостили. А нонче где она, не вижу?..

Я объяснил, что она родила и я приехал один.

— А что приспело-то? Скучаешь по родне или за продуктами командирован? — Он ещё сильнее заулыбался, показав немного серые, но целые зубы.

Надеясь установить с ним дружеские отношения, как можно откровеннее я ответил:

— Скучаю-то ещё не очень, не успел привыкнуть, а продукты пригодятся... Здесь же всё из лесу, не как в городе — химия... Так что двух зайцев — враз, хотя и не охотник, — и, протянув руку через забор, представился, — Игорь. Дашин муж.

Он неторопливо поднял свою и цепко, явно оценивая крепость, пожал мне ладонь.

— Ну, да ладно... А чем колешь, если не секрет? Новомодным?

Я, поняв, о чём он говорит, подал ему красивый колун.

— Вот, только такой у тестя. Но мне нравится: и замах хороший, и по весу подходит.

Дед, улыбаясь, взял колун и, повернувшись, пошёл к своим дровам, коротко бросив:

— Ну, иди сюда. Спытам, чей дядька важнее, а то привыкли, как сороки, на блеск зариться...

Обрадованный поворотом дела я быстро подкатил две чурки и, встав на них, перемахнул через забор. Дед, уже стоя около дров, подал голос:

— В калитку же полста метров обойти, не лихо скакать через заплот?

— Да скорее хочется...

— А куда гонишь? У тебя ещё время вволю есть. Это мне надо бы шагу добавить, однако наоборот ноги тише бегут...

Он, разговаривая, осматривал чурки, придирчиво выбирая необходимую, и, наконец, выбрав, по его

мнению нужную для моей проверки, поставил её на «постамент».

— Ну, бери свой красивый и, как умеешь, руби. Только не скромничай, со всей силы...

Я взял топор, отшагнул на длину топорича и, немного из-за спины замахнувшись, ударил по чурке. Удар был довольно сильный, и чуть заострённое, вытянутое лезвие нерусского колуна воткнулось в чурку. Дед удовлетворённо хмыкнул и, посмотрев на меня, быстро прикрикнул:

— Ещё!

Я, опять длинно замахнувшись и уже с протяжным выдохом, ещё раз рубанул по чурбаку. Он, подняв руку, остановил меня.

— Теперь, бери мой и сделай то же самое.

Его колун был немного тяжелее и совсем не такой блестящий, насаженный на прямое берёзовое топориче с тонкой стороны в сторону утолщения, и без обычно обязательного клина. Само топориче было тоже примерно чуть больше метра, тёмно-серого цвета, шлифованное стеклом по всей длине, с удобным, по руке, местом хвата. Хозяин не торопил, явно довольный моим интересом к колуну. Взяв правой рукой сантиметров на семь от окончания топорича, а левой примерно за середину, я отступил правой ногой на шаг назад, замахнулся и, перенеся опору на левую ногу, ударил по чурке — хрясь! Чурка раскололась! Она не развалилась на две половины, но дорубить другим острым топором было уже дело техники...

— Ну, и в чём разница? — Дед довольно улыбался.

— Я как-то не понял пока. Может, я уже своим набил трещину и вашим добил...

— Держи карман шире. Своим набил... ты видишь, у твоего ручка какая, как удище у рыбака болтается! Ты бьёшь, а она амортизирует словно рессора, и удара, как факта, нет. А мой?.. Насколько замахнёшь, настолько и удар — жёстко и чётко... Самое главное, чтобы сам

колун по чурке ударял на излёте, с самой большой энергией. Тогда и руки не отбиваешь, и эффект девяносто процентов!

Дед замолчал, улыбаясь и любовно глядя на свой колун в моих руках.

— Все эти выкрутасы магазинные мне известны: чтобы блестело ярче, чтобы футляр с буквами иностранными да чтобы куплен был в городе: в ГУМе или на барахолке, — он говорил это, не отрывая цепких глаз от лица, от цветной куртки и от, модных тогда, сапог-дутьшей с поролоновыми чулками — от всего меня, по его мнению, искусственного и абсолютно не пригодного для настоящей жизни.

— И это — вы, наверняка видевшие и помнящие ещё настоящее, уже привыкли жить на готовом: из магазина или чужих рук... А детей ваших, что ждёт? Думать страшно... — Он отвернулся и стал молча собирать разбросанные вокруг дрова, как бы намекая, что разговор закончен.

Я минуту постоял и пошёл в ограду тестя через калитку — вокруг...

* * *

Рубить дрова уже не хотелось и, не торопясь, я собрал готовые поленья и занёс их в баню.

Завтра с утра уезжать. И совершенно понятно потянуло туда — в шумный город, где грязно илюдно, тесно от машин и домов, наклепленных друг на друга, но где мой дом, моя жена и ребёнок и, значит, моя Родина.

Небо серело. В воздухе ожил притихший днём мороз, и запахло сладким дымом затопляемых в избах печей. День уходил также быстро и рано, как быстро и поздно пришёл, и садящееся далеко в лес солнце извинялось за эту торопливость, крася закат немного красным и золотым! Я смотрел с замиранием на эту красоту и понимал, что там, в городе, конечно, такого не увидим ни я, ни мой сын. Поняв это, ощутил тре-

вогу, словно от предчувствия потери чего-то нужного и важного.

— Значит и здесь моя Родина, если даже временное расставание с ней вызывает такие переживания. Нет, мы обязательно сюда вернёмся, и дети мои впитают в себя эту силу и красоту!..

Солнце упало в лес, и закат, остывая и покрывая серым уже бордовый запад, гас, как потухающий зимний костёр...

Утром, ещё по-темну прилетел неугомонный Лёха и я, обняв тещу и пожав руку тестю, уехал, ещё не догадываясь, что надолго...

* * *

На следующий год к родителям жены мы не ездили. И неожиданно, уже ближе к весне 2005 года, от них пришло письмо. В нём старательным, ровным почерком теща сообщала, что живут они хорошо, все живы-здоровы, только вот отец ещё в декабре повредил ногу в лесу, но в больницу не поехал. Сейчас нога его, наверное, не правильно сросшаяся в самодельном гипсе из берёзовой коры, сильно болит, не позволяя ему ходить. Ставшего от сидения дома «злым, как кобель цепной» тестя, она направляет в город на лечение в середине марта. И в конце: — Вы уж помогите мне, полечите его — дурака! А то ручьи запоют — он на одной ноге ускачет из дома! А на одной — далеко ли уйдёшь? И с тоски запьёт, наверняка... Будьте добры, дети! А денег он с собой возьмёт...

Я обрадовался, понимая, что очень интересно послушать, как сейчас идёт у них жизнь, да и вообще. И внуку пора узнать деда!

В середине марта приехал сам больной. Привезла его родня мужика, которому тесть летом помогал искать корову с телком, ушедшую далеко в лес, влекомую сладкими травами. Сама бы она не вернулась до осени, поскольку телок высасывал её, и услуги хозяйки

по выдойке молока были не нужны. Возможно, ближе к осени она бы и вернулась в деревню, если бы не была съедена волками. Но тесть с хозяином через три дня нашли их вёрст за тридцать и пригнали домой. Теперь эта услуга пригодилась!

Тесть моложаво заскочил в квартиру на одной ноге, вторую, поджимая под себя и опираясь на старый-престарый побитый костыль. Незнакомый парень занёс большой, завязанный поверху мешок и спортивную, перекинутую через шею сумку. Уходя, кинул через плечо: «До свиданья!» и исчез за дверью.

Гость стоял посреди прихожей, как пират, и вместо «здравствуйте», улыбаясь, громко рассудил:

— Во, бирюк! Это второе слово, которое я от него слышал за пять часов пути, а первое было «привет». Бывают же такие немтыри! — И он крепко левой рукой, так как правая была занята костылём, обнял по очереди меня, а затем подставившую лицо дочь.

— Ну, я к вам не надолго. Вот с ногой решу вопрос, внука понянчу и — домой. Там весенняя охота, утка на озёра падёт, тетерев затокует — нельзя сидеть! Ну, показывайте наследника по прямой! Наверно, вылитый дед, то есть я? — и он поскакал, словно не в первый раз, в комнаты...

Вечером за столом, немного сдобренным его настойками, уже поговорив о многом и собираясь расходиться спать, он вдруг вспомнил:

— Тут тебе ещё дед Коля-Комель писульку передал. Узнал, что я к вам женой назначен и притащил. Передай, говорит, зятю, пускай прочитает, а там, как решит... так что — на! Передаю. — и он протянул мне сложенный вчетверо лист.

Ночью, когда всё успокоилось, я тихонько выбрался на кухню и развернул почему то пахнущее воском послание деда Коли. Удивительно, но, ещё не разобрав букв и даже не представляя, что тут было написано, я испытал волнение, трудно передаваемое словами. Как будто

меня посвящали в какую-то тайну, а, возможно и скорее всего, разрешали заглянуть в неё... И, наверное, помочь?

Дословно:

«... Игорёк.

Это дед Коля тебя беспокоит. Мы с тобой дрова рубили, помнишь? Ноне мне уже будет 77 годов как есть и потому дело надо одно решить. Хотел Сёмке поручить но он как был несерьёзный летун так и есть (и ногу сломил — куда совсем). Ты сам приедь по теплу и тещю заодно проведаш. Всё обскажу и денег дам на это дело. Не откажи и голова стала болеть кто его знат. На всё Бога воля. Помоги. Жду. Невзоров Ник.»

Я сложил лист, но волнующее начало тайны уже прочно засело в мозг. Тихонько пробрался в спальню и, поцеловав сына, лёг. Еле уснул...

* * *

Назавтра я взял отгул на работе и утром в девять часов мы с тестем уже заходили на консультацию к хирургу. У меня есть знакомый врач, с семьёй которого давно дружим «домами», и он согласился помочь, договорившись о приёме с хирургом. Хирург оказался подозрительно молодым, но высоким и крепким, что мне сразу внушило доверие. Тесть же, ежели не лукавил, был у врача второй раз в жизни, первый раз — перед армией, поэтому улыбался и рассеянно молчал. Молчал и врач, внимательно глядя на него. Наконец у него лопнуло терпение и он необдуманно произнёс: — Рассказывайте, слушаю...

Тесть, нервно вдохнув полную грудь больничного воздуха, заговорил:

— Ну, идём мы по лесу с Саней Вороном. След-то внятный, свежий. Я ему маякнул, мол, вправо бери, и сам влево повернул. А там немного горка и колок снегом заметённый. Так на ходу и провалилась лыжа правая и, видать, в корягу... А я ходом и по инерции — вперёд, через лыжи и полетел. В ноге как хрюснет, искры

из глаз, я и осел в снег. Ни ногу вытащить, ни закричать. Впереди Ворон уже стреляет, слышу, а сделать ничего не могу. Хорошо он издали бил, да на ходу, ушёл наш трофей. Тут он меня и вспомнил, сначала, конечно, словом крепким, но, когда увидел, как я влип, извинился! В общем, ногу вытащили из снега, он её осмотрел и говорит: — Вывих!

Врач, внимательно слушавший, полюбопытствовал: — Он врач?

— Кто? Ворон? Да нет, он немного охотник. А бабка его, та — да! Знатная была повитуха и... вообще. Но её-то с нами не было, она померла уже лет тридцать как... Так вот Саня и говорит, ты, мол, мышцы расслабь, я легонько крутну и всё встанет на место. Ну, я согласился, только немного настойки из фляжки принял и готов, говорю. И, знаешь, как в воду глядел! Он как крутнул, так я и готов. Свет померк и сознанию потерял. Когда очухался — Ворон серый стоит, плачет слезами. Ну, то, сё. Сладили из лыж нарты, еле уселся я, он и попёр меня, как трофей охотничий, домой. Идёт и рассказывает, что когда сознание я потерял, он так испугался, что даже сначала хотел меня в снег глубже закопать, а бабе моей сказать, что, мол, Семён потерялся... Потом, правда, испуг прошёл у него, опомнился...

Хирург, уже не сдерживаясь, смеялся в голос, хлопая ладонями по коленям. Смеялся и я, жалея, что не распросил тестя об этом происшествии вчера...

Потом он шупал колено тестя и морщил лоб. Позвонив куда-то, вытребовал инвалидную коляску и, посадив туда больного, объяснил мне, куда ехать и что делать.

Через час мы вернулись, и войдя без очереди, я отдал ему ещё сырой рентгеновский снимок. Досмотрев очередного больного, врач вызвал нас.

Снова молчали, но теперь хирург заговорил сам:

— Я понимаю, что вы там все сами себе лекари — жизнь такая. Но то, что сначала было просто пере-

ломом, после операции вашего Орла стало переломом с серьёзным смещением. И этот перелом вдобавок сросся, как я понимаю, ещё и самодельно загипсованный? — Тесть в согласии тряс головой, всё ещё глупо улыбаясь.

— Так вот, — хирург сел, положил рентгеновский снимок на стол и внятно закончил, — нужно снова ломать, ставить специальный аппарат и, возможно, если всё получится хорошо, месяца через три Семён Аркадьевич сможет потихоньку ходить!

Тесть вылупил в испуганном возмущении глаза и, надув щёки, выпустил воздух: — Ну и ну...

* * *

Сегодня нас домой отпустили, ведь один день уже ничего не решал. Тесть, наконец, уяснил проблему и обратную дорогу молчал, морща лоб и что-то думая.

— А скажи, как это я буду три месяца лежать? Или врач меня обманул? Это же немыслимо! Ладно бы нога совсем отломилась, а то она же есть! У нас, когда я салагой был, землемеру совхозному — Лёхе Пашутову, косилкой на покосе обе ступни отрезало — еле спасли. Однако через два месяца он уже на маленьких протезах шпарил, как настоящий, и даже с работы не ушёл. В смысле его на лёгкий труд перевели — веники для фермы вязать и черенки для лопат и тяпок готовить. Но ведь он на ногах ходил, хотя, конечно, лошадь была к нему прикомандирована. А тут три месяца! И ещё, если всё хорошо...

Я не пытался его успокаивать, потому что тесть сам всё понимал, и врач объяснил доходчиво. И он, не слыша в поддержку моё возмущение, замолчал и совсем загрустил...

Дома жена моя тоже встревожилась, но уже сам тесть её успокоил: — Не переживай, Дашута, на мне, как на псе добром, всё зарастёт. Если не к весенней охоте, то к первым грибам точно бегать буду.

Мы с ним по очереди приняли ванну, и уже вечером всей семьёй сели за стол. Как ни странно, тесть выпил только рюмку своей знаменитой настойки и больше — наотрез отказался...

Когда Даша пошла укладывать сына, мы остались вдвоём, и я задал ему вопрос, который меня очень волновал:..

— Скажи, отец, а что за человек дед Коля Комель? Как то он обособленно живёт, или мне показалось?

Тестя я впервые назвал отцом и, хотя это получилось спонтанно, я заметил, что он этому как-то обрадовался. Наверное, это означало для него моё безоговорочное признание его, как старшего авторитетного родственника. Он подумал и, кивнув на рюмку, ответил:

— Ну, капни чутко, чтобы память прочистить — хмельному труднее соврать! И расскажу я тебе о деде Коле всё, что знаю, а знаю я о нём много — с самого детства его помню... — Он поднял рюмку и, сглотнув налитое, заел кусочком яблока.

— Ну, слушай. А поведаю я именно суть, ту, которая сейчас его, наверное, гложет. Но ты молчи, ведь буду вспоминать...много лет прошло.

* * *

— Помню я его, конечно, не с самого детства, а с того момента, как стал на улицу выбегать — годов с пяти-шести... Иму-то, наверно, уже было лет двадцать, можа, чуть больше. Сразу запал он мне в память здоровым, тёмным в волосах и громким. Деревни только поднимались после войны, и молодёжи в то время было мало — вся военная. Это если мне было в писят пять лет, то ему... с тридцатого года — двадцать пять!

Тесть, запутанный подсчётами, облегчённо вздохнул, и посмотрев в раздумье на рюмку, продолжил, махнув рукой:

— Почему его в армию не взяли — не знаю, но охотились они по той поре знатно. И на медведей, коих раз-

велось за войну у нас, и на волков, да и сохатых били каждую неделю. А это в ту пору большой задел был для голодной страны. И получилось, что он там главным стал, можно сказать первым. Ведь в основном, ещё до окончания войны, с ним в лес одни бабы ходили, тоже конечно отчаянные, однако бабы... По завершению войны совсем мало кто вернулся, а кто вернулся — то простреленный в решето, то хромой или безрукий... А он смелый, здоровый, как сам медведь, кровью тайгу понимал, ещё и удачливый, говорили! Но, дело молодое, нарасхват парни шли, хоть и грех, а куда деваться. Вот и у трёх молодых вдов почти в одно время пузы показались. И вроде одни живут, и парней нету, а тут — гляди! Но к нему без претензий. Да и кто мог тогда ему что против сказать — не знаю, был он, правда, силен и суров. И чтобы было тебе понятнее — одиннадцать медведей он ножом и рогатиной взял только в одну зиму, на десятый год после войны! Это как развлечение у него было, игра — таёжная рулетка, хотя оружие выдавали им хорошее, через заготконтору...

Тесть вдруг замолчал и, извинительно помолчав, добавил:

— Что-то меня в сторону от темы понесло. Ну, да ладно, кáпни ещё для красноречия... — он легко опорожнил рюмку и, поковыряв вилкой в тарелке, продолжил. — И вдруг он женился! Мне уже лет семь-восемь было, совсем по тем временам здоровый, понимал всё. Так вот Оля — жена его неожиданная, была просто сказкой лесной, царевной. И красотой удивительна, и характером покладиста, и работающа! А что самое то обидное для многих — совсем молода. Было ей в ту пору конец семнадцати, начало восемнадцати годов. Но влюбилась она в него, как лебёдка в лебедя влюбляется — на всю жизнь. Прошли у них праздники свадьбы, отшептали ночи страстные — пора ему в лес. Ну ушёл, так она, пока его неделю не было, места себе не находила, мучилась. А как он пришёл из тайги, говорит ему, мол, всё,

только с тобой. Он как бы вначале — нельзя, то да сё. Только она не отступила. И стала с ним ходить в лес, как помощница, загонщица и даже стрелок... — Тесть опять остановился и, посмотрев на часы, засомневался, — завтра вставать же рано, может, спать пойдём? Потом доскажу?

Я не согласился: — Ты, отец, в больнице на год вперёд отоспишься, ещё устанешь. Давай доведения историю...

Он подморгнул мне и продолжил:

— Ну, год проходили, слава Богу. А на зиму затяжелела она. Пока было не видно, никто и не знал, а на Рождество, приметив её в новом деревенском клубе с хорошим брюшком, зашептались — всё, нужно Николаю нового помощника! К тому и шло. Однако в феврале уговорила она его в последний раз на медведя сходить вместе. А что? Медведь для него, что мне теперь заяц, наверно. Вот он и решил посвятить медведя будущему сыну. Дальше расскажу, как люди говорили потом. — Тесть смахнул со лба капельки пота и, хлебнув остывшего чая, продолжил:

— Лёжки медвежьи он, считай, все знал наперечёт, даже, где какой зимует. Вот и выбрал самца поматёрее. Натоптал себе место около огромной сосны, рогатину крепкую срубил, нож удобно на ремне расположил. Ольгу же с карабином поставил метрах в двадцати сбоку, именно чтобы смотрела, ведь в себе он был уверен на сто процентов. Будить матёрого долго не надо, и уже через две минуты он стоял спиной к сосне с ножом наизготовку, упирая рогатину в основание дерева. Но... вот же судьба-злодейка! Медведь, сразу из берлоги, несколько минут на солнце ничего не видит и поэтому сначала рвётся на голос и запах. И, хотя Николай орал, материнский запах Ольги матёрый почуял быстрее, ведь стояла она по ветру к берлоге. Поэтому слепой от солнца медведь встал во весь свой огромный рост и, маша лапами, пошёл на Ольгу.

Охотник, бросив ненужную рогатину, кинулся за ним, взревев громче медведя... В общем, выстрелила Ольга, когда медведь был уже в метре от неё и, на их счастье, попала ему прямо в сердце. Но он по инерции сходу упал на неё, вдавив девушку в снег, чем спас её от когтистых лап, конвульсивно режущих наст. Николай молниеносно прыгнул на матёрого со спины и, одним ударом ножа перерубив ему лён, перевернул полутонную тушу, как мешок картошки. Ольга смотрела на него почерневшими от ужаса глазами и молчала, даже не заплакав. Когда он притащил её на нартах для перевозки мяса домой, Ольга ночью скинула младенца, уже сформировавшегося мальчика, умершего ещё во чреве.

Тесть, разволновавшись, рассказывать больше ничего не стал. Взяв с него обещание закончить рассказ, как только приеду к нему проведать в больницу и подсобив доскакать до туалета а потом в комнату, сам тоже ушёл спать. Представив себе, что испытала юная женщина, когда на неё навалилась стопроцентная смерть, ощутил на затылке дрожь от страха:

— Неужели это возможно пережить?

* * *

Рано утром я завёз тестя в приёмный покой и вручил ему сотовый телефон жены.

— Это — связь. Ты здесь надолго, а мы постоянно быть около тебя не можем. Поэтому по вечерам, допустим, в восемь вечера, будем созваниваться, а, как возможно, я заезжать буду. Всё, не грусти и слушай врачей!

Я быстро вышел из больницы, а тесть, сразу став ребёнком, махал мне, прощаясь, рукой через большие окна приёмного покоя...

На работе часто вспоминал историю, услышанную вчера от тестя и отвлекался, что очень злило. Решил, что в первый же выходной поеду в больницу и дослушаю рассказ, а с другой стороны уже думал, что нужно

всё же съездить в деревню, к самому деду Коле. Что его вдруг так беспокоило, если он просит о помощи почти незнакомого человека.

... Вечером звонил в больницу. Бедного тестя трудно узнать, больница полностью его поглотила. Жалуется, что даже окна открывать нельзя (и это в конце марта, когда он уже на ночь дома почти не топит) — вокруг старички и инвалиды. Нос, говорит, ничего не чувствует совсем, хотя в тайге запах лося чувствует за километр. И нога вдруг заболела, и шум постоянный, и в туалете тошно до слёз. Еле успокоил, обещая завтра заехать. Уже перед сном он звонил сам и сообщил, что назавтра назначена операция.

— Так что пока ноги не бей. Как приду в себя после наркоза, позвоню — прибежишь. Я этот аппарат уже совсем освоил — полезная вещь, жалко в тайге такого нет пока, очень бы удобно было... — Он ещё хотел много сказать, но я сообщил ему, что разговор идёт за деньги, и он моментально отключился...

* * *

Операцию ему сделали в четверг. В пятницу заехать к нему не смогли, а на субботу у меня дежурство ночное на работе — за отгул. Но жена, сходяв с сыном к нему в больницу, сообщила, что он ждёт меня с нетерпением. В воскресенье, ближе к обеду, собрался к нему и я. Тесть уже лежал в общей палате на большой, медицинской кровати около окна. Нога, задранная тонким тросом немного вверх, была веерообразно протыкана тонкими железными стрелами, соединёнными в круг.

Увидев меня, он попытался улыбнуться, но это плохо получилось, и на глазах неожиданно заблестели слёзы.

— Видал, какое колесо прилепили? Я думал, там загипсуют чего, замотнут, пускай побольше... А тут они меня вообще привязали к койке, — он с обидой откинулся на приподнятую спинку кровати и замолчал.

Я сел рядом на стул, положив ему на столик гостинцы, собранные женой. Тесть посмотрел на это с иронией, заметя:

— Есть, тоже не буду! Я же вставать не могу, понимаешь или нет? Неужели такой глупый?

Я, действительно не понимая, пошутил:

— А ты лёжа ешь, стоя совсем не обязательно...

— Да? А в туалет потом как? Ползком? Мне же тоже лёжа придётся, вон как соседям, — он кивнул головой в сторону лежащих в гипсах больных, — а девчонки-санитарки совсем молоденькие, охота им на всё это моё смотреть...

Я понял, о чём он говорит и, как мог, понимая, как это действительно для него болезненно, успокоил.

— Это работа у них такая, здесь ничего не попишешь... да и, наверно, мужчины есть тут, санитары. С ними -то проще.

Он немного успокоился и я, поговорив о всяких глупостях, попросил его досказать о деде Коле.

— Что? Интересно? — Тесть вдруг заговорил о нём как то зло или, скорее, не по-доброму, — А интересного-то мало. Загробил девку и — всё. Она враз, буквально в месяцы из девчонки превратилась во взрослую женщину, нелюдимую и одинокую. Буквально, словно в схимну какую вступила... Теперь только увидишь её, как по ограде промелькнёт в чёрном, им к тому времени заготконтора дом построила как лучшим охотникам, и нету её опять целый день. И в магазин только он приходил всегда, большой и угрюмый, брал сразу много муки, соли, сахара, консервы какой и по мелочам там чего. В два мешка слаживал, между собой их связывал и хлоп на плечо, словно баба коромысло с ведёрками, и прёт домой. И опять нету их неделя-две на глазах у людей. Во как! А жизнь-то в деревне в то время ох и весёлая была! Люди радостно жили, трудно, но радостно! И не голодно уже было, и совхоз у нас организовали чуть позже. Дичь,

правда, дальше угнали в тайгу, но и без этого хватало, кто хотел и умел работать.

Тесть замолчал и, наверное, решил что-нибудь повспоминать про себя, но я, раскусив его, опередил.

— Дак чем всё кончилось у них-то? Дальше как стало?

— Что у них, да у них? Так и жили скрытно и не поймёшь как. Батя мой, я, да мать наша свой дом около их усадьбы построили, и поэтому они постоянно на виду у меня были. И вот однажды, мне уже лет восемнадцать было, смотрю, тётя Оля беременна, ну, пузо у неё большое. Это при том, что после первого ребёночка, уже лет десять, может, одиннадцать прошло. Не могли ведь! А тут она одёжу чёрную сняла и расцвела прям как-то, и здороваться стала через ограду. И Николай как-то стал нас замечать и даже заговорил раз со мной. Я от неожиданности чуть с брички не упал, но удержался и ответил. И постепенно стали мы общаться с соседями... Не так чтобы в гости, а через забор — здравствуйте, как дела, то да сё. И тётя Оля даже иногда смеяться стала, а хозяин бросил охоту и в совхоз на пилораму устроился. Вот и всё, и зажили как люди. Оказывается, что они и так могли, только терпели долго... — тесть замолчал и, кашлянув, попросил воды. Я открыл ему бутылку минералки, разочарованно протянул.

— Ну, а где же здесь тайна? Всё встало на свои места. Просто люди отчаялись в ожидании ребёнка, вот и вся недолга...

Тут зашла санитарка и выгнала меня, сославшись на то, что надо больным делать процедуры и перевязки. Собрав всякие коробочки из-под закусок, я уже выходил из палаты, как хитрый тесть не громко воскликнул:

— Ну, это ещё не конец совсем... По правде, это только начало, самое-то главное впереди. Давай, как будет время, заходи — дорасскажу уж самое интересное в этой истории. А оно ещё впереди...

— Вот ведь лис хитрый, — понял я тестя, — видит, что некогда совсем, но правильно вопрос ставит. В любом случае придётся прийти, теперь уже история не отпустит...

* * *

Неделя пролетела незаметно. В пятницу вечером, распариваясь в ванной, я вдруг подумал о времени:

— Вот интересно, если убрать из жизни все календари, численники, всякие там ежедневники, исключить упоминание о днях на телевидении, радио и т.д., то сможет ли человек контролировать прожитые даже самым годы? Ну, вот вчера ведь вышел утром на работу — понедельник, работаю, что-то догоняю, что-то или кого-то жду, разговариваю с людьми. Но, чтобы ни делал, все дни, за малым запоминающимся исключением, сливаются в один. И если этого, особенного исключительного нет, то вся неделя сливается в один день! И ведь именно потому детство кажется долгим, что каждый момент отличен от другого — с другими мыслями, с другим настроением. А ты с каждым часом прогрессируешь, растёшь, запоминаешь почти все моменты и действия и, складывая потом это во времени, получаешь длинный, насыщенный и отличный от других, день... Ну а во второй половине жизни занимаешься в основном чем-то давно знакомым, рутинным, не требующим никакого напряжения, ни физических сил, ни моральных, ни слишком интеллектуальных... И всё идёт на самотёк, как вода в тихой равнинной реке...

Неприятные мысли поразили своей неизбежной действительностью. А может это город? Ведь я же знаю, что вдали от цивилизации человек постоянно вынужден самой жизнью бороться за своё существование. Конечно, где-то меньше, где-то больше. Но в основе своей жизнь села и деревни — это борьба, а борьба — это жизнь! Но ведь и здесь я борюсь за своё благополучие, немного по-иному, но суть та же!..

Эх, доработаю до пенсии, начну читать больше, может, ездить в неизвестные страны, а может, книгу напишу... Посмотрим...

* * *

Тесть меня встретил обиженный.

— Среди недели что? Совсем нет времени навестить? Хоть ненадолго. Я уже совсем прокис и телом, и мыслями. Только и делаю, что в окошко гляжу, дак и то хорошего мало...

— А что так? — Я распаковал переданные женой медицинские салфетки и обтёр раздевшегося и помогавшего мне с нетерпением тестя.

— Да то! Всю жизнь бежал, а вот стоило остановиться, так стал опять о ней же, о жизни и думать. Ведь получается, и я не очень, слава Богу, живу, если сын мой от первой бабы совсем забыл, что я ему отец. Грустно и немного обидно... — Тесть с усилием старательно приподнимался на руках, чтобы я достал салфеткой места, куда он сам дотянуться не мог.

Я не показал вида, что удивился, хотя совершенно не знал об этом. Не зная, что сказать, сказал первое, что пришло на ум: — Может, нужно встретиться с ним, поговорить? Кстати, я даже не знал об этом. Это секрет? И где он живёт? В вашей деревне?

Тесть надел чистую футболку, укрылся по пояс простынёй и, сложив руки на живот, ответил:

— Нет, в соседней деревне с матерью, моей, понимаешь, первой женой. Я на ней за сорок дней до армии женился. А через год, уже в армии, письмо от неё получил, что меня они с сыном не любят, и что теперь замуж она выходит по любви. Я даже не поехал к ним после армии — запретила строго-настрого. Только в сельский совет зашёл, печать в паспорт поставить, что разведён и — всё. И заново всё начал, с чистого листа.

— Ну, а что тебя мучает? По-моему, сделал всё, как

она захотела. И сын, наверное, тебя не знает. Тот мужик — ему отец!

Тесть посмотрел на меня и грустно ответил:

— Я тоже так думаю, только вот здесь, — он приложил здоровую пятерню к груди, — всё чаще ноет. Больно! — Он немного помолчал, — эх, чичас бы настоячки на берёзовых почках, с духом леса берёзового или на кедровых орешках — с духом тайги! То и другое допускаю, когда душа скулит...

Он немного помолчал и снова заговорил, понимая, что я жду именно продолжения рассказа о дедке Коле!

— Родила она, Ольга, дочь. Я-то в армии был, но мать писала, что сосед от счастья, словно и не ходит уже — летает! Всё сам делает, вроде как даже сам бельё стирает. — Тесть снова помолчал для убедительности, посмотрел на часы, в окно и, разгладив простыню на животе, продолжил:

— Лет сколько-то можно пропустить. Я шибко за ними не следил, да и своих дел — завались... Пришёл из армии, женился, дочь родилась. Родители мои уехали на Родину к матери, на хутор под Краснодаром. Я дом наш выправил, кой-что переделал в нём под себя, и стали жить-поживать с твоей тёщей и с дочей. В общем, своих дел по горло — чтобы в чужие лезть. Иногда только жена про соседей рассказывала : всё больше про дядю Колю, да про дочь его — Алёнушку. Дескать, любит он её больше своей жизни и дал зарок, что она ни в чём отказа знать не будет. И чтобы она ни захотела, любую глупость или, наоборот, что серьёзное, кровь из носа, он для неё делает или достаёт. А живём-то, сам видел где, со всех сторон до цивилизации только на вертолёте. Тем более в то время. Но он её баловал — это точно. Ну и что скажешь? Вот и я говорю, нельзя так. И стала она уже годам к пятнадцати прямо цаца, королевна — не меньше. Огорода не знает, корову не умеет, хозяйство презирает. И запросы

растут! А тут начало девяностых, что там в Москве творится — не понятно, а здесь совхозы разваливаются, кто чё говорит. По телевизору одно, по жизни другое. Ну, а мы далеко от власти большой, и хотя почти всё прекратило работать — тайга кормилица осталась. Вот все мы, кто жить хотел, в неё и нырнули. А дед-то, уже сам не в силах тайгой плотно жить, так он стал у себя богатых охотников привечать. Приедут такие на здоровых машинах, толстомордые и наглые. Он с ними — на иностранные снегоходы, если зима, или на джипе, если лето, и показывает, где, по его наблюдениям, зверь нужный есть. За это ему и платили, причём очень хорошо. Ну, через это и беда самая большая произошла в его жизни...

Я немного растерянно перебил тестя:

— Ну, вот смотри, опять беда. Что ещё-то может случиться? Он уж и так через всё прошёл.

Тесть, не выдавая своих чувств, повысив голос, договорил:

— Всё, да не всё. С одним из таких хозяев жизни его любимая дочь, его последняя надежда, его сказка Алёнушка и убежала! Убежала, не подумав ни о нём, ни о матери, ни о чём больше...

Тесть замолчал, и в палате стало тихо, словно все спали, причём затаив дыхание. Я понял, что, наверное, все ждут продолжения, какое-то объяснение или хотя бы предположение. Но тесть, теперь уже точно закончил:

— И с тех пор никто, ничего о ней не знает! Через скоко-то лет умерла от тоски Ольга, не дождавшись известий от дочери, сам дед Коля-Комель ещё живёт и, наверное, ждёт. — И, обращаясь к своим соседям по палате, тесть пообещал: — Лежать нам здесь ещё долго, так вот Игорю дед приглашение передал. Наверное, хочет ему что-то рассказать про это дело. Давайте попросим его, если дед расскажет ему свою тайну, чтобы он ею с нами поделился.

Больные в палате зашумели ободряюще и просяще, и я согласился, если повезёт — поделюсь. А ехать я назначил себе на следующую неделю — надо же и тещу проведать, она уже волнуется, наверное...

* * *

На машине я, конечно, не рискнул. И, понятно, не потому что боялся весенних метелей, а наоборот — тёплых дней. Набитая за зиму дорога, в январе спокойно держащая всю технику, после первых тёплых, весенних дней становится настоящей ловушкой для машин, глотая их по самые окна! И вырваться самому, нет никакой возможности — снег, как масло. Также и с людьми. Зная все эти нюансы весны, я опять обратился к Лёхе, который обрадованный встречей, конечно, не отказал. И уже часа в два я зашёл в дом, обрадовав до слёз тещу.

За столом, собранным скоро, но обильно, теща, выслушав все мои новости, включая рассказ о тесте, вдруг вспомнила:

— Тут, на моё удивление, вчера сосед приходил. Встал и молчит, как истукан деревянный, глазами только жжёт. Я грешным делом подумала: узнал, что Сёмку в больницу увезли и припёрся по «мужицкому» делу. Прямо вспотела. Уже глазами пестик нашла на полочке у печки. Думаю, тоже грех, но того греха не допущу.

Она засмеялась вдруг по-молодому звонко и задорно, не закрываясь, как деревенские бабы, руками, показывая красивые целые зубы!

— А он стоял, стоял, да как заскрипит, словно ворот колодезный засохший, ажно дрожь по телу:

— Когда зять приедет, пошли его ко мне. Дело есть серьёзное к нему, — и опять стоит. А у меня язык отнялся. И сказать хочу, и не могу. Еле выдавила из себя, — Хорошо. — Он зыркнул ещё по мне глазами и вышел, плотно дверь затворив. Тут у меня ноги и

отнялись, упала на стул и не знаю плакать или смеяться.

Она ещё поулыбалась и стала убирать со стола. Я поблагодарил её за обед и пошёл во двор, надеясь попасться на глаза деду.

* * *

Весна в деревне и в городе — это совершенно два разных состояния природы! Городская весна — ранняя, суетливая и быстрая. Тысячи тонн снега, перемешанные с тысячами тонн грязи, дорожной соли и химикатов, приходят в жидкое состояние уже в начале марта, при первом солнце. Влажный воздух, наполненный автомобильными выхлопами, становится видимым и серым, приобретая даже определённый химический вкус и запах... И весь этот «коктейль» прокисает, отекает, шипит и пенится, как в скороварке — неудержимо быстро и не интересно... В начале-середине апреля уже по разогретому асфальту — пыль, а во дворах за домами — огромные, как мифические черепахи, кучи снега под чёрными ледяными панцирями и серые от въевшейся в кору пыли деревья, не знающие, как себя вести... И это не абстракция, а реальность многих российских городов.

И весна в деревне! В марте ещё ничего не тронута солнцем, и только торопливые хозяева оголяют крыши, боясь, что их продавит тяжелеющий снег. Конечно, дороги и тропинки, прогреваясь, осаживаются, напитываясь влагой, не просачивающейся ещё в стылую землю. Нагреваются южные стены рубленых домов, и суетливые воробьи и синички, прилепляясь к брёвнам, греют свои птичьи душонки, настуженные за долгую зиму! И длинные сосульки, чистые, как стекло, растут быстро к земле с видимой, сочащейся по ним талой водой так, что даже взрослые соблазняются иногда отломить на ходу от такой осколок и сунуть в рот этот кусочек весны! А в полях вокруг деревни снег лежит

ещё не тронутым , отражая своей чистотой тёплые касания солнца...

И только в апреле, к Благовещенью начинается зарождаться новая жизнь, сопровождаемая радостным шумом природы, втягивающим в себя и одновременно заполняющим всё вокруг. И только тогда — весна, неотвратимая уже и назревшая, как беременная новой жизнью... А грязь? Так «чем гуще весной грязь на порог, тем полнее у мужика осенью зерна в коробок!» Так то...

* * *

Дед, ничего не зная о моём приезде, словно ждал у окна. Стоило мне выйти во двор и пройтись по широкой ограде, радуясь солнцу и настоящему теплу, как хлопнула калитка, и, обернувшись, я увидел его.

Господи! Я не видел его два года и почему-то помнил его именно здоровым в физическом и духовном плане мужиком, нисколько не сомневающимся в завтрашнем и даже в последующих днях. Сейчас эта уверенность, точнее внешний вид, который она даёт, пропала. Передо мной стоял просто старик, немного растерянный, как многие из них, с чуть согнутой возможно болезнью, а возможно привычкой, спиной, и с бегающими, не стоящими на месте глазами. Я сделал шаг навстречу и, радостно здороваясь, протянул руку, которую он опять же осторожно пожал. Помня предыдущее пожатие два года назад, я даже немного испугался — дед, несомненно, больной! Рука была холодной, неприятно липкой и дрожала, выдавая поселившуюся в нём слабость.

Я вспомнил тётчин рассказ о нём и удивился. Неужели он так может притворяться, или она, с испугу, продолжает видеть в нём грозного и сильного мужика? Дед сразу спрятал отпущенную мной руку в карман и, посмотрев на меня, наконец, заговорил:

— Хорошо, что приехал. Правильно... родне надо помогать, это уж точно. Ну и у меня к тебе есть, что

попросить. Ты сможешь ко мне зайти на часок-другой по делу? Желание есть — могу баню истопить, попарисься.

— А ты не хочешь, что ли? Тёща говорила, почти каждый день топил в позапрошлую зиму...

— Ну, было — было и прошло. Сейчас не могу пока. Так ты придёшь или как? Дед, теперь подняв плечи и как-то выпрямившись, взглянул на меня непонятно, но абсолютно не просяще. Так смотрит раненый зверь, загнанный в угол, предчувствуя скорую смерть, но, не боясь этого и, уж тем более, не раскаиваясь в том, что он — зверь. Глаза его не по-старчески ясные, тёмно-серые, остановились на мне, и я почувствовал в нём именно ту силу, неотступную и идущую до конца, которая заставляла бежать от него медведей в тайге.

Поборов в себе неуют и стараясь быть спокойным, я согласился:

— Приду через полчаса, тёще скажу, чтобы не потеряла, и зайду.

Комель развернулся резко, почти на месте, и уже не опуская плечи, быстро пошёл из ограды, стараясь ступать прямо и надёжно. Открыв калитку, обернулся и переспросил:

— Так баню будем затевать или уж так посидим, по-соседски?

Я стряхнул с себя оцепенение и, стараясь казаться весёлым, прокричал:

— Да, ладно, я шибко нигде и не замарался. Давай по-простому посидим...

Старик, не дослушав меня, но в знак того, что услышал, махнул рукой и ушёл по улице за постройки.

Странно, но я сам не понял, почему не пошёл к нему сразу, словно что-то не важное, уже не очень обязательное было в его просьбе, или, может быть, нежелание обременять себя тайной, так или иначе повлиявшей на жизнь его семьи? Растерянно я зашёл в сени и понаблюдал через большое окошко, как он поднялся

по высокому крыльцу в свой дом. Не заходя , как отговаривался к теще, я снова вышел и обречённо пошёл к соседу.

* * *

Взбежав на высокое, в четыре ступени, крыльцо, потянул дверь на себя. Не тут-то было! Дверь открывается вовнутрь! Человек, по роду занятий зимой ночевавший в лесу, в охотничьей избушке на заимке, не поставит уличные двери открывающимися наружу! Бывает зимний разыгравшийся ветер надувает за ночь в лесу метр-два плотного снега, хороня под собой лесные небольшие строения. И, если дверь открывается не во внутрь, не сможет человек выбраться. Хорошо, если есть оконце, через которое можно выбраться, а если нет — беда! А профессиональные охотники не могут уже разделить тайгу и другую жизнь...

Заступив за дверь, понял, что это не вход в дом, а метра полтора до входной двери, но шириной по всему дому, прирубленные сенцы. Испокон веку они заменяют жильцам и холодильник с осени до весны, и дровник с запасом дров на «случай», и вообще склад, где у хорошего хозяина можно найти всё.

Два зарешеченных окна с обеих сторон давали вполне достаточно света и я, как можно увереннее, постучал в довольно широкую, но непривычно низкую дверь. В доме, словно ждали. Ответ прозвучал моментально, ещё не стих гул от ударов. Я дёрнул дверь на себя, и она легко для своей массивности открылась. Переступив высокий порог и, одновременно склонив голову, боясь шоркнуть ею о притолоку, вошёл в дом. Получилось, что я как бы склонился хозяину в приветствии.

Дед стоял посреди комнаты и неожиданно радостно выдохнул:

— Ну, слава Богу, решился. Садись!

Я, стараясь не спешить, снял куртку, сапоги, пятернёй взлохматил волосы и только потом сел на крепкий, тоже самодельный стул. В ту же секунду из-под стоявшей вдоль стены, прикрытой рогожей лавки вынырнуло лохматое существо и быстро, как змея, подползло к ногам. Я от неожиданности поднял ноги, испугавшись не на шутку. Дед, увидев это, поспешил успокоить:

— Не пугайся! Это Змей — мой кот!

Я, опомнившись, опустил ноги и действительно увидел кота, но очень необычного. Задних лап у него почти не было. Вместо лап были видны два двухсантиметровых обрубочка, которые шевелились, имитируя своё предназначение. Предвидя вопрос, дед, опережая, рассказал:

— Два года назад, осенью капкан поставил на хоряка, к курам нырявшего... А про него забыл, что выпустил во двор мышей послушать. И, как уж не знаю, но влез он в капкан обеими задними лапами. Было бы это на улице, замёрз бы, конечно, а тут в стайке, тепло. Поэтому он так крутился, что лапы открутил напрочь. Я когда его нашёл, они уже на шкурках держались... Ну высвободил его чуть живого, домой занёс, да ножницами овечьими лапки ему и отсёк. Сначала, правда, в валенок его запихал, чтобы он меня передними не изодрал. Ну, отсёк, зелёной прижёг, чуть бинтиком замотнул, чтобы кровь остановилась, и сунул потом под кровать в гусиное гнездо. Думал сдохнет! А он — нет, через три дня вылез живой и вполне здоровый... И вот с той поры, как змея ползает, но так это ловко научился, что совершенно спокойно и мышей, а когда с тоски, и воробьёв ловит!

Наклонившись, я погладил кота и тот, мурча, упал набок, подставляя, как и все кошки, живот. Задние лапки были еле видны из-под шерсти. Зато передние — крепкие и широкие, явно по силе замещающие недостающие. Дед, скорее, чтобы я не отвлекался, кыснул, подманивая его, и кот, действительно, по-змеиному,

быстро шмыгнул в его сторону, скребя когтями пол и, словно замечая след, болтая из стороны в сторону хвостом...

* * *

Старик явно не знал, как начать разговор, суетливо выставляя закуски. Алкоголь я исключил сразу, поэтому на столе остались сушки, баночка с тёмным мёдом и старый тяжёлый чайник с заваренным, наверняка лесным, чаем. Он налил себе, давая мне понять, чтобы сел за стол, и дождавшись, когда я также хлебнул чаю, начал:

— Я вот к тебе по какому вопросу. Нужна мне помощь, в поиске одного очень важного для меня человека, — он неожиданно зашмыгал носом, но сдержавшись и окончательно решившись, выдохнул из себя, — дочери!

Я понимал, что он наверняка не поверит, что мне ничего не известно о нём и об их семейной ситуации.

Действительно, немного помолчав и, наверное, собравшись с мыслями, дед, уже не останавливаясь, начал:

— Я не буду тебе всё пересказывать — ни к чему, да и долго, — только исполнилось Алёнушке шестнадцать годов. И не мог я ей ни в чём отказать — любил больше жизни. Поэтому помогал я богатеям и людям отчаянным, что в то время, в девяностые, было одно и то же, на охоте вольной за деньги. Купить лицензию на любого зверя для них было делом пустяковым. Но найти того зверя надо суметь. Ни медведь, ни лось дураку или неумехе не покажется, а настоящих охотников — раз, два и обчёлся. Ну а я ещё во всей силе был, любого зверя за десять вёрст слышал. Ну, вот и так...

Старый охотник на секунды замолчал, держа стакан с чаем в чуть трясущейся руке, морща вспотевший мелким бисером лоб и, преодолев неожиданную боль и слабость, продолжил:

— В конце девяностых, где-то в шестом, приехали человек пять. И лицензии у них на медведя и лося. Деньги хорошие посулили, ну я и согласился. Переночевали они ночь у нас, в бане попарились, за столом посидели, правда, без сильной пьянки. Всё, как всегда, ни больше, ни меньше. А утром, только километра два отошли, один из них, парень лет тридцати, Иваном звать, ногу подвернул. А нам ещё до Салаира, где зверь будет, день идти, а там неизвестно что. Вот и решили, что он обратно вернётся и в город уедет, а мы до первого зверя добираемся и бьём, кто попадётся... Я-то понимал, что люди это проходящие, и на свои хорошие места их не повёл. А по незнакомой мне стороне проходили мы почти три дня и лишь случайно небольшого косолапого взяли. Но и тому были рады, все устали, злые... Домой пришли — а Ваня этот у меня в доме живёт, нас дожидается! На ножке бантик намотан, морда скучная, говорит, уехать не смог... А я смотрю, баба моя угрюмая, не улыбается даже. Ну, думаю, испугалась, что долго нет, запсиховала, так бывает в жизни. Ну, проводил я их. А этот Ваня говорит:

— Жди меня, дядя Коля к октябрю. Приеду я судьбу свою испытать, на медведя пойду с ножом...

Я, правда, слова его мимо ушей пропустил, да и замотался до слёз... Ну, а когда утром проснулся, мне Ольга всё и высказала! И как пришёл он, и как стал с Алёнушкой разговаривать да улыбаться. На машине своей катал везде, даже в город ездили. Ох, и взбесился я, как медведь разбуженный, плачу от злости, губы кусаю. А дочка — сказка моя, звёздочка ясная, личико подняла, и: — Люблю! — говорит. И стоит на своём, глаз не отводит — не привыкла уступать нам ни в чём. Вот и всё...

Комель прикрыл глаза и, поднявшись, достал из шкафа бутылку с чем-то чёрным. Вырвав пробку, сделал два больших глотка и, словно задохнувшись, запив

водой, сидел минуту с закрытыми глазами, сжав добела кулаки.

Я, внимательно его слушавший и следивший за его поведением, теперь убедился — дед болен. Своё лекарство он сглотнул, когда терпеть, вероятнее всего, было невтерпёжь. И то, что «лекарство» ему помогало, тоже было заметно. Он ещё некоторое время сидел, скукожась, но ходившие по скулам желваки исчезли, на лбу выступил пот и расслабленные руки снова затряслись.

— Вот же беда, — Комель виновато взглянул на меня и, оправдываясь, добавил, — ты не гляди так — это нормально. Это мне за всё наказание Господне! Кабы не такое дело, может и не сподобился бы обратиться к тебе... Ну ладно, слушай дальше... Вот и решился я на грех! Не мог понять и допустить, что дочь моя достанется уже взрослому, избалованному женщинами и деньгами да к тому же живущему под постоянным прицелом сильному, но бандиту. Не про то мечтал, таскаясь по тайге круглый год, не так представлял её будущее, горбатясь на пилораме, как батрак... И ни за что не смирился бы! Ни за что!

Он окончательно пришёл в себя, сел удобнее и, снова налив себе чая, зачерпнул ложкой густой и пахучий, явно, дикий мёд.

— Угощайся, такого ты нигде больше не попробуешь — верь! Я осенью две недели бродил по тайге, пчёл караулил. Лучше такого мёда нет!

Ваня этот появился неожиданно. Как обычно, на огромной машине, с друзьями такими же, как и он сам, громкими, уверенными в себе. Я никогда никого не боялся, не сомневался в моих словах. И, доведись до меня, прострелил бы его, как куропатку, или, правильнее сказать, как медведя сонного. А как потом семья моя жить останется? Они же ни за что не отпустят, точнее не простят. Но тут мне улыбнулась удача. Вечером, после бани они все сидели за столом, пили

пиво из железных баночек, которое даже по запаху мочу лосинную напоминает, вкуса не знаю, и разговаривали. О чём, точно сказать не могу, но он подозвал меня и говорит:

— Пришла мне пора экзамен сдать на силу духа, во как, дядя Коля! Много я уже дел учинил по жизни, и скоро будет про меня разговор серьёзный. И чтобы подтвердить своим пацанам, что не ботало, решил я медведя в тайге ножом победить, в честном бою, где шансы у нас с ним равные!

Сказал он это, а у меня душа запела. Вот шанс раз и навсегда решить проблему с ним, и к тому же ещё его же руками. Дело в том, что медведь медведю рознь! В основной массе «хозяин» у нас небольшой, гонимый. Леса отступают, корма ему всё меньше. Лося или оленя, что послабее, человек сечёт, а матёрых — пугливых и сильных — не всякий медведь добудет. Поэтому в основном «хозяин» сейчас мелкий, не страшный. Но я-то знал, где настоящего поднять, я его уже лет шесть наблюдал, как только он от матери ушёл. В те места всегда осенью пробирался и видел, что растёт гигант, настоящий «хозяин». И в ту осень он перед лёжкой должен килограмм шестьсот, а с жиром накопленным и семьсот с гаком набрать! А это уже медведь, которого нужно уважать и остерегаться. Вида не подаю, начинаю торговаться для заманухи. Он, дерзкий и уверенный в себе, согласился на мои условия. Вот мы как договорились: с утра на машине едем, пока тропа позволяет, потом пешком — это километров ещё сорок-пятьдесят, а там — по обстоятельствам. Но если будет медведь, гоню на Ивана. Друзья, все вооружённые, в зверя не стреляют. И только если он заламывает смельчака, тогда все, кто могут, выручают. Но я-то знаю, что если такой медведь дотянется — помогать бесполезно...

А он после уговора смотрит мне в глаза и говорит, улыбаясь:

— Шкуру медвежью к ногам твоей дочери брошу... И руки её у тебя попрошу...

Меня всего жаром обдало, и, если были сомнения, то после его слов пропали. Вернуться на ногах он не должен!

Старик встал и, налив свежей воды в чайник, поставил его кипятить. День серел, и стало казаться, что на улице непременно холодно. Посмотрев в окно, увидел на крыльце своего дома тещу и, выскочив на крыльцо, прокричал ей, что приду поздно. Она с пониманием откликнулась..

— Ну и ладно, пообчайтесь, если заделесть! Я, перекусить если что, на столе под рушником оставляю, сама спать буду. И свет не погашу пока, а то убьёсся об косяк...— Она, довольная собой, зашла в дом. Я вернулся к деду.

* * *

— Выехали мы ещё потемну, рано. Видимая тропа тянулась километров тридцать, потом перешла в еле заметную, но мы ещё с час ехали, кружа в поисках проезда. Потом, устав от болтанки оставили машину, и уже я повёл охотников вглубь, в сторону Салаира, на цветные издали, покрашенные осенним огнём кряжи! Я знал, куда идти и уже к темноте мы были в нужном районе. Тёплая осень позволяла переночевать, не разводя костра, что с большим натягом, но всё же давало шанс, быть не слишком заметными. Утром быстро позавтракали и снова в путь. Часам к одиннадцати были на месте. На протяжении всего пути я заметил три или четыре места присутствия «хозяина». Но это были, по моим наблюдениям, не совсем крепкие или молодые особи. Теперь же я видел, что мой «старый знакомый» жив-здоров и чувствует себя вполне прекрасно, в чём убеждали высокие, не ниже двух метров, порезы на деревьях и частые клочья шерсти на густых кустах дикой малины или ранета... Наконец, я нашёл то,

что хотел, а именно — небольшую, сотки две поляну, с высокой выделяющейся сосной посередине. Когда они узнали, что путь окончен, обрадовались, но волнение от вероятной встречи с медведем было заметно. Рогатину мы вырубili по пути, и сейчас нужно было ему объяснить суть действий. Учил я его именно так, как было правильно:

— Стоишь у сосны. Парни по обеим сторонам поляны. Зверя я сам подниму и погоню на вас. Только будьте внимательны, он хитрый и сильный, но попытается уйти. Поэтому, когда будет с боков слышать преследование, пойдёт прямо через поляну. — Я был удовлетворён, посмотрев на их испуганные лица и руки, нервно сжимающие автоматические карабины. Затем обратился к Ивану, — ты увидишь его и ори! Он, напуганный общим шумом, от одного сворачивать не станет — не в мишкином это характере! Подскакав к тебе, встанет во весь рост, а ты ему направляй рогатину в грудь. Но конец упирай в корень сосны — сам не удержишь. Мишка на рогатину и напорется, тут ты ему живот и вскрывай! Всё!

Мне, конечно, нужно было предупредить, чтобы старался вонзить рогатину между лап, прямо в грудь. Если получится ниже, в живот, то захват его лап увеличивается вдвое за счёт того, что он сгибается свободно и тянет лапы. Даже мёртвый. Но здесь, опять же, всё зависит только от охотника, вставшего на его пути... Иван был сосредоточен, чем опять вызвал моё уважение. Часто бывало, когда смельчаки били себя в грудь, но, едва углядев медведя, летящего на них, кричали страхующим, чтобы стреляли скорее. Это допускалось и спасло много жизней новоявленных охотников. Этот же определил место установки рогатины, проверил, как быстро и свободно выхватит нож, и ещё раз потрогал его на остроту. Затем одел на голову, спрятав густые, холёные волосы, смешной шлемофон, которые одевают танкисты. Увидев моё удивление, серьёзно пояснил:

— Это с армейки, как талисман уже мой. Я его всегда на серьёзные дела одеваю. — И, не улыбаясь, закончил, — готов!

* * *

— Уже ничего не говоря, я пошёл обходить полукругом место предполагаемого нахождения медведя, забирая постепенно по ветру, чтобы не спугнуть его раньше времени. Ближе к осени медведь всё чаще приходит в своё предполагаемое место зимовки, подновляя его надраным мхом и мягкими сосновыми лапами. Не пуганный несколько лет, он может утеплить его настолько, что берлога не уступит в комфорте и тепле хорошей землянке. Я заметил его чуть внизу, метрах в двухстах, увлечённо копающего что-то в земле, под перевёрнутыми валунами. Предполагая, что это серьёзный самец, увидев его, я был просто поражён размерами. Навскидку в нём было весу килограмм пятьсот пятьдесят, а то и все шестьсот! Не давая больше себе времени на раздумья, я приподнялся над скрывавшими меня валунами и громко крикнул. Медведь от неожиданности подпрыгнул и, хрюкнув, ломанулся в сторону засады, ломая кусты и даже небольшие деревца. Он, конечно, зверь. Но много, очень много раз встречаясь с ним, я знаю, какой это умный, непредсказуемый и хитрый соперник! И, кинувшись с глаз вначале, он наверняка задержится, чтобы проследить за мной, насколько позволит врождённая звериная осторожность. Поэтому, я тоже быстро побежал за ним, стараясь больше шуметь, зная, что инстинкт самосохранения в нём сильнее инстинкта охотника. Передвигаясь по прямой гораздо быстрее, я увидел, что медведь пересёк редколесье, заскочил в лес, где была поляна, но помчал вправо. Через секунды оттуда хлопнул выстрел, и раздался дикий крик. Я уже бегом пробежал через лес, путаясь в высоких кустах, и выскочил на поляну немного слева. Иван стоял шагах в сорока

от меня, левой рукой держа рогатину, а правой сжимая нож, с потемневшим от напряжения и решимости лицом. Медведь налётом вылетел на поляну, вспугнутый загонщиками и, за секунды пролетев открытое место, увидел Ивана. Дальше, словно по-писаному, он, уже не отворачивая, хрипло зарычал, с ходу поднявшись на задние лапы и расшиперя передние, как пьяный мужик во время драки, пошёл на Ивана. Я встал и, вскинув карабин, ждал исхода этой смертельной схватки. Парень не сдался! Он, чуть пригнувшись, как борец в стойке, упёр рогатину в корни сосны и медведь на всём ходу, рёбрами повис на ней. Иван присел под него и ножом, снизу вверх, распорол светло-рыжее брюхо, вызвав ужасный, непередаваемый, предсмертный рёв исполина. Чёрная кровь ручьём полилась из живота на рогатину и Иван, не удержав, отпустил её. Медведь, заваливаясь, задел его лапой за голову и в это время я выстрелил, стараясь попасть в верх спины, в область сердца. Мёртвая туша, сломав черенок рогатины, упала на парня, вдавив его в остывающую землю. С другой стороны поляны бежали парни, отчаянно подпрыгивая над густой травой...

У меня уже так было в жизни. Снова я своим верным ножом прорубил медведю лён шеи, обездвижив его. И когда с подбегаящими парнями мы перевернули тушу, увидели Ивана с содранным с окровавленной головы шлемом и с открытыми глазами. В правой руке он держал отливающий красным нож, как последний аргумент в споре за жизнь. Парни склонились над ним, а он вдруг хрипло, совершенно не своим голосом спросил:

— Я сделал его? — и, услышав ответ, закрыл глаза, прошептав, — ура! Как это страшно! Я не думал...

* * *

Комель замолчал. За окном уже была настоящая ночь, о которой я догадывался только по полной непрозрачности окна. Время же пролетело несколькими

минутами. Кот, уставший лежать у печи, скорее не как змея, а как пушистая ящерица, лихо прополз по комнате и как-то, передними лапами и хвостом оттолкнувшись от пола, заскочил на высокую лавку, где помяв лапами мою куртку, удобно на ней улёгся. Дед опять спросил, явно не желая положительного ответа:

— Не устал? И когда вообще домой собираешься?

— Я не устал. Домой завтра, как просплюсь. И давай, дорасскажи до конца, а потом поговорим обо всём, если будет о чём...

Ему явно не понравились мои слова, но он, вздохнув и снова хлебнув чая, продолжил:

— До машины мы несли его сутки, сделав узкие носилки. Лапы и голову медведя, засолив и плотно завернув в шкуру, закопали в остывающую землю. Я обещался вернуться сюда с помощником, сразу, как определим Ивана. Нести его было тяжело, приходилось часто останавливаться и отдыхать. И каждый раз я надеялся, склонившись над ним, не услышать его дыхания. Но он... дышал! Размерно и глубоко, словно спокойно спал дома в мягкой кровати. Меня душила неудержимая злость от сорвавшегося плана, словно сам этот план определял мою дальнейшую жизнь...

Спас его этот смешной шлемофон, не давший медведю возможности скоблenuть по черепу и шее. Это бы закончилось полным скальпированием, и Иван бы умер, если не от потери головы, что в жизни я несколько раз видел, так от болевого шока. Но сам по себе удар был дикой силы и шея у него была явно повреждена... Однако Иван жил и даже иногда подолгу, открыв глаза, смотрел в небо...

Дома мы были уже к вечеру следующего дня. Парни согласились переночевать и, аккуратно вытащив Ваньку из машины, занесли его в дом, в комнату дочери. Алёнушка не плакала, но всю ночь просидела с ним, заливая ложкой ему между сухих губ молоко с мёдом.

Когда всё в доме затихло, ко мне подошла жена и, сев напротив, вдруг прямо спросила:

— Коля, это ты сделал? Ответь честно.

Я неопределённо мотнул головой, не сумев ничего сказать толком. Ольга заплакала и ушла, а я один просидел ночь в кухне, убеждая себя, что я прав, и не веря себе.

Утром они уехали...

* * *

— Следующий день я отсыпался. Странно, но больше ни дочь, ни жена ни о чём меня не спрашивали. Всё оставалось, как всегда, но мои хозяйки избегали разговора со мной.

В начале ноября я решил сходить за шкурой, ведь парни обещались за ней вернуться и заплатить хорошие деньги. Еле уговорил одного местного помочь за два литра спирта и в начале недели выдвинулись. По холодному чистому лесу ход быстрый, и, хотя шкура тяжёлая, мы, выбросив голову, почти налегке уже в воскресенье вечером вернулись. Рассчитавшись с помощником, зашёл в дом и сразу понял — что-то случилось. Жена плачет без удержу, а дочери, сказки моей — Алёнушки, нет. Пометался я по избе и кинулся ей в ноги, — Где, — спрашиваю, — дочь наша? — И вот моя любимая жена мне и отвечает:

— Уехала она в город к Ивану. Приезжали его друзья с письмом к ней. Я не смогла её остановить, — и она призналась со слезами, — да и не хотела! Ведь я знаю, что значит любить!

Вот тут-то и совершил я свой самый подлый, гадкий, предательский поступок в жизни — я ударил её. Ударил ту, которой дорожил больше всего в жизни. Занёс руку, догадываясь, что потом будет! — Дед плакал, кривя лицо и пытаясь не всхлипывать, торопясь стереть катившиеся слёзы пальцами.

Кот, спокойно спавший до этого на мягкой куртке, приподнялся на передних лапах и смотрел на деда

огромными жёлтыми глазами, словно спрашивая, — в чём, собственно, дело?

Я, не зная, как помочь, молчал, уже понимая окончание этой истории. Дед, всё же начав всхлипывать, продолжил:

— С той поры не стала она со мной разговаривать совсем. И так до самой её смерти продолжалось. А умерла она от тоски, я думаю, через три неполных года, аккурат в двухтысячном... Дочка же ни разу не приехала больше к нам. Были, правда, через полгода два письма, одно за другим. Но жена же из дома после того не выходила, а я те письма, не сумев простить, в бане сжёг, не читая. — У старика снова начинался приступ, но он почему-то пытался перетерпеть явную боль, или, возможно, её нужно было терпеть. Речь становилась протяжной, он понимал это, но ничего сделать не мог, и даже от расстройства прикрывал рот рукой, возможно думая, что я не замечу. На лбу снова выступил пот, а сам он от пульсирующей ужасной боли дёргался, словно его кололи иголкой в висок. Наконец замолчал, опустил голову и скорее всего, потеряв мысль, забыл, что хотел сказать.

Я ждал и понимал, что не по этому поводу он позвал меня, иначе разговор был бы закончен ещё при первом приступе... Он сидел, скрючившись, несколько минут, потихоньку приходя в себя, стараясь незаметно стереть длинные слюни на неопрятной щетине. Наконец, протяжно произнёс, видимо что-то решив:

— Подай, будь добр, бутылочку. Думал, перетерплю, ан нет, никак...

Я подал. И он, подняв голову и двумя руками держа бутылку, словно соску младенец, сделал протяжный глоток.

Когда Комель заговорил, я не сразу понял его, но оказалось, что это просто продолжение рассказа, только немного с другой стороны.

— Года полтора назад, первый раз в бане... только начал париться... как что-то хрясь в голове, и — гул

протяжный, с темнотою красной в глазах... Как выпал из парной не знаю, пришёл в себя от боли, словно череп пилой пилят... Но прошло вскоре... Потом, через месяц, забыл уже про приступ, дрова, думаю, порублю — соскучился. Поставил чурку, раз колуном — мимо! Опять по — новой, раз — мимо. Не пойму ничего и, вроде, всё вижу. Да, главное, никаких неудобств, всё, как всегда. Ну, посидел чуток, помолчал для покою. Вроде нормально. Встаю, беру колун, раз — попал! Только случайно — в край... Вот и всё! Пришла старость немощная, думаю, только что ж так резко, будто ждала с часами в руках? Лучше бы умер сразу. — Он опять замолчал, но уже не плакал, а положив ложку мёда в холодный чай, звенел ею о стакан.

— Потом, через несколько дней — болевой приступ, такой ужасный — не передать... Меня медведь в юности перехитрил, потрепал хорошо. Но я кроме злости, что сил не хватило, никакой боли не испытывал... А здесь такое! И понимаю, что время пришло, но смириться с такой болью не могу, Сил уже просто не хватает. Короче, пошёл к одной бабке, знахарка или как — не знаю, но много хворей лечит. Та меня посмотрела, голову в ладонях подержала и сообщает, что мне теперь только чудо поможет, на остальное надежды нет. Дала мне бутылку настою на маковом стебле молочном, по глотку на приступ и диагноз озвучила, глаз от меня не пряча:

— Когда кончится лекарство, болезнь должна отступить, если нет — всё. Не верить ей не было смысла, боль не давала шанса.

* * *

Я смотрел на него и начинал понимать, зачем я здесь. Дед нисколько не боялся смерти, сотни раз смотревшей ему в глаза. Он не боялся никаких пересудов, зная, что жил по тем законам, которые ему предлагала жизнь и время. Но, как всякий старый человек, он начи-

нал сомневаться — а знает ли Господь, что во всём сделанным им, нет плохого умысла? И нужен я ему, скорее всего, как духовник, принимающий исповедь или, как хрупкий мост, шаткий, но дающий последнюю надежду спастись от огня на той стороне реки!

Дед вдруг заулыбался, вздыхая полной грудью:

— Немного осталось того лекарства, и нечем вскоре мне будет спастись. Поначалу раз-два в месяц прижимало, сейчас в день по несколько раз. Я уже и на хитрость иду, стараюсь перетерпеть просто так, без настою. Когда и получается, однако чаще — нет. Тут вот про тебя и вспомнил с надеждою, что согласишься выполнить мои две просьбы.

Теперь на меня снова смотрел уверенный в себе человек, обязательно знающий, что и зачем он делает. Я, растерянный под его взглядом, согласился:

— Конечно, помогу, если пойму и сумею.

— Да куда проще, шибко загигать мне самому теперь не интересно. Значит первое: если что, Змея моего не брось, пристрой куда. Или к себе заведи нас-всем! Кот он правильный и, если бы не инвалидность его, то один бы прожил. А в таком положении своём, не протянет на вольных хлебах — погибнет. — Кот, услышав свою кличку, приподнялся на передних лапах и, не отрываясь, смотрел на деда, не понимая, зачем тот позвал. Хозяин его успокоил, — спи, спи, родной. Пожрать мы уже пожрали, так что отдыхай, возможность есть...

Змей словно понял слова деда, сидя, выгнув спину и, шевеля когтями, торчащими из подушечек лап, хищно оскалив пасть, зевнул. Затем, потеряв к нам интерес, перевернулся мордой к стене и улёгся, уютно подложив под голову хвост.

Дед, подобрав глазами, улыбаясь, с минуту смотрел на друга, потом продолжил:

— Ну, а второе — главное... Прошу тебя найти в городе мою дочь. Когда в последние минуты жены

моей голову держал, по глазам понял, без слов. И, хотя она ни о чём не просила, обещал... В первые года после её смерти, в силе ещё был, но обида злая не давала мне добро на поиск. Думал потом, потом, потом... А сейчас уже не смогу...

Комель замолчал, и только тёмная от времени чайная ложечка монотонно звякала в холодном стакане...

Я, увлечённый всей этой историей, и сам очень хотел добраться до финала. Но с другой стороны, прекрасно понимал, как трудно найти человека только по имени-фамилии, не зная даже, где он примерно живёт. Свои сомнения я высказал деду, на что тот ответил:

— Это так, конечно... Но тока я, когда письма дочкины жёг, на обратном адресе название города глазами выхватил. Но, испугавшись своей слабости, не прочитав, бросал их в печь. И знаю только название того города. — И он назвал город, в котором я живу.

* * *

Это, конечно, меняло дело. Но, не желая совсем уж обнадёживать старика, я всё-таки сомневался.

— Я попробую. Дело в том, что я работаю, времени мало остаётся, но как только будет возможность, начну.

Комель аккуратно поднялся и, плавно ступая, прошёл в дальнюю комнату. Возвратился быстро, держа в руках похожую на блок сигарет, замотанную скотчем пачку. Присев на место, положил её на мою сторону стола и утвердительно сказал: — Вот.

Я, уже ничего не спрашивая, разрезал скотч и, размотав бумагу, выложил на свет пачки денег. Мыслей пока не было, вернее пропали. Деньги были разные. В смысле и наши, крупные, не меньше тысячи, купюры, и здесь же, вместе с ними — американские, мало мне знакомые, но узнаваемые. Если в каждой пачке было по сто бумажек, а пачек всего было четыре, значит, тут было четыреста купюр! Но, поскольку номинал был разный, а валюта вообще по курсу несколько рублей к

доллару, денег было под миллион! Это навскидку, хотя, скорее, всего больше.

Я столько не видел, и поэтому, уняв первый испуг, спросил его:

— Дед, а почему бы тебе самому в город не поехать, полечился бы... а потом и дочь нашёл?

Старик зажёл газовую горелку и, глядя на трепыхающее бабочкой пламя спички, кусающей его пальцы, объяснил:

— Ты знаешь, сколько я медведей вот этими руками приговорил? — Он, смяв огонёк пальцами и сложив огромную руку в кулак, выставил его в мою сторону. — Не знаешь! И сам я не знаю, хотя до ста считал. А медведь, он что человек, даже плачет от боли также. И ребятишек своих мать-медведица грудью кормит! А я их раз и того... без жалости. Но и то не главное. Ведь своих-то всех, тоже ведь я погубил. Я и никто другой. Может, сын был бы у меня, и дочь, и жена, и всё...

Комель уже кричал громко и с рыком, словно действительно превратился в медведя, схватился за голову руками и, не удержавшись, упал на лавку. Испуганный кот, соскользнув с насиженного места, настоящей змеей прополз через кухню и юркнул под шторой в спальню. Я неловко подхватил уже падающего на пол деда и, не удержав, завалился с ним. Он неестественно отклонил голову и с закрытыми глазами, сжав зубы, уже выл, а не кричал, скрипя зубами от боли или от съедающей душу проснувшейся памяти...

Я пытался держать его голову, бьющуюся о давно не скоблёный серый пол. Дед вдруг замер на несколько секунд, вытянувшись в струну, затем неожиданно обмяк и облегчённо засвистел носом, вдыхая воздух. Крупные яркие пятна пошли по лицу, а он, открыв глаза, удивлённо и не узнавая, глянул на меня. Наконец его губы тронула болезненная улыбка, и старик заговорил, словно продолжая: — Еле вспомнил тебя, человек. Вижу, вроде кто-то, а вспомнить кто, не могу,

хотя вижу — не медведь! — И дед облегчённо и уже не натянуто заулыбался.

— Видишь как? А ты говоришь, лечиться!? Такое не лечится, и медицина за чужие грехи не отвечает! Сам должен ответ держать...

Комель, опершись на лавку, поднялся и, погасив горелку, подновил чай, ещё положил ложечку мёда, помешал и быстро выпил.

— Люблю сладкое, прям как дитяtiny маленький, вот же как! Раньше, вроде, не замечал такого за собой... Это — старость! Спыхватываешься задним числом, откуда что приходит? Даже интересно становится...

Дед сел, молча, сложил деньги стопкой и утвердительно, как о совершенно уже договорённом, заговорил:

— В любом случае, попробуй найти её. Что будет со мной, уже понятно и не думай об этом. Я полагаю, мне не долго осталось... но! Если найдёшь, уговори приехать. Любыми средствами, но уговори... Не будет уже меня — расскажешь ей всё, если слушать станет. И вот это, — он вытащил из кармана рубахи конверт, сложенный вчетверо, — письмо от матери ей, с того, можно сказать, света...

Комель поднял на меня уже совсем красные от болезни и усталости глаза и, пытаясь говорить убедительнее, закончил:

— Сам посмотри на неё. Поймёшь, что надо — помоги. Если, — он запнулся, — увидишь, не надо ей ничего — не давай. Но только, прошу, потом приедь и всё Расскажи. Не мне, так могиле моей... Всё, прощай, я спать...

Старик поднялся и, снова показывая свою неуступчивость времени, крепко и уверенно зашагал в спальню. Остановился в проёме и, борясь с желанием ещё что-то сказать, всё же не решился, ударив в отчаянии по косяку. Проём проглотил чуть сгорбленную фигуру, и давно не стиранная занавеска за нею обвисло успокоилась. словно большой губастый рот проглотил чью-то маленькую жизнь...

Не смотря на почти бессонную ночь, проснулся я довольно рано. Долго думал о деде и просто о судьбе человеческой. Ведь как же может она всё закрутить, запутать и сплести в один клубок! Всё — плохое и хорошее, доброе и злое, крепкое и совсем слабое. Как может волшебным шёпотом сделать своего — чужим, а совершенно стороннего — родным! И никогда смертный человек не предугадает, как бы ни желал он этого, своей судьбы! Поэтому испокон говорят старые, уже всё испытывавшие, своим, ещё ни во что не верящим внукам: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться!»

Я, чтобы не загрустить с утра, соскочил с кровати и, всё ещё сомневаясь во вчерашнем, приоткрыл свою походную сумку. Деньги, снова замотанные в газету и перевязанные скотчем, лежали на дне, и я окончательно поверил во всё произошедшее вчера.

Поглядев в окно, увидел из высокой соседской трубы не густой дым — дед подогревал, начавший остывать дом.

Я быстро собрался, запаковал тётчины подарки, и уже в первой половине дня неторопливо, но и не шагом, ехал в город на одной из двух деревенских лошади, запряжённой в высокую бричку. Подвозил меня довольно взрослый, но очень весёлый мужик, назвавшийся при знакомстве неожиданно: — Василий Шутыло — водитель кобылы! — Он, наверное, с полчаса балагурил, рассказывая весело о трудностях жизни, о детях в возрасте «сопли научились выбивать» и, конечно, о жене! Про неё он рассказывал серьёзно и инстинктивно оборачивался, словно она бежала за нами и на бегу могла услышать его «правду о ней». Закончил рассказ Василий примечательно, вызвав мой неподдельный смех.

— Вот и дай ей, Бог, здоровья, которого у неё уже с избытком. И благополучия за мой счёт! Веришь, нет в такое чудо, не знаю, но, как появляется в кармане

свободная копейка, меня к жене, как магнитом, тянет. Где бы ни был, а к ней иду или, — он задел по лошадиному крупу длинным прутком, — вот на кляче еду. И ведь подойду и молчу, слова сказать не могу! А она руку раз ладонью кверху и в глаза мне смотрит. Я ей всё и отдаю. После плачу от обиды, а обратно уже не взять. Так ты мне при расчёте сам купи поллитровочку, будь добр. В обратной дороге за тебя и выпью...

Просмеявшись, я задал вопрос про деда Колю Комеля. Но Василий пожимал плечами и почти ничего не говорил о нём.

— Как он жил, как сейчас живёт — не знаю. Да и мало кто у нас знает, он, словно птица ночная. А что люди про него брешут, мол, нехороший, душ много погубил, то да сё — сам не скажу. И чужими словами не могу, мне он ничего плохого не сделал. Правда, хорошего — тоже!..

Этой остротой наш разговор и закончился, а всю оставшуюся дорогу мы молчали, думая каждый о своём...

Уже по темноте, поставив машину в гараж и, как все водители-любители, посидев в салоне несколько минут, вдыхая родной гаражный воздух, я всё же пошёл домой. Деньги, которые не давали мне покоя, спрятал в самую глубь ящика с инструментом...

* * *

На следующий день перво-наперво написал заявление на отгулы. Я работу свою люблю, никогда не отказываюсь от подмен или подработок, поэтому отгулов накопилось целых восемь дней. Но начальник, краснея ушами, тихо кричал совершенно осипшим голосом:

— Это тебе зачем столько, вот скажи честно, по пролетарски (был он очень пожилой, знающий своё дело и, кажется, член КПРФ)? Все берут летом, допустим, в Крым слетать, или осенью — в огороде пожить! А ты весной, в грязь, в распутицу... Давай хоть половину

пока... Не дави на мозоль, парень. В июне дом сдавать, а у нас сантехника не заведена. Кто? Жильцы будут унита-
тазы с ваннами ставить?! — И хотя я знал, что сантех-
ника стоит уже в половине квартир, уважая дядю Пашу,
согласился:

— Ну, давай хотя бы четыре дня. Постараюсь успеть
как-нибудь, а потом с революционным азартом возъ-
мусь за работу, не подведу!

Дядя Паша, подписывая железной рукой заявле-
ние, на иронию мою не ответил, но слышимо для меня
буркнул:

— Вас на моё место поставить, посмотрел бы... А то
вы только в очереди до кассы стоять согласны, и то
ногами сучите, как кони...

Я уже не слышал его и через пять минут рулил в
сторону больницы, где, как говорила вечером жена,
волком воет бедный тесть.

Вид тестя меня напугал. Уезжая четыре дня назад,
я видел в нём уверенность, пусть не стопроцентную, но
всё же, протерпеть и выздороветь. Теперь он встречал
меня слезами:

— Слушай, Игорёк, за ради Христа помоги! Всем
тебя прошу, но лежать больше не могу! Это же надо!
Мне шевелиться даже запрещено, только на утку
можно задницу поднимать, — он схватил мою руку
своей, незнакомо слабой и липкой. И я вдруг с содрога-
нием вспомнил недавнее рукопожатие Комеля! А тесть
плаксиво продолжал:

— Чувствую, как из меня тонкой жилой сила выма-
тывается, словно нитка из клубка шерсти у бабки-
вязальщицы. Ни шума, ни крика, сидит под лампой
скулит себе песенку, а клубок меньше и меньше... И,
бывает, песню не допела, а клубок — чик и скончался,
— на слове «скончался» рука тестя вздрогнула, и он,
смешно, но жалко сморщившись, заплакал. — Ты скажи
им, пускай мне эту ногу по коленку отнимут — это
ничего... После войны у нас много таких было, так они

даже к охоте приловчились... — Он не наигранно опять заскрипел в плаче зубами.

Я окинул глазами палату и во взглядах больных увидел неподдельное сочувствие ему, а из-за угла парень с гипсом на обеих ногах, продолжил, словно за тестя:

— Он и спит мало... А когда засыпает, всё Ворона какого-то зовёт, чтобы тот ему помог... Ты, говорит, ремнём перетяни, чуть выше и топором по суставу резче. Пока я без сознания буду, самогоном её залей и простынёй замотай! А там, уже дома, баба меня выводит, у неё в крови лечение...

Я, обескураженный, смотрел на тестя и осознавал, насколько для него это всё серьёзно. С болью понимая отчаяние и безысходность этого положения, чуть сам не прослезившись, обещал помочь. Больной немного успокоился и, обтерев его спиртом, я уехал, клятвенно заверив, приезжать, как смогу и рассказывать обо всём.

* * *

Всё оказалось намного проще, чем мне представлялось. Гениальное, или наоборот ужасное изобретение XX века — интернет — всё быстро расставило по своим местам. Мой, ещё по училищу, друг, не захотел, как я, связывать свою судьбу с сантехникой во всех её хитростях, и правильно рассудив, что за компьютером будущее, посвятил свою жизнь ему. Теперь он был авторитетный специалист в серьёзной фирме и, выслушав мою просьбу, согласился помочь.

— А ценой за услугу — возмещение всего кофе, который выпью во время работы... И не лыбсья, его люблю лишь немного меньше, чем жену и компьютер...

Ещё немного потоптавшись в курилке его офиса, я уехал, понимая, что больше пока надеяться не на что.

Через день, я узнал телефоны трёх женщин по имени Алёна нужного возраста, проживающих в городе

с определённого мною в условиях поиска, времени. И странно, но, набрав наугад первый из номеров, я попал именно на нужную мне. Воистину, фортуна, что женщина — непредсказуема! Поздоровавшись, как можно чётче объяснил ситуацию и предложил встретиться. Девушка долго молчала. Но когда я, полагая, что связь прервалась, произнёс дежурное: — Аллё! — услышал её:

— Вот как... А я уже простилась с той жизнью и даже забыть стараюсь... — И уже громче именно для меня. — Давайте. Завтра в одиннадцать утра, — и она назвала одно знакомое мне кафе, где её нужно ждать завтра...

Мне не хотелось, чтобы жена узнала, что я иду на свидание с женщиной. И, поскольку честно сознался в отгулах, нужно было придумать, как уйти из дома в «самое нужное» ей (жене) время. Как, если именно в этот час она должна быть у парикмахера, «которую уже в лицо не узнаёт»? И вообще ей надо, хоть эти дни, которые я отвоевал именно, как она считала, для неё, отдохнуть от будней! Пообещав жене всё, что может пообещать только влюблённый или заподозренный изменник, вымолил два часа, теперь уже её времени в нужный день...

* * *

В городе весна уже победила, совершенно съев все напоминания о зиме. И надо бы свежести от парящей на солнце земли, дурманящего запахами леса, гвалта всех живущих на земле тварей, но... только пыль сквозняковыми ручейками, только подхваченные с пылью фантики и автобусные билеты и даже жестяные банки, кое где скребущиеся по асфальту...

Я сидел в оговоренном нами кафе и следил за временем на экране телефона. Неудержимые секунды начали считать «мои» два часа, и почти сразу у окна остановилась большая красивая машина. Она вышла

и, хлопнув дверью, пошла ко входу, не оборачиваясь, как обычно оборачиваются неуверенные в себе собственники, несколько раз нажимая на пульте кнопку «открыть-закрыть»!

Почему я понял, что это она, не знаю, но инстинктивно подтянулся и спрятал в карман телефон. Девушка вошла и, лишь на секунды задержавшись на входе, направилась сразу ко мне, словно знала, кто её ждёт. Подойдя, негромко спросила имя и, получив ответ, уверенно присела на стул, не пододвигаясь к столу.

— Я буду чай с сахаром и немного молока, — она наконец посмотрела на меня...

Да, именно та, какую представлял, зная почти всю историю. Уверенный, даже самоуверенный взгляд человека, явно знающего себе цену, а вместе с ней и обязательную силу. И от этого схожесть лица с отцовым сразу стала очевидной!

Принесли чай. Она постучала, помешивая ложечкой, по чашке и, отхлебнув, наконец, сказала:

— Слушаю вас. И времени у меня всего час — человек я не свободный...

— Я тоже, не свободный, но у меня два часа...

Собеседница, не улыбаясь, отрезала:

— Будь я мужчиной, время всё было бы моим. Но меня угораздило родиться женщиной... — И повторила, — слушаю!

Категоричность кольнула, и, не зная, как продолжить, я подал ей конверт, переданный отцом. Девушка подержала его, глядя с каким-то сожалением или, возможно, больше непониманием — зачем? Потом всё же надорвала по склеенному длинным ногтем и, вытащив белый листок, стала читать.

Лицо менялось. Тёмные глаза, скользящие по строчкам, вдруг потемнели ещё более, словно чёрная грозовая туча заслонила просто дождевую! Уголки губ поджались, показывая отчаянную внутреннюю борьбу, и упрямая морщинка вклеилась в лоб, подчёркивая рас-

терянность и боль... Она подняла глаза, не пряча этого, промокнула слёзы салфеткой, и глядя на грязную от туши бумажку, спросила:

— Читал? Читали?..

— Нет, конечно, зачем? Это же ваше...

Она улыбнулась, скорее всего показывая недоверие.

— И хорошо... Вы не узнали, какая гадкая женщина перед вами сидит. Не женщина — чудовище! И вообще — давайте на «ты»?

Нисколько не думая, я согласился и сразу добавил:

— Отец ещё жив... Он просил приехать, если это возможно. Очень просил! — Я почему то не мог назвать её по имени, словно оно совершенно не подходило ей. Но ведь Комель всегда называл её сказочно-красиво — Алёнушка! А она всего пять минут назад представилась:

— Алёна, Алёна Николаевна.

Только это совсем другое, словно в знаменитой сказке про Врунгеля — «победа» и «беда».

Женщина встала и, упрямо глядя мне в глаза, закончила:

— Твой номер у меня есть. Спрошу у мужа, он назначит день для поездки. Сразу сообщу и поедем.

— Только сообщу вечером, если поездка утром или наоборот, — сострил я вслух. А сам подумал, — назначит день... Кто же наш муж, милая? Депутат? Или судья, назначающий хорошим, как он считает, людям решение судьбы по пятницам, а плохим — по понедельникам? — И тут же не скромно добавил, — значит, нам в пятницу!

Она уже села в машину и, газанув, сорвалась в поток тоже спешащих, словно живых, машин...

* * *

Она уехала, а я вспомнил о деньгах. Стало неудобно, словно меня заподозрили в воровстве. Хотел даже

позвонить вдогон, но, подумав, не стал. В деньгах она явно не нуждалась и отдам я их сейчас или на день-два позже, значения не имело...

Зная, что по этому поводу жена ругаться не будет, заскочил к тестю. Рассказал ему обо всём и, протерев от пролежней, уехал, сославшись на отсутствие времени. Уже руля домой, понял, что переживаю за него совершенно по настоящему, искренне жалея, и думая, как помочь. Я конкретно видел, что здоровый и сильный мужик превращается в слабого и обезволенного бездействием человека.

— Надо что-то делать и помочь обязательно...

В пятницу вечером позвонила она. Я взял трубку и, поздоровавшись, услышал:

— Муж даёт машину и водителя на завтра. В каком часу мы сможем выехать, чтобы к вечеру вернуться назад?

— Ну, если в восемь утра двинемся, думаю, к восьми вечера будем дома.

— Мы к восьми будем в районе автовокзала. Пожалуйста, не опаздывай...

Она отключилась, а я долго смотрел на светлый квадратик телефона. — Прямо, по-военному как-то всё, без рассуждений... — но желание завершить это уже тяготящее меня дело взяло верх. — Я буду готов, обещаю!

С вечера, зная продолжительность поездки, заварил в термосе чай, наготовил и уложил в холодильник бутерброды. Пообщавшись с сыном, которому совсем мало уделял времени, уснул вместе с ним под исполняемую самим же колыбельную. Сын уже давно засыпал сам, но с терпением отнёсся к моей инициативе, внятно поправляя мои ошибки в забытом с детства тексте. Я уснул счастливый, сын — гордый! Утром, без десяти восемь, я был на автовокзале и сразу увидел её, стоящую у роскошного джипа. Поздоровавшись, девушка объяснила:

— Машину дал муж, и водителя — звать Володя. Ты садись вперёд — дорогу показывать. Если захочешь поговорить — это когда обратно поедем...

Я взгромоздился на удобное сиденье, кивком поздоровался с водителем, назвав себя, услышал от него ответ и вопрос: — Куда?

Я назвал направление и махнул рукой, — Вперёд!..

В себе вдруг почувствовал волнение или скорее невроз... Сегодня я, наверное, узнаю все ответы на вопросы, вольно или невольно став свидетелем, которые мучили меня всё последнее время.

— И деда попроведаю, как он нас встретит? И Змея. Тёща тоже будет рада, — я уснул в мягком, как кровать, кресле.

Спал я долго. Очень удобное сидение, словно детское кресло для ребёнка, стало для меня уютной, мягкой кроватью.

Когда проснулся и присмотрелся, понял, что мы где-то совсем уже рядом от цели пути. Я посмотрел на водилу.

— Ты, прям, грамотно едешь, или места знакомые. Скоро уже и деревня нужная.

Он, повернув широкое, тонкогубое, без улыбки лицо на меня и чуть сузив глаза, объяснил:

— Мне знать не надо. Мой навигатор всё подскажет, лишь бы название правильное было, — и он ткнул пальцем в небольшой экран, на котором светилась живая шевелящаяся стрелка, показывающая правильное направление.

Я, конечно мало, что понял, но вида не подал. Уже у деревни навстречу попалась большая пожарная машина, и чем ближе мы подъезжали к находящемуся на самом краю деревни дому тестя, а за ним и Комеля, тем явственнее чувствовался запах гари. Вывернув из переулка, через пятьдесят метров подъехали к месту. Ограда, разделяющая дома тестя и Комеля, и вообще весь забор большого участка был смят и изломан, открыв вдруг

одинокую баню и невысокие сараи с шиферными крышами. А на месте дома соседа — огромная куча золы, кое-где дымящая тонкими струями, с широкой посередине четырёхоборотной печью, с обломанным концом трубы... Яблони, стоящие за домом, не успевшие ещё проснуться после зимы, погибли, высушенные не щадящим жаром огня, похоже, веселившимся здесь совсем недавно. Я выскочил из машины и помчал к тёще...

* * *

Чтобы там ни говорили, а дом без хозяина — сирота. Да что там! Тестя ещё месяца нет, как в больницу определили, и, вроде бы, как всё в порядке — ан, нет! Лопата для уборки снега, не нужная теперь до следующей зимы, стоит у крыльца не прибрана. Лыжи охотничьи — в сенях под лавкой, а на лавке — доха заячья, лёгкая в охоту, и шапка, и рукавицы широкие, чтобы с руки свободно слетали перед выстрелом, но на ремешках сыромятных — не уронишь в снег. Да ладно это — может, хлопотливый хозяин не успел пока — занят! Но и запах в доме совсем другой — безмужичий, выхолощенный какой-то...

Не разуваясь, прошагнул в спальню, по-настоящему волнуясь. Тёща полусидела на расправленной кровати в платье, но прикрытая по пояс покрывалом. Увидев меня, обрадовано вскрикнула:

— Слава те, Хосподи, — и улыбаясь, и плача, непривычно для себя заторопилась, — только фельшер ушла. Вчера, пока всё горело с ночи по полудни, всё на ногах, вроде, даже и не чую ничего. А сегодня, и испуг уже прошёл, с утра только успела одеться — тук! — и колет в левую сторону, и задыхаюсь. Хорошо что пожарники тут топтались, ещё сил хватило, докричалась... Фельшер пришла, уложила, уколы два а то и три воткнула, и лекарства — вон, наложила гору, — она махнула головой на низкую тумбочку около кровати, с уложенными на ней таблетками...

Я присел рядом и спросил, чем могу ей сейчас помочь, и, если может, пусть объяснит, что случилось. Она согласно кивнула головой:

— Только перекуси чего на кухне, там лепёшки позавчерашние под рушником. Я-то два дни не ела, столько горя кругом. — Она, закрывая лицо покрывалом, заплакала, — И сосед, наверно, погиб в этой беде — нет его нигде...

Стараясь её успокоить, я начал говорить всякую глупость, отчего она ещё громче заплакала, не открывая лица и качаясь из стороны в сторону. Наконец поняв, что ей просто надо проплакаться, я вышел на улицу.

Деревенские люди ещё не отучились от простых человеческих отношений, помогают в беде, не требуя за это платы, а если, не дай, Бог, случилось горе, искренне сопереживают несчастному! Мы в городах этого скорее уже не можем, оправдывая себя неблагоприятными обстоятельствами и занятостью.

Алёна стояла на пепелище, глядя на черневшую гору печи.

— Я любила её! Зимой с матерью почти всё время находились в кухне. Печь большая, тёплая и белая-белая...как снег! Представляешь? Именно так я думала про неё, и эта сказка до последнего жила со мной: белый холодный снег и вдруг тёплый! Сейчас я проснулась — так не бывает даже в сказке, видишь? — Она показывала на тёмную печь и, не таясь, как тогда в кафе, плакала. Потом, пройдя дальше, уже другим голосом продолжила, словно для себя:

— А здесь было глубокое подполье, разделённое пополам. Одна половина — просто погреб с картошкой в зиму, овощами всякими и солониной. А другая, отгороженная деревянной перегородкой, с тяжёлой дверью на кованых петлях с амбарным замком — отцова тайна. Я, лет в тринадцать, спросила его, что там? Он вдруг обнял меня, прижал сильно к себе и заговорил горячо:

— Там другая жизнь, Алёнушка, не как у нас с матерью. И в день, когда тебе исполнится восемнадцать, ты войдёшь туда, а выйдешь в другой мир, светлый и сказочный, какой есть где-то, верь! Ты выйдешь в красивой одежде, и влюблённое солнце будет целовать тебя в лицо, южный ветер — ласкать твои волосы, а гордые травы — целовать восторженно твои ноги! Никого и никогда не будет счастливее тебя! Я стояла, поражённая его словами, такими восторженными, такими таинственными, и видела себя маленькой принцессой. Видела, как эта принцесса подрастает и превращается в царевну, а уже царевна покоряет своим появлением тот, другой, незнакомый, но удивительный мир!

Она замолчала также неожиданно, как и заговорила. Подождав минуту и не выдержав, я любопытствовал, что было дальше.

— Дальше ничего не стало. Я просто не дождалась. Слишком хотелось быть царевной. И первый Иванушка-дурачок украл меня, как в глупой сказке. Потом увёз меня на печи в свою деревню просто бабой...

Мы, охваченные вдруг понятной обоим грустью, стояли на остывающей золе, глядя под ноги, словно надеясь увидеть тайну, спрятанную теперь навсегда и ото всех стихией пожара, тайну, которую одна упустила сама из своих рук, а другой — не смог разгадать!

* * *

Когда мы пошли в дом, Алёна попросила меня не говорить тётке, кто она.

— Прошло много времени и, скорее всего, тётя Валя меня не узнает, и хорошо. Скажешь, что мы приехали с мужем дом присмотреть, а я ещё очки надену. Пусть она расскажет, что произошло, и, наверное, будем возвращаться. Лично меня теперь здесь ничего не интересует. Никак...

Так и получилось. Тёща, щуря глаза, пыталась рас-

смотреть гостей, но когда я сказал, для чего они здесь — интерес потеряла.

— Мы пока чай попьём, а ты нам Расскажи, что здесь случилось, пожалуйста...

Я, как хозяин, зажёл газ и поставил чайник. Тёща, смешно повязанная платочком, не переставая руками разглаживать укрывающее её покрывало, запинаясь и отступая, начала:

— Ты как был недавно, вот с той поры и начну. Наверное, дён, может даже двое — его не видать, не слышать. Нет, что не видать, я зря: днём — немного дым из трубы, ночью — свет из окон. Самого, конечно, нет. Я-то вижу свет по ночам, и не суечусь — живой, точно. А что не появляется на глаза, так на то он и Комель — загадка! Если кто бы пришёл, допустим, да навелил, мол, пойдём посмотрим, что там — другое дело. А одна не смогла решиться попроведасть, думаю, ладно поди, обойдётся. — Она вдруг достала из кармана кофты небольшой сложенный платочек, аккуратно промокнула им уголки глаз и затем, вытерев быстро рот, спрятала его обратно и продолжила. — Но вчерашним утром решила. Истинный хрест, не знаю, что направило... Пошла. Толкнула — дверь подалась, зашла в сени — огромные окна в решётах, зыбко душе стало, но иду... А домашнюю дёргаю туда-сюда, вроде, ходу сначала нет, но шибче потянула и растворила! Вхожу, но громко боюсь кричать, потому в полголоса: — Дядя Коля, дядя Коля, — тихо. Я — дальше. Из кухни в проём зашторенный захожу и вижу из-под пола дымом тянет, прямо вот только что было чисто и сразу густо, клубы в минуту. И стон не человеческий, и крик кошачий с ним в одно, словно мольба о помощи и ещё что-то — уже не смогла понять. Как выбежала сама, не знаю, добежала до Ивана Калитина, чуть жизни не лишилась. У того телефон на пузе всегда, он и вызвал пожарных. А как я от него выползла, уже дом в дыму был весь, но из нутра он валил, без огня... Потом уже пожарные загудели. Минут

через двадцать как ухнет внутри, и весь дом вместе с крышей провалился, словно в яму. И тут уже огонь, будто из тюрьмы выскочил и загудел по обваленному дому, заиграл с воём, как буран неудержимый. И страх, и ужас — не передать!

Она, снова всё переживая, захлопала носом и, словно стесняясь, закрыв рукой поллица, склонив голову, негромко запричитала:

— Человек же всё-одно... хрещённый ещё, поди — ведь без этого нельзя! И в войну работал, сколь от голода спас. Да и просто сказать — тварь Божия-я-я... — Она плавно перешла на скулёж и, неожиданно остановившись на недотянутой ноте, снова достала платок и, протерев глаза, громко сморкнулась в него, заканчивая плач.

— Я, как гляну в окно, ноги слабеют. И что случилось там у него, даже придумать не могу, только беда...

Алёна вдруг подала голос, не привычно растягивая слова:

— А хозяйка у него была? Что с ней случилось? Скажите!

Тёща, снова сощуря глаза, подалась вперёд и, внимательно оглядев гостью, ответила:

— Конечно, была. И дочь была. Только убежала она с заезжим парнем одним в город, чем приговорила мать свою к мучительной смерти в тоске. Сам же сосед её похоронил по — хорошему и погост чтит, тоесть чтит, на могилу памятник вырезал из корня лиственничного, железного — девушку по пояс, вылитая Оля, как есть. Если помнишь мать, сходи проведай! — Алёна вскинулась и, резко встав, вышла.

— Я слепая, но не на столько, чтобы людей не узнавать, — тёща обращалась уже ко мне, — но судить её не собираюсь! Только скажи, что мать до последу ждала и с именем её отошла. И не по-Божецки родное забывать, не по-людски... — Я попрощался с тёщей и пошёл вслед за Алёной.

Выехав из деревни, мы скоро оказались у погоста, к которому от основной отходила мокрая, не накатанная дорога. Я повернулся к Алёне, но она опередила меня.

— Нет, я не готова каяться. И не за что. Может, когда решусь, сама всё ей скажу, попросить прощение никогда не поздно...

Дальше мы долго ехали молча. Я пытался понять, пускай для себя, насколько сильно и отчаянно любил Комель дочь, если, совершенно не сомневаясь, пошёл за неё на осознанный грех. И где та грань или черта, за которую так легко переступить в страсти своей, но которая должна существовать, испытывая нас и ограждая от безверия и дикости? Где и по какому лекалу чертит её каждому из нас судьба?!

Когда до города осталось совсем немного, я снова подал голос:

— Отец тебе деньги передал в последнюю нашу встречу, просил отдать, если нуждаешься. А я не знаю, нуждаешься ты или нет... Но деньги твои, давай до гаража доедем, отдам.

Шофёр скривил в улыбке лицо, а Алёна молчала, словно ничего не слышала...

Через несколько минут мы подъехали туда, откуда они меня забрали утром. Я ждал, понимая, что, скорее всего, больше никогда её не увижу.

— Это, наверное, пошло, но... сделай что-нибудь хорошее, если получится. На хорошее, обычно, ни денег, ни времени не хватает. А ты попробуй! — Она замолчала и, уже не ожидая продолжения разговора, я вышел, не оборачиваясь, пошагал на остановку, понимая, насколько Алёна права.

В воскресенье приехал к тестю и, боясь его упрёков, сразу рассказал ему о случившейся беде. Вся палата слушала, затаив дыхание, а тесть испуганно вскрикивал, изредка всплескивая руками.

— Чё, так и всё? Совсем, нисколько не отстояли?

Вот же как! И, как в яму? Гляди ты! Кто знал? На то он и Комель! Железный! А ты иди влезь в душу железного! У него, наверное, в груди и места нет. Там для сердца впадина строго по размеру, чтобы не застучало звонче. А душе-то, понятно, ей ширь нужна, свобода, а не замок под домом!

Слушая восклицания тестя, я вспоминал и понимал, что душа всё же у деда Коли была, только надёжно спрятанная от всех, и скорее всего, даже от себя. Это порода людей. Такие боятся показать кому-либо свою суть, даже родным, боясь быть не понятыми. И как же тяжело им, всю жизнь не позволяющим себе простой человеческой слабости, открыться родному или любимому человеку!

Тесть, спохватившись заговорил о жене. Я, боясь его испугать, старался как можно мягче обойти этот вопрос, но всё равно сказал, что тёща сильно испугалась, что фельдшер оказал ей помощь, и что она, когда я уезжал, лежала. Тут тестя прорвало. Он, уже не стесняясь, орал на меня.

— Ты иди, скажи врачу, что я — против. Пускай снимают с меня эту карусель и домой отпускают. Я все бумажки подпишу, не волнуйтесь, и любому, кто спросит, отвечу, как надо. Но быть здесь — не буду! Она там одна, вон что происходит, а я тут, как господин, лежу в тепле. И если нет, пальцами эти спицы поломаю, на пузе поползу, но домой — к ней, к жене... А там уже с Вороном решим! Я знаю, он не подкачает, не такой слабак, как некоторые...

Тесть заскрежетал зубами и, неуклюже сгибаясь, потянул ногу за гипс, стараясь дотянуться до аппарата. Я, удерживая его за плечи и снова называя отцом, озвучил свой, пришедший на ум только сейчас, план. Старик не сразу, но успокоился и, с надеждой схватив меня за руку, запричитал, — помоги, Игорёк, Христом прошу. Всё для тебя сделаю и ружьё потом подарю. Лучше моего нет ружья, хоть кого спроси!

Если он заговорил так, ясно, это — край. Ружьё у него по ценности стояло рядом с собственной жизнью! Теперь я уже знал, что делать, и спокойно сообщил об этом тестю. И он в ответ: — Жду сынок, пострайся...

* * *

В сентябре, мы приехали в деревню все вместе. Наши знали, что едем, и встречали машину у ограды. Тёща, наскучавшись, смеялась и плакала одновременно, кидаясь с поцелуями ко всем по очереди. Тесть виду не подавал, но, взяв на руки внука, немного даже всплакнул «от чувств!»

Когда улеглось первое веселье и тёща с женой пошли накрывать на стол, мы втроём подошли к подправленному тестем забору между его и Невзоровых оградями. Тесть поведаль:

— Баня и сараи хорошие, хоть сейчас по назначению используй. Сад за домом, что не посох от пожара, народил нонче хорошо. А людям я сказал, чтобы пользовались. Но как то не очень... Ребяшня нападает иногда, не бесконтрольно, правда — я слежу. И то хорошо. С травой вот дел много: три раза за лето косил и вот, чую, ещё надо будет — в зиму. А то не приведи, Господи, весной пал пойдёт, не удержишь огонь...

Я смотрел на огромный соседов участок с обсыпанной дождями печью, и казалось, что вот встряхну головой, протру глаза и увижу счастливый дом, деда Колю с никогда не виденною мной его женою, Алёну — их радость и внуков даже, для полного счастья! Ведь к этому же шёл сам Комель всю жизнь, об этом мечтал он, и, уж точно, жена его... Но нет, только холм, проросший уже новой жизнью, словно могильный курган, скрывающий его хозяина, тайну, никем не разгаданную, и верного, как в жизни, так и в смерти, кота Змея...

Я передёрнулся от волнения, как от холода, и, подняв сына, пошёл в дом, радоваться жизни.

Утром, по-осеннему уже довольно поздним, меня тихо разбудил тесть, чтобы не потревожить спящих со мной сына и жену присевший у кровати на корточки. Он теперь совсем перестал пить и, обретя в связи с этим много свободного времени, пробудил в себе сокрытые доселе залежи энергии.

— Теперь уж не знаю, — жаловалась тёща, — что лучше было: когда он два дня в неделю посвящал питию и опохмелу, как все нормальные, или теперь, когда он ни мне, ни себе отдыха не даёт?!

Сейчас же я, совершенно не выспавшись, подумал, что лучше бы он всё же того.. иногда выпивал. Но, дело есть дело...

В машине он с гордостью информировал:

— Стены быстро срубили, есть ещё «профессора» в этом деле! И потолки заузили в свечку, и балки с креплениями правильно врубили, а вот башенку — помучились... Хорошо, дед нашёлся в соседней деревне, он в детстве ещё, до войны видел, как это делается — вспомнил и нас надоумил. С его помощью и собрали. А плату знаешь какую потребовал? — Тесть, предвкушая моё удивление, засмеялся, — чтобы мы его на самый верх подняли! Хочу, говорит, и всё! Более ничего не надо. Так мужики его на верёвках, как ангела, туда вознесли и час на самой верхотуре держали, пока он плакал, да Бога за благость хвалил!

Увидев, что подъезжаем, тесть заторопился:

— Самое дорогое оказалось, печь хорошую сделать. Уж и так рядились, и этак... но кирпичей однѣх потребовалось более четырёх тысяч штук. И печник, Господи, прости, жлоб оказался, даром, что не местный. Но сделал хорошо и колодцы стеклом цветным бутылочным разукрасил — как радуга блестят. Бонусом, — говорит, — вам, за калым хороший...

Мы уже подъехали к кладбищу, где недалеко от входа стоял новый, небольшой, но и не маленький храм, с широким по всей лицевой стене крыльцом.

Вслед тестю, все поднялись по крыльцу и вошли в неожиданно светлое, довольно большое помещение с алтарём, и двумя, справа и слева, дверями.

Свод с врубленными в центр и, словно висящими, балками был величаво высок.

— По центру будет люстра потом, со временем. Слева — дверь для батюшки, когда приедет, отдохнуть да покушать. Справа — комната печника, зимой не всегда, но по праздникам надо будет... А то, глядишь, и пойдёт народ, так и всю зиму будет топить. Оно и правильно, без веры никогда нельзя: ни зимой, ни летом, ни в жару, ни в холод...

Я смотрел на тестя и не узнавал его.

Весной я из денег Комля взял ему на платную операцию. Уже через неделю тесть на своих ногах, правда с костылём, уехал домой. А на основные, довольно большие деньги, мы решили построить на деревенском кладбище храм, который там, по словам стариков, до войны был. Сам тесть, уже в мае взявшись за организацию работы, сегодня с радостью отчитывался, бегая по стройке без костыля и, даже не хромая:

— Думаю, в ноябре-декабре закончим всё, и на Рождество — службу, после освящения, само собой!

Потом вспомнил и спросил меня:

— А доску привёз? — мы пошли к машине.

Открыв багажник, я вытащил большую, лёгкого железа крашеную золотом доску с выделенной чёрным надписью:

***«Храм построен народом Христианским,
на средства переданные семьёй
Невзорова Николая Тимофеевича,
Невзоровой Ольги Ивановны
и дочерью их Алёной, а также
людом крещённым и Богобоязным,
с Божьей помощью
и словом.»***

Тесть прочёл несколько раз, наконец удовлетворённо заметил:

— И ладно. Я думаю, это лучшее, что мог пожелать себе дядя Коля, когда был человеком, когда был тайной и когда стал памятью!

10-11 ноября 2015 год.

Ночь.

Последняя коммуна

— Я последний раз говорю, последний! Видит Бог, стою тут из уважения к заслугам ранешным — и ничего больше... Даже старость ваша меня не волнует, вот так! — кричал, прыгая козлом у заполненного людьми ПАЗика, председатель сельсовета, ранее большого, с тремя отделениями, совхоза.— Неужели трудно понять, что нет уже вашей деревни, ну, нет! И денег на вас нет, и больницы здесь нет, и даже дороги сюда зимой не будет. Заметёт вас и похоронит буран-бродяга — не откапаем!

От стоявшей в стороне небольшой кучки людей к автобусу подошёл высокий, с орлиным, торчащим из густой седой бороды, носом, мужик или, скорее, дед и, подняв веслом руку в сторону кричавшего, уверенно заговорил:

— А ты не ори, горло сорвёшь или кадык треснет! Мы же ясно сказали, что в город не поедem, нам там крышка!

— А здесь? Здесь вам что, радостный отпуск на всю зиму? Тут же и свет отключат скоро, и холода попрут, и жрать надо будет вам, и лекарства... — председатель запищал в конце речи и закашлялся...

— Мы тебе бумагу отказную написали? Написали! Мы всё объяснили? Объяснили! И теперь за всё, что дальше будет, мы сами в ответе! Сами! А вы давайте уезжайте, а то, кто знает, вдруг буранчик не ко вре-

мени... Придётся и вам оставаться на зиму! — дед, лукаво улыбаясь, пошёл, не оглядываясь, к стоящим плотной группкой, немного растерянным двум дедам и двум бабкам, одетым, на удивление, нарядно...

— Ну, и... ну, и Бог с вами! — махнул рукой председатель, передумав в дорогу поминать нечистого, хотя очень хотел на него сослаться, — я больше вам не указ и не судья — оставайтесь!..

«ПАЗик», продыбив старым мотором, тронул, и тяжёлая осенняя пыль, быстро осев, почти загладила его следы...

Бабки, не стесняясь, всплакнули, а деды поиграли желваками, поскрипев остатками зубов, от слёз воздержались.

Старик подошёл к односельчанам и, не поднимая головы, пояснил им, как маленьким: «Всё, уехали... Теперь, ежели что, только к маю людей ждать, не раньше... Хотя, можа, какие охотники в зиму нагрянут отсидеться в непогоду или, ещё хуже, мародёры — дома ломать, что не дай, Бог...»

Бабки ещё больше запричитали, а деды, отвернувшись, пошли тихонько в деревню...

Ранние сумерки куцего дня быстро сглотнули последний цвет, одев всё в серое, а потом и свет, оставив светлым только небо над головой, по сторонам так же размазав его тёмным...

Наступала первая ночь новой жизни. Первая для пятерых стариков, не пожелавших раствориться в домах престарелых в большом и чужом городе...

* * *

Ещё раньше все решили жить в доме Кузьмича, вернее, Никиты Кузьмича Коврова — старика с орлиным профилем. Его дом был одним из лучших в деревне, если не самый лучший. В одной из трёх просторных комнат устроятся женщины, в другой — мужчины, а третья — общая, для посиделок. Про-

сторная кухня, с не по-деревенски большим окном и широкой «полурусской» печью, оставалась именно кухней, со всеми вытекающими из этого действиями в ней. Большая, на полдома, стеклянная веранда через неширокий, перекрытый жестью переход соединялась с сараями, полными берёзовых дров и остатков угля. Там же в сарае, в землянке для зимовки кур, за неимением последних, справедливо полагая, что это самое тёплое место, деды, уже втроём, сделали отхожее место. Но, «почти подземный» туалет, хоть и был тёплым, получился совсем тёмным — свет не проникал ниоткуда. Пришлось на уровне лица прибить высокую банку из-под сельди и прилаживать туда стеариновую свечу. Получилось неожиданно уютно, и решили: свет зажигать по просьбе бабушек, только самим. По очереди!

В общем, в доме Кузьмича остались жить: Ипатов Пётр Иванович — бездетный вдовец, сосед Кузьмича справа, и Крыков Иван Степанович, тоже вдовец. Но дети у него были, только далеко, в Израиле: дочь вышла замуж за тамошнего парня, солдата...

У самого Кузьмича был сын, но, попал в тюрьму почти двадцать лет назад и, отсидев, домой не вернулся. Это усугубило тоску его матери — жены Кузьмича и, как следствие, её болезнь. После смерти жены Кузьмич не вспоминал о сыне, словно, его и не было...

Бабки тоже были общими соседками, вдовы, но имеющие детей где-то далеко, там... где ЛЮДИ живут!..

В просторной, но пока чужой для всех, кухне расселись по «ранжиру». В основании стола, спиной к стене с окном — сам хозяин, слева Пётр Иванович, справа Иван Степанович, женщины — ближе к печи, то есть, как и положено, к суете!

Стол был почти накрыт, за исключением горячего, стоящего на печи, но все сидели молча, ощущая какую-то тяжесть, крепко повязанную с почти болезненным сомнением в правильности поступка...

— Ну, ладно: не на поминках — давайте думать о хорошем, а ждёт нас жизнь, правильнее, чем в городе в старческих домах!

Все выпили хозяйской настойки и, как по команде, захрустели неуспевшими ещё «омякнуть» солёными огурцами. Хмель быстро ударил в головы, и если деды ещё держались, то бабки уже улыбались сквозь слёзы...

Да, в конце концов, что теряют-то? Лучшего уже не будет, а хуже — некуда! всю жизнь, начиная с послевоенных голодных и нерадостных лет и до недавних, когда были в силе, работали. Работали на износ, упирались, как кони в хомутах, но тащили, тащили, тащили! И поднимали многое, и стерпели, и зажили хорошо! Нет, не верьте, что жили в российских деревнях плохо и безысходно при советской власти, не верьте! И работали, и отдыхали, и веселились в праздники, и детей рожали! И не прятались друг от друга, и жили честно, и руки друг другу жали! Не может многомиллионный народ, хоть он и не поголовно образован, врать! Ну не может! Поймите вы это, господа, или, как вас теперь... И то, что всё создававшееся годами ныне брошено в тартарары, и, что никому нет дела до людей, живущих здесь, так за это, тех, кто в этом повинен пусть Бог простит... Люди — не смогут. А Бог — он великодушен, авось помилует!

...И долго горел огонёк в окне одного из домов большой деревни. И слушали с завистью брошенные дома, лупя свои ослепшие окна-глаза, как пели там грустные и следом — весёлые песни, выводя голосами мелодии, подстукивая в такт ногами! Пели, то плача, то радуясь, давая волю чувствам, и не стесняясь этого, как могут только русские! Да как же ты ранима, вольна и безмерно ТЕРПИМА, русская душа!

* * *

Кузьмич проснулся раньше всех, но решил полежать, не тревожить народ: вчера засиделись! Поздно

просыпающийся ноябрь позволял понежиться в темноте, в тёплом обжитом доме. Улыбаясь, он задремал и проснулся, когда на кухне тихонько разговаривали бабушки. Вскоре зашевелились и деды, кряхтя, но благодарствуя небо за новый день.

В комнату вошла дородная Мария, раньше высокая и красивая, и сейчас пытающаяся не терять осанки, открыла тяжёлые спальные занавески. За окном — белым, чистым, как пух, саваном лежал снег.

— А я вышла и онемела! Вчера вокруг черно было, сегодня — как сказка, всё! Подумала, что, наверно, умерла ночью потихоньку и уже в раю хожу! Гляньте, красота какая!

— Да нет, ты ещё не там, если мы рядом, — засмеялся Кузьмич, — мы пока себе рая не намолили...

Красота и, по-детски, свежее торжество до слёз умилили всех.

В этот день отключили свет, и старики целый день ладили подсвечники, расставляя их по комнатам. Иван притащил из дома хороший керосиновый фонарь, но керосина было мало. «А солярка коптит ужасно, давайте его будем по праздникам жечь. В будни и свечей хватит...»

Первый день прошёл в суете, быстро. Каждый, словно заранее уговорясь, взял на себя какую-нибудь обязанность, нужную и важную. А поскольку всё спрашивали у Кузьмича, он как бы стал главным, чего почему-то застенялся.

— Ты, Никитка, не тушуйся, комиссарь, но тока по совести... Ежели чё, мы тебя махом свергнем и Марью назначим! — старики посмеялись, но согласились на такой порядок.

Ночью они (деды) долго не спали и в полголоса «шептались».

— Слышь, Кузьмич, — начал дотошный и обычно молчаливый Пётр, — надо на кладбище сходить как-то, до холодов...

— Это на кой? Заскучал по бабке? Давай помянем, сходим и стол соберём...

— Да не. Я думаю, надо могилу в запас выкопать... Вдруг кто осядет из нас, так потом очень будет трудно вдвоём, и земля совсем встанет...

Деды, сражённые «железной» логикой, молчали.

— Дак могилу будем тебе рыть? — Кузьмич затаился.

— Почему мне? Можя, я не первый, даст Бог...

— Правильно! Так, если мы выкопаем на твоём месте, около твоей бабки или, скажем, около Ивановой, а скovyрнусь я, ты меня к своей допустишь?

Теперь замолчал Пётр, Иван тихонечко хихикал.

— Значит, надо копать на новом месте или три да ещё бабкам — итого пять! Завтра приступаем? Или как? — Пётр молчал...

— А вот и терпи до весны, суетливый! Что случится с тобой, так не сомневайся, мы с Иваном тебя в палисаде прикопаем до весны, как мумия пролежишь. А весной народ вернётся, и мы тебя — с почестями, и...

— Не надо, я уж потерплю, пока люди вернутся — уже громче перебил Пётр, — да и пожить ещё охота.

И от кольнувшей сердца тоски все враз замолчали...

* * *

Зима старикам благоволила. Мороза не жали, ветра сильные ещё не дули. Тоскующие, они, каждый, протоптали тропинку к своей избе. Деды просто заходили, подчищали ограды, заглядывали в пустые сараи, но бодрились. Бабки же приходили заплаканные и приносили с собой что-нибудь, дорогое для них на сегодня. Их комната стала похожа на музей народного творчества со множеством старых безделушек, лубочных картинок и фотографий родни до третьего колена! Заглянувший однажды в их комнату, Кузьмич возмутился.

— Вы это, что, подруги? Ко мне насовсем переселяетесь? Скоро ваши причиндалы из комнаты вываливаться начнут, хватит! Весной вы уйдёте по домам, кто всё обратно стаскивать будет? Я?

Женщины, грустно улыбаясь, пообещали не носить больше ничего из походов домой...

* * *

Тридцатого декабря поставили ёлку. Кузьмич несколько лет назад, ещё при бабке, посадил несколько сосёнок и ёлочек в огороде вдоль забора. И хотя сильно не ухаживал, несколько выросло. Но сажал он их близко и теперь, поднимаясь, они теснили друг друга... Это обернулось неожиданной радостью! И вечером, наряжая срубленную красавицу при свете керосиновой лампы, все по очереди вспоминали ушедшее уже в безвременье детство...

— А я помню, отец в сорок третьем, по ранению пришёл, и на радостях решили Новый год справить. Только ни игрушек, ни ёлки — вообще ничего нет... Батя на одну ночь только успевал — и на фронт. Они с мамой шоколадку на дольки наломали, завернули в бумажки цветные и навешали на ветку еловую. А я за стрелкой слежу на будильнике! И вдруг он: «Бзы-ы-ы!» Время! Новый год! Я фантики разворачиваю, ем шоколадки и задыхаюсь от удовольствия. Мать плачет, отец смеётся, я счастлив!!! — Старый Пётр замолчал и большой рукой взял за ниточку хрупкий шарик...

— А потом? — все ожидали продолжения.

— Потом я уснул, отец ночью ушёл и через двое суток погиб в разбомблённом эшелоне... Но я его ждал до пятнадцати лет, пока похоронка не пришла по запросу нашему, уже далеко после войны... И мать я больше не видел смеющейся никогда...

Он зашмыгал носом, рывком встал и вышел в тёмные сени. Хрустальный шарик покатился по полу, сверкая под светом лампы.

В комнате повисла напряжённая тишина. Все почувствовали, что рассказ Петра очень похож на что-то из их жизни: у каждого детство было омрачено войной, и каждый помнил страх и трудности, с ней связанные...

Кузьмич опомнился первый.

— Ну, хватит, братцы, ведь Новый год завтра — праздник! Давайте попробуем повеселиться, ведь живые же мы ещё. Так, родные мои?

Все облегчённо заулыбались и наперебой заговорили.

— А давайте завтра подарки вручать друг другу, по кругу? Сейчас напишем на пяти бумажках цифры, от одного до пяти, и первый — второму, второй — третьему, а пятый — первому.

С предложением Настасьи Андреевны согласились. Пётр скрутил пять трубочек и тщательно перемешал в старой глубокой шапке. Кузьмич, улыбаясь, достал бумажку, долго раскручивал её негнушимися пальцами и, наконец, произнёс, поворачивая листок к людям.

— Первый!

— Вот надо же так, а, — восхитился Пётр и тоже потянул руку...

Будет завтра праздник!!!

* * *

Тридцать первого проснулись рано. Сначала — Кузьмич, почуя запах зажжённой свечи из комнаты женщин, тихонько заметил:

— Всё, повскакивали! Как, молоденькие! Правда, не терпят, уже готовятся!

Оказалось, что и дед Пётр с дедом Иваном не спят.

— Да, чуть подремали и зашушукались. Потом и свечку засветили, можа, гадают? — дед Иван приподнялся и посмотрел на тонкую полоску бликующего из женской комнаты света.

— Ага, гадают: на суженого, ряженого и в дружки саженого... Вечером узнаем, кому счастье выпало, а то, можа, и свадебку сразу справим, — откликнулся дед Пётр, — наверно, на «мэра» нашего гадают, кому достанется! Он же всегда первый! — и он, не сдержавшись, невесело засмеялся.

— Ты, Петя, не бузи. Похоже, ревнуешь, что ли? Не надо. А бабкам, как посветлеет, выговор влеплю, поставлю на вид или ещё как-нибудь накажу, допустим, наряд вне очереди! Чтобы спали, как положено старым, и смуту не вносили в утренний график.

Теперь уже смеялись все, прикрывая рты одеялами. И хотя спать уже не хотелось, компания, не сговариваясь, замолчала, демонстрируя показное равнодушие. Иван даже стал притворно похрапывать, вызывая понимающие улыбки у друзей.

Но солнышку ещё отдыхать, и деды неожиданно задремали.

Разбудили их уже по свету. Дед Иван удовлетворённо потянул носом:

— Чё-то пекут! И чай смородиновый, и, вроде, мёдом тянет. А? — он сел на кровати и привычно перекрестил открытый в зевоте рот.

Дед Пётр тоже сел, трогая рукой седую щетину.

— Как в детских яслях живём, ей Богу! Хотя мне и не приходилось испытать в детстве, зато чичас — как надо. Поспал — поел, поел — поспал, немного погулял и спать — во как...

Кузьмич, не обращая внимания на горечь в словах Петра, предложил:

— Давайте баню растопим, пока доходит, ограду расчистим, подстригёмся и ещё чего... Может, бабушкам чем помочь. А вечером — попаримся, и праздник подойдёт.

Деды, не без удовольствия, согласились!

... Пришедший день принёс ожидание совершенно забытой радости, Постоянные переклички друг с дру-

гом и несложные дела, выполняемые с неподдельным старанием, наполняли всех лёгким трепетом и волнением, предшествующим празднику. Деды: Пётр и Иван расчистили от снега большую ограду Кузьмича. «Хоть шайбу гоняй!», — хвастались они, вышедшим «дыхнуть воздуха», бабушкам.

Кузьмич, обожающий баню, взял на себя ответственность за всё, с нею связанное. Остановясь возле шныряющих с охапками дров друзей и не в силах сдержаться, он «подключился»:

— Ты баню не гони жарой, не торопи сухими дровами! Ну, и что, что ты каменку за час раскалишь добела?! Что? Ты душевности-то банной не добьёшься, не заставишь тело твоё полюбить, душу успокоить! Не торопись — это не саун, где деньги платят... Надо её серьёзной дровой покормить, октябрьской! Я смолоду дрова на баню в конце октября готовил. И баня-то, заметь, любит такое дело! И впитывает в себя этот жар, как тёплый мёд хлеб! И томится, и уже ждёт, и лечит теплом этим человека, желающего и понимающего сущность происходящего... — Поучал Кузьмич, задыхаясь от предчувствия любимого действия!

Деды заворожённо слушали.

— Знаешь, Кузьмич, — Иван улыбался глазами, — ты, словно бабе в любви признаёшься! И был бы я той бабой, вот те крест, уломал бы ты меня!

И они громко, и по-хорошему смеялись, наблюдая, как Кузьмич заторопился в предбанник, возмущаясь их игривостью.

Примерно к 4-м часам дня (часы шли без проверки, подводимые Кузьмичём обычно по утрам) баня была готова, и все решили, что первыми пойдут мужчины.

— Нам-то жары слишком и не надо, вы парьтесь, но в печь больше не подлаживайте, не к чему. А после, пока отлёживаетесь, мы обкупнёмся... — были единомышленны бабы.

Деды согласились и уже через пять минут сидели в предбаннике. В бане, действительно, чувствовалась тёплая истома от прогретых бревенчатых стен.

— Как надо! — улыбаясь, проговорил Кузьмич и пошёл заваривать веник.

В этот вечер деды, не знающие, как Кузьмич любит баню, и попробовав с ним попариться, почти всё время просидели в предбаннике, сначала удивлённо молча, а потом уже и подавая голос в попытке урезонить друга... Наконец Кузьмич выпал из парной и, развалившись на лавке в предбаннике, выдохнул: «Теперь давайте вы, мужики, там ещё пару хватит!» «Мужики», не разделяющие страсти Кузьмича, конечно, пошли, но, ссылаясь на время и, наверное, недовольство женщин, быстро обмылись и заторопили Кузьмича. Тот, без явного желания, поднялся, и все гуськом пошли в дом.

Женщины всё сделали гораздо быстрее ещё и потому, что мылись уже со свечкой.

Наряжались весело, окликая друг друга через кухню, как через границу, разделяющую комнаты. По случаю праздника дед Пётр заправил свою лампу чистым керосином. Пылавшая довольно ярко, она выхватывала светом отдалённые от стола места. Ёлка, наряженная настоящими стеклянными игрушками, так сияла освещённым боком, словно была увешана переливающимися гирляндами. Свечи, зажжённые в баночках по комнатам, вырывали из полутьмы расставленных здесь же старинных, ещё ватных Дедов Морозов и Снегурочек.

Всё было так красиво и тожественно, что бабушки восхищённо вздыхали, а серьёзный и даже угрюмый дед Пётр не выдержал: — Вот ведь, а? Красота, прости, Господи! И это, как его? Волшебство, что ли?! — и он почувствовал, что краснеет, в душе благодаря праздничный полумрак.

Усаживались, гремя стульями и звеня посудой. Но, рассевшись, почему-то сразу замолчали, глядя друг на друга. Инициативу опять взял Кузьмич:

— Настя, ты будешь тамадой. А то мы так до китайской пасхи досидим и свой Новый год не встретим! Ты же раньше в клубе работала?!

— А, давайте! — баба Настя с улыбкой встала и подняла бокальчик с дедовой «сахарной» настойкой. — Поздравляю вас, милые мои! Поздравляю и верю, что следующий год мы встретим ещё лучше, и гостей будет больше. Надеюсь, что поймут они, что заслужили мы... что нельзя так с людьми... — она вдруг всхлипнула и прикрыла глаза рукой с рюмкой, капнув из неё на скатерть.

— Вот те, раз! — нашлась Марья Николаевна, — ну, слава Богу, провожаем старый год слезами, Новый встретим песнями. Давайте забудем плохое, оставим гадкое без хозяев! — и все, заулыбавшись, выпили.

Понемногу всех увлёл праздник. Лёгкий хмель не давал плакать, и деды вспоминали смешные и просто интересные случаи из жизни.

Неотступная тоска по людям, по общению всё же отпустила сердца, и все искренне радовались. Когда часы простучали двенадцать, все закричали «ура» и стали поздравлять друг друга, а мужики по очереди целовать бабушек.

— Эх, Настя! Скока в молодости мечтал губы твои попробовать, — гудел разошедшийся Пётр, — но духу не хватало... Так вот теперь хоть не отвергай меня, давай поцалуемся! — и старая Настя, не заставляя себя просить, с готовностью подставляла губы...

Когда немного упал градус веселья, занялись подарками. Первому по «списку» Кузьмичу выпало дарить что-то Ивану. Не долго думая, он заранее заготовил ему складывающийся спиннинг китайского производства. Иван уже рот открыл для вопроса, но

Кузьмич опередил.

— Знаю, знаю, что зима! Но будет же и лето! И вот мы с тобой будем приобщаться. Я видел, у нас прям с берега, между камышей городские бросали — то окунь, то щурёнок!

Иван сам не видел рыбаков, но Кузьмичу поверил и, улыбаясь, пожал ему руку. А потом сам, бывший вторым в списке, ушёл на улицу и затащил в дом красивую прялку с цветным колесом и деревянной педалью!

— Вот тебе, Маша, заделье от скуки на долгие вечера. Она остынет с мороза, так с голосом прядёт, как лёгкий ручеёк поёт! — и, хотя шерсти, чтобы завести этот волшебный аппарат, не было, все воодушевлённо захлопали.

Марья подарила Петру неизвестно как сохранившийся у неё одеколон «Ромен» и, как новый, цветом вышитый кисет. Дед Пётр уже не курил, но рубленый самосад нюхать любил: «К месту, к месту!»

А дед Пётр вдруг засмутился! Его очередь дарить подарок, да кому — Насте! Он зашёл в комнату и вышел с цветным пакетом в руках.

— Вот, Настя, прими на память о нас с... — он немного запнулся, — с бабкой! И не обессудь... — Он подал пакет и отвернулся. Баба Настя открыла пакет и достала оттуда большой, лёгкий пуховый платок. Она ловко накинула его на плечи и, чуть поддёрнув, как кокетка, прикрыла лицо. Платок, пахнувший нафталином, был мягок и красив.

— Спасибо, Петя, — поблагодарила она, тем самым опять вызвав его смущение...

Кузьмичу Настя подарила унты покойного мужа, мужика бережливого, поэтому унты были в отличном состоянии. Кузьмич их сразу надел и прошёлся, подпрыгивая, подстукивая и свирепо скрепя подошвами!

Иван достал свою старую, «как жисть», тальянку и неожиданно складно и знакомо заиграл родные до

боли мелодии, с которыми шла и продолжалась их жизнь.

И влились смех и плач гармонии в душу! И увидели деда красивых девушек за столом, а бабушки — кудрявых азартных парней. И поднялась сладкая волна в их сердцах, и протянули они навстречу друг другу руки, и — эх! — пошли, пошли ногами с перестуком, и глазами со скрытым томленьем, и руками, как шеями лебедиными, волнуя... Ох, как проснулась в них вдруг память, возвращая забытую радость и надежду на продолжение всего...

Деда устали скорее и присели к столу, улыбаясь и прихлопывая в такт руками. Бабушки же, не останавливаясь, подмигивали гармонисту, и он, поняв, осадив меха и развернув удобнее плечо, вдарил что-то зажигательно-весёлое, и они пошли в уже скорый неудержимый пляс...

Ах, праздничная круговая!

* * *

Назавтра проснулись к обеду. Первый день нового года был светел и уютен, поэтому все лежали и думали, каждый о своём. И ведь, может, и не так всё страшно и безысходно в старости, если позволить людям жить? Именно жить, а не существовать...

— Никита! — Кузьмич вздрогнул и приподнялся на локте. Пётр смотрел со своей кровати серьёзно и как-то отчаянно... — Я это, вчера Насе предложил... мы с ней вместе решили жить, потом, когда потеплеет... она согласная! — Пётр неожиданно улыбнулся и покраснел.

— Началось, — подал голос Иван, — свадьбы поплёрли, праздники — не спиться бы...

— Тебя никто и не приглашат пить, на трезвую голову хоть слова твоих песен понятны будут, а то кар-каш, как ворон...

— Нет, на трезвую голову совсем ничего не могу

вспомнить, ведь я давно играл, и пальцы не шевелятся хорошо, и голоса нет...

— Вчера я этого не заметил. Под утро ты уже и в присяде играл, и на лавке лёжа, и на одной ноге, — Пётр осторожно засмеялся.

— Так я и говорю, что по-сухому уже не смогу. А душу смочил немного, и, глянь, понесло, как в юности!

Помолчали.

— Ну, если по теплу, то ладно, я думаю, а чичас не надо смуту вносить. Да и отдельно жить трудно вам будет, так ведь? — Кузьмич смотрел на обоих.

— Да, — дед Пётр с улыбкой закрыл глаза.

* * *

Новый год удивлял! Завтра Рождество — а ни морозов, ни снегов! Солнышко, хоть и встаёт поздно, а за короткий день всё равно радовать успевает. Южная солнечная сторона дома Кузьмича днём бывала даже тёплой, и все этому восхищались. Порой в доме становилось скучно, и коммунары подолгу бывали на улице. Причуды природы, возможно, не замечаемые раньше, сейчас с азартом обсуждались:

— Это всеобщее потепление! — рассуждал Пётр, — я раньше, при свете, по ящику слушал. Всё теплее и теплее. То ля океян повернулся, то ля солнце накалилось. Но, тока скоро снега уже не будет, край — дождь холодный...

Бабушки непритворно ойкали, Иван, у которого было своё мнение, снисходительно смеялся, чем злил Петра. Кузьмич правды не знал, а балаболить не любил... И только одно было очевидным — всем было хорошо!

* * *

На Рождество, когда садились за праздничный стол, все враз слышали нарастающий шум, и к дому, заметному издали по дымящейся трубе, подлетел

поперёк тропинок снегоход. С него соскочил здоровый мужик и уверенно зашагал по протоптанной дорожке в дом, поправляя висевшее сзади ружьё.

— А вот и неожиданные гости, — тихо сказал Кузьмич, и это всех встревожило...

Гость протопал через веранду и, для порядка постучав по косяку, сразу вошёл, плотно закрыв за собой дверь.

— Деревенский, — понял Кузьмич.

Мужик встал в дверях и из-под шапки внимательно всех осмотрел, щуря со света глаза. Остановив взгляд на Кузьмиче и, сняв шапку, громко поздоровался: «Здравствуй, отец!»

И Кузьмич узнал в мужике сына, которого растил, носил на руках, кормил с ложечки... Сына, на которого надеялся, как на помощника в старости, которого любил и берёг... И, наконец, сына, который, совершив преступление, сел в тюрьму, а выйдя, домой не вернулся...

Он опустил глаза и, играя желваками, внятно произнёс:

— У меня нет сына!

— Вон даже как! — мужик огляделся и, не найдя вешалку, кинул шапку с курткой в угол. — Ну, тогда приглашайте к столу, православные. С Рождеством вас великим! — он неожиданно перекрестился, снял и поставил ружьё у двери стволами вверх и, тяжело ступая, сел за стол.

— Надеюсь, не погоните путника, тем более, одной веры? — и он назвал всех, сидящих за столом, по имени-отчеству. — Ну, а меня звать Андрейка, Андрей Никитич Коржов, собственной персоной!

Его, конечно же, все узнали, но, видя реакцию Кузьмича, старались не выказывать никаких эмоций. Кузьмич вдруг встал и, накинув тулуп, вышел на улицу. Андрей, недобро улыбнувшись и надев шапку, вышел следом.

Кузьмич стоял, облокотившись на забор. Андрей подошёл сзади.

— Не надо так, отец! Я шёл сюда, но дорога моя запетляла в пути. Много горя я хапанул и много чего видел. Но тебя живым не думал встретить, да и что живут здесь люди, не ожидал. Давай растопим нашу баню, попаримся и поговорим обо всём. Мне есть, что сказать...

Кузьмич, не поворачивая головы, тихо ответил: «Давай. Но только потом уедешь отсюда. Хорошо?» Андрей согласно кивнул и вдруг с каким-то весёлым вызовом предложил:

— А давай, я сам всё спроворю: соскучился по всем этим забавам!

Кузьмич, длинно и тяжело посмотрев на Андрея, согласился.

— Делай, только воду далеко таскать. Колодец всего один, на той стороне деревни, за школой. Мы сейчас всё больше снег таим — проще...

— Да я вон на снегоходе с флягой слетаю, не волнуйся, — и Андрей пошёл в сторону бани.

Кузьмич, немного постояв, ушёл на веранду и, подняв воротник, стал смотреть на сына через большие окна. И чем дольше он стоял, тем сильнее чувствовал, как же сильно он любит его и как сильно ждал, терзаемый жестокими сомнениями...

Андрей помнил всё! Он скоро заскочил в сарай, вынес охапку сухих берёзовых дров и ловко помельчил их топором. Открыл банные двери, и уже через пять минут труба задымила тёмным берестяным дымом. Прекрасно зная, что отец — коренной деревенский житель, обязательно заготовил зимних дров, он зашёл за сарай и через полминуты уже катил огромную мёрзлую чурку. Посмотрел на неё, знакомо склонив голову, и прикатил ещё одну и ещё. В сарае взял старый, ещё дедов, колун. Поставил на большую чурку меньшую и, отступив на шаг, поднял колун...

Зимние дрова пилят перед самыми холодами, в конце октября, и оставляют обычно в чурках именно для того, чтобы не сохли и не вымерзали. Зато, наколотые зимой и подложенные на сухой огонь летних дров, они дают жар, сравнимый с угольным. Только дыма намного меньше и зола, как серый пепел, потом...

Андрей умело, немного отставляя ногу, как-то складно, с «хаканьем», опускал колун на чурку, и от неё отскакивали узкие пластины. Переколов все чурки в ровные куски, он сменил колун на лёгкий топор и весело нащёлкал из пластин ровные поленья: не мелкие, а, именно, какие надо для поддержания жаркого огня. Затем, за несколько раз стаскав дрова в предбанник, вытащил из бани флягу с плотно закрывающейся крышкой, поставил её в багажник снегохода и, пригнувшись за стеклом от ветра, газанул. Мощная машина, по-звериному рыкнув, полетела, почти не касаясь снега, в конец деревни, к колодцу.

Кузьмич беззвучно плакал, прикрыв лоб и глаза огромной рукой. Его это сын, его! Ловкость и жизненная сноровка, разумное обузданное ухарство и понимание дела — это именно то, что он вживлял в него с детства, от самой материнской груди! Это то, что он показывал своим примером, никогда не отбирая у сына ни топор, когда тот еле поднимал его, помогая отцу, ни косу, разрешая вставать, совсем ещё салаге, в прокос... И если уж не полюбил всего этого Андрей или, может, не успел полюбить, но делать умел...

Из избы кто-то вышел.

— Никита, можно мы-то из дома выйдем, уже полдня просидели, как затворники! — Пётр стоял, держась за открытую дверь.

— Выходите, кто вас держит?

— Да мы думали, вы ещё говорите...

— Решил он нам баню сладить, не против попариться на праздник?

— Мы, вроде уже, как бы выпили по малой за Рож-

дество, так пару не поддержим, но сполоснуться за компанию — да!..

— Ну, вот и хорошо! — Кузьмич стёр следы слёз и вошёл в дом.

Навозив в баню воды, Андрей вошёл следом. Немного успокоившиеся старушки посадили его за стол и стали потчевать. Утолив первый голод, он заговорил с дедами о «ранешных» временах и стал вспоминать случаи из своего детства:

— А помнишь, дядь Ваня, я с твоей дочкой гулял, совсем ещё сопляком? Она наменкнула однажды, мол, взрослые цветы дарят своим дамам... Я — хоп, через дорогу в палисадник, напластал там первых цветов и обратно. А ты её уже домой загнал и сидишь сам в тени ночной на скамеечке! Я с разбегу: на, мол, цветы, а ты говоришь, ломая голос: «На что мне цветы, давай медовухи, какая у отца в погребе...» Господи, как я бежал! Не ожидал вместо девочки, какого-то лешего встретить! К себе в комнату заскочил через окно, плачу и смеюсь, что не пойманный убежал... А испугался так, что не мог вспомнить, зачем я к вам ночью зашёл? Это уж когда засыпать стал, вспомнил...

Все в доме рассмеялись и наперебой стали делиться разными историями из деревенской жизни, совершенно уже забыв, что ещё три часа назад беспокоились, увидев Андрея.

Кузьмич сидел отдельно от стола и, глядя на веселье, качал головой. Как он хотел вскочить и обнять этого парня, прижать его к себе, закричать от радости! Но что-то его держало, что-то противное, леденящее душу и сердце. И он смотрел, смотрел на Андрея, пытаюсь понять, кто пришёл в его дом сегодня, и зачем?

К сумеркам баня натопилась. Кузьмич взял новый полотенец себе а Андрею, по его просьбе, покрывало. Когда они шли через двор в баню, Мария, глянув в окно, заметила:

— Они так похожи... И со спины спутаешь, кто где. Вот же уродился сын в отца! — все деды, подумав, согласились, что это так.

* * *

В предбаннике разделись, и Кузьмич увидел на теле сына наколки, сделанные явно умельцем. Он сначала молчал, но любопытство победило.

— А что это за картинки, звёздочки?

— Не будем, батя, давай париться! Скажу только, что я не последний человек...

— Где ты так? — Кузьмич не понял.

— Там, — неопределённо махнул головой Андрюха и вошёл в парилку.

Кузьмич сидел на широкой лавке, слушая, как яростно парится его сын и глядя на стеариновую свечку, мерцающую слабым огоньком... «Как жизнь, свечка-то. Новая — высокая и гладкая, зажжёшь — огонёк тоненький трепещет. Потом маленько разгорается, крепнет, уже и пламя светлое! К середине вообще шпарит, пламенем разогретая, стеарин льётся безудержно, чай можно варить! Потом — раз, что-то происходит, фитилёк вовнутрь проваливается и шает в жиру, вроде и огнём, а света нет! И огонёк-то трепещет, бедный, мечется, как бы говоря: «Вон меня ещё сколько! Поддержите, от ветра прикройте, фитилёк поправьте, и я ещё посвечу», — так-то... Но... Чуть сквознячок дунул или, ещё проще, кто-то кашлянул неосторожно, или вовремя не скапнули из выгоревшей ямки парафин, и пук — исчез огонёк, а никто и не заметил! Светло же вокруг, и много новых, ещё не пожжённых свечей. Господи, ведь так и есть!» — и у Кузьмича, в общем-то совсем не слабого мужика, по спине пробежали мурашки...

— Что это я? — он тряхнул головой и крикнул в парную: — А ну, дай-ка я, сын, погреюсь, а то выстыл уже здесь, — и шагнул в калёный ад земной преиспод-

ней. В лицо пахло жаром, и Кузьмич от неожиданности присел.

— Однако! Силён! Молодец!

Андрей вышел, шатаясь, и лёг на лавку.

— Обожаю всё это, отец!

Кузьмич залез на полку и затаился: минутки две-три пообвыкнуться надо, чтобы зубы с холоду не занули... Он подождал немного, и в тусклом свете свечи, стоявшей на окне, приметясь, плеснул берёзового настоя на каменку. В бане ухнуло, и свеча погасла. Но небольшое окошечко давало ему именно столько света, сколько хватало для истинного наслаждения паром. Не выпуская ковша из руки, он поднял немного ноги, и левой рукой стал веником гнать жар на них.

В лихие девяностые он, совсем ещё крепкий мужик, пошёл зимой из райцентра домой пешком. Эти двадцать километров до деревни Кузьмич прошёл за три часа, но городские ботинки на серьёзный мороз были не рассчитаны. Ноги он застудил и теперь чувствовал ими погоду, как хороший барометр. Сегодня ноги вдруг заломило. Он грел их паром и упорно думал: «Всё к одному! Сын вернулся, а радости нет, наоборот, боязнь какая-то... Как будто должен ему что-то, обязательно важное... А ведь, может, так и есть?.. Ведь помоги тогда, когда попал под суд, попытайся выручить, может, денег дать надо было... и не пошёл бы он по этому пути...»

Кузьмич вспомнил, что он в парилке и, плеснув ещё, стал уже париться по-настоящему...

В предбаннике тоже было тепло и после, горячие, они сидели на лавках.

— Ну, говори. Я просто хочу знать, что тебе надо, зачем ты приехал?

Андрей повернулся к отцу и, опустив голову, начал:

— После первой отсидки двадцать дней погуляли с корешем. И опять делов наделали, снова закрыли меня. Потом узнал, что мать умерла, понял, что меня

ты уже не ждёшь. А тюрьма — она, как жена: вовремя не уйдёшь, привыкнешь! Вот и я так. Второй срок отсидел, хотел настоящим делом заняться, но где там. Слишком много таких, как я, в стране у нас. Разругался с компаньонами, потом больше — и новый срок! Только теперь сидел уже серьёзно и понял многое... Год назад вышел, и с друзьями по тюрьме (поверь, там проще друга найти: насквозь видно человека) фирмочку организовали, вот работаем... нормально пока.

— И чем же занимаетесь, если не секрет? — Кузьмич умиротворённо растянулся на лавке.

— Да нет, какой секрет. Набрали людей, технику приобрели, сейчас ездим по стране, по брошенным деревням, дома выкупаем и на большой земле продаём! — Кузьмич подскочил, как ужаленный

— Это как, разбираете и увозите?

— Ну, да, примерно так. Смотрим, какие получше, поновей... Чтобы лес был хороший, размер, план удачный. Кровлю разбираем, сруб расписываем, раскатываем по брёвнам, потолки, пола, если ещё нормальные, берём. Но обычно бросаем! Увозим только сруб, балки, лаги, стропила... Остальное — в кучу и жгём. Всё улаживаем на два «КамАЗа» с прицепами и... на новое место жительства. Вот и про нашу деревню узнал, что умерла она, послал сюда подельника, то есть напарника, он выбрал тут три дома, сфотографировал. Сейчас на эти дома уже есть покупатели, и залог дали. Один из домов наш, то есть твой. Но они мне сказали, что когда здесь были, дом был пуст, поэтому я поехал сам, думая, что ты тоже умер. А оно, вишь, как!

Кузьмич, потрясённый, молчал, совершенно не зная, вернее, не понимая, как поступить.

— А как же, люди? Вернутся и, где же им жить, если вы вдруг его дом упрёте?

— Да, брось ты, батя, это всё уже никому не нужно. Таких деревень по России тысячи, просто эта довольно

близко до большой земли, поэтому мы по зиме сюда двинулись. Завтра придёт техника с народом, и уже к Крещению мы исчезнем...

— Глянь-ка, праздники православные помнишь, а поступаешь не по-христиански. Это ведь не только кого-то, но ведь и меня ты грабишь, отца своего?

— Я не граблю, — Андрей повысил голос, — знал бы, что вы здесь коммуны создали, не поехали бы. Но теперь уже поздно: деньги взяты и в дело пущены. Но, — Андрей встал и, чеканя слова, не допуская возражения, договорил, — поскольку вы здесь, выбирайте себе домик какой-нибудь, завтра поможем вам перейти. И живите! А мы заберём, что надо.

Кузьмич, понимая безвыходность, тоже повысил голос, трясущимися руками пытаясь застегнуть рубаху.

— Мы не уйдём из дома и милицию вызовем, и вас просто пересадят всех.

Андрей уже открыто смеялся.

— Да кому вы нужны? Неужели ещё не поняли, что бросило вас ваше государство с домиками и колхозами-совхозами вместе. Бросило и открестилось от вас — всё, нету ни деревни, ни тех, кто это государство кормил. Выгоднее всё на западах покупать. Слишком большие деньги делят в стране, чтобы на какие-то глупости растрачивать, коровники восстанавливать...

— А люди здесь не причём? Ведь нам хочется на своей земле жить, как это испокон веку было! Мне некуда уже отсюда уходить, здесь твоя мать, — Кузьмич выставил огромный кулак в сторону Андрея, — жена моя покоится. И я хочу тут же лечь, как срок придёт... — он задохнулся возмущением и присел на лавку, — люди же на виновны, подумайте хоть вы о нас — дети наши!

Кузьмич краем не застёгнутой рубахи вытирал слёзы и сухо сморкался...

— Что это! Теперь мне завидовать тем, кто не

дожил до этого времени, кто умер раньше и кого мы похоронили с почестями согласно их делам? Но ведь людям же разный срок отпущен, и неужели мне теперь жалеть, что я, волей Господа, крепше моих почивших друзей? Так?

— А это ты там спроси, — Андрей уже зло, не сдерживаясь, кричал, — у тех, кто властью, вами же им данной, судьбу всего этого решил. Спроси у них, почему не выгодно стало хлеба поднимать, коров доить, скот растить? Да я тебе сам скажу: потому, что у них есть тоже и дети, и отцы, и жёны, и любовницы. И хотят они, захватив власть на мгновение, обеспечить их раз и навсегда. Раз — подписал документик, и на тебе по рублику за килограмм мёрзлой говядины, которую в Европе вырастили и миллионами тонн сюда везут, а свою — собакам!.. Хоп — и на деньги! — Андрей громко прокашлялся, — на эти деньги можно было деревню поднять, а кто-то из них, один, себе дворец построил! Ты знаешь, сколько деревень и сёл, как ваша, и ещё здоровше, погибло — десятки тысяч! А их, депутатов и всяких чиновников с роднёй — сотни тысяч! А виноватыми опять же будут простые люди, во все времена — рабы власти. И если бы ты не жил, не поднимая головы, а посмотрел, то увидел бы, что только они испокон веку работают, сидят в тюрьмах, служат власти, и только они — всегда крайние! А власть — это другое... Себе-то они длинные срока жизни уготовили, в добре и достатке, и детям, и внукам своим! А вы? А вы теперь — отходы, которые скоро уже утилизируют. Всё! Завтра ищите домик себе и перебирайтесь. После обеда мы приступаем. Своим скажешь сам, я буду спать здесь. — Он вышел, опять плотно, по-хозяйски, затворив за собой дверь...

Отец плакал, превратившись за час из крепкого деда в слезливого старика с трясущимися руками и красными кроличьими глазами...

Кузьмич зашёл в дом. Все, ещё недавно веселившиеся, были растеряны и старались на него не смотреть. Молча пройдя в тёмную комнату, по памяти нащупал кровать и лёг. Это всё? Крохотная надежда, хранимая в сердце втайне от всех, исчезла. Она даже не потерялась — она просто исчезла! Как туман над утренней рекой. Вот не было его ночью, утром появился молочными брызгами по воде, но солнышко встало — и его как не бывало...

Когда днём зашёл Андрей, даже чужой и незнакомый, он вернул ему эту надежду, как новую кровь в сердце, как радость, какую никогда не испытывал! Пускай вместе с обидой, с мужицкой злостью, даже с ненавистью, но появилась вдруг она, и тонкой щепочкой, занозой, воткнулась в душу...

И вот всё! Ни боли, ни страха — просто пустота, словно ночь без звёзд. В дверях тенью встал Иван:

— Никита, что теперь делать будем? Надо идти куда-нибудь. Давай на мой двор, а дрова потом перетаскаем, и из погреба чего... Может, они сарай трогать не будут, так ещё лучше. Из дома всё в сарай стаскаем, и потом постепенно... — Иван замолчал, ожидая ответа.

— Да. Давай так и сделаем. Можно бы и сейчас начать, лишь бы ночь не тёмная: как там, глянь, я что-то не заметил...

Иван вышел в сени. Только старые часы, любимые Кузьмичём ходики, упорно и не смущаясь, громко тикали в замолчавшем доме...

— Там довольно светло, можно начинать, но лучше, наверно, утра подождём, я печь заправлю — всё одно, Андрей заикнулся про вторую половину дня... Успеем!

— Ну, как хотите, давайте завтра, — Кузьмич замолчал.

Затих и дом. Спали тревожно. Только все забыли, что утром ещё темно. Иван убежал в начале восьмого

со свечкой и растопил у себя в доме печь. Пришёл и, словно оправдываясь, сообщил:

— Темень ещё, едрит... Сам отвык от своих закутков, еле дрова нашёл... Чуть в сарае в погреб открытый не сыграл, благо, зацепился за творило... Но печь растопил, угля насыпал, скоро потеплеет... Здесь, в ограде, Андрюха в телефон что ли, орёт? А можа, в рацию какую! Кричит, чтобы по его следу ехали пока, потом увидят, мол...

Старики дружно сидели за столом в кухне, освещённой двумя свечами. Только сам хозяин не выходил из комнаты, сказав, что полежит до свету.

— И на кой натаскали, правда, всего! Нам сейчас с тобой, только своего добра — воз вывозить, — бабка Мария вздыхала, качая головой, и смотрела на молчащую бабушку Настю, — и бросить как-то жалко...

— Ты не бросай, конечно! Одежду вон, сразу на себя надень, обувь, кака получше, — на ноги, похуже, — за пояс заткни, и шубу сверху! На голову — шапку побогаче, и шалью обвяжи. А тарелки и стаканы в скатерть замотни и выходи, если сможешь! Так раньше раскулаченным разрешали: кто сколько мог один, столько и пёр, — но никто не улыбнулся, дед Пётр виновато замолчал.

— Ну, давайте, позавтракаем, что ли, — бабка Мария встала и пошла к печи.

Все заговорили с облегчением, отвлекшись от тяжёлых мыслей. Кузьмич на завтрак не вышел.

После завтрака стали, каждый, собирать свои вещи, которых, действительно, оказалось много. Когда совсем ободняло, Иван опять попытался поговорить с Кузьмичём, но тот молчал, отвернувшись к стене. Стали таскать без него всё, что могло пригодиться...

Приближение техники Кузьмич почувствовал по дрожанию дома, а может, и всей земли вокруг. Через пять минут забежал дед Пётр.

— Техника пришла. Две огромные машины, кабины высокие, колёс не счесть, у каждой — по при-

цепу длинному. На задней — стрела самогрузная небольшая и домик-вагончик маленький. Машина встала, из домика восемь мужиков вышло, стрелой его опустили на землю и поехали за Андрюхой. Похоже, вначале дом Стропова, пчеловода, разбирать будут. Он в той стороне самый богатый и видный, — Пётр в конце разговора вдруг заговорил громко. — Ты кого валяешься-то? Мы-то в чём виноваты, ты с нами не общаешься. Как быть-то теперь? — Пётр опустился на лавку.

Кузьмич поднял голову и устало ответил:

— Вы сидите дома, так лучше будет, не смотрите, что они делают, а то, кто знает, что у них на уме. Я сейчас соберу кое-что и приду тоже. Нам с ними спорить бесполезно. Хотя, может, я ещё попробую, может, Бог даст? Но вы, всё равно, не вылазьте, только озлим их. Так-то...

Пётр тяжело посмотрел на Никиту :

— Зря ты. Знаю, что думаешь, но только, по-моему, мимо всё... Не посмотрят они и не услышат тебя, если сын не услышал, — он повернулся и быстро вышел.

Кузьмич снова лёг...

* * *

«Как же быстро пролетела жизнь, Господи! Как быстро, и почему-то сейчас подумалось: «Неужели ещё и зря. Ведь и вспомнить почти нечего, если кто не поможет. И жену покойную запомнил только в первую брачную ночь с искусанными от боли губами, заплаканную и благодарную, доверчиво прижимающуюся к его груди... и себя — только молодым, уверенным и злым до дел, которые нужно было сделать, чтобы лучше зажить... А потом: тры-ы-ых, как в плохом сериале — одно и то же да с каждым годом быстрее. И те радости, которые, вроде, не должны были забыться, увы — не вспомнить. И даже год рождения сына... Нет, никак!..»

Кузьмич лежал лицом вверх, чувствуя, как по напряжённой спине, затылку, пробежала дрожь... И не просто дрожь, а страх — даже больше! — страх безысходности. Именно так Никита Кузьмич Коржов прожил, а, значит, и зря?

Пролежав до вечера, он поднялся и, растопырив руки и тараща глаза в темноту, потихоньку пошёл. В кухне большие окна давали в избу немного серого света: он, быстро нашёл полуобгорелую свечу и запалил её.

По привычке, не думая, накинул выношенный полушубок, вставил ноги в обрезанные валенки и, прикрывая свечу рукой, пошёл через веранду в сарай. Посветив и найдя ручку, вошёл в столярку, где давно не работал, но хранил инструмент. Здесь открыл широкий шкаф и с удовлетворением хмыкнул. На полке, как всегда в порядке, с поднятой шиной стояла его старая бензопила «Дружба», а немного ниже, в неглубокой ямке — железная канистра с бензином. Взяв канистру, он так же осторожно вернулся в дом. Поставив её в комнате и покрыв сверху половиком, вышел на веранду и закрылся на все засовы.

* * *

Ночью Кузьмич проснулся от сильного шума. Прислушавшись, понял, что это ветер — первый ветер в этом году.

— Странно, морозам бы жать, а оно наоборот, засвистело!

Ветер был сильный, где-то стучала незакрытая калитка, тонко подвывала антенна с оборванным, стучащим по кровле кабелем, и слёзно скрипел сухим стволом тополь, который он сам ошкуривал два года назад.

— Знать бы, что так получится, да разве я бы... — он почему-то подумал, что именно убив тополь, предопределил себе будущее. — Вот, вишь, сильны

мы решать за слабых да терпящих, и не убедить им, немым, нас в нашей неправоте... — Он вдруг заплакал, закрыв лицо тяжёлыми ладонями, вскоре тревожно задремал, вздрагивая от хлопков болтающейся калитки. Измученный ночью, он окончательно уснул и, не услыша шума подъехавшей машины, проснулся от стука в дверь. Серое, из-за начавшейся падеры, утро давало мало света. Он вскочил и, не надевая тулупа, выбежал на веранду. Его слышали.

— Отец, не дури. Мы всё равно уже разбираем крышу. Собирайся и гуляй к дяде Пете, у них вон и печь дымит, блины наверно пекут... — Андрей сильно рванул ручку и, оторвав её, зло выматерился. — Не заставляй меня психовать! Я плохой, когда что-то не по-моему! Добром прошу...

— Уходи отсюда, если ты сын мне... Не буду я жить нигде, кроме дома своего, что бы ты ни говорил. Или умру здесь, вместе с ним...

Андрей поддевал дверь выдергой, кто-то рубил откос. Дед, не выдержав напора, заскочил в дом и трясущимися руками открыл канистру. Подтащив её к выходу, неловко плеснул на входную дверь, затем ловчее, полосой заплескал по кухне. Ядовитый бензин моментально впитывался в цветные бабкины половики и, обернувшись, он увидел, что лужиц нет.

«А вдруг не загорится?», — лихорадочно подумал он, и полил, до мокрого, открытый пол. От резкого запаха закружилась голова и он, освободив канистру, из последних сил метнул её в маленькое окно спальни, выбив его. Ворвавшийся в дыру свежий ветер за секунды привёл его в чувство, и он мокрыми руками забил по карманам. Спичек не было! Дед со страхом понял, что оставил их в кухне на столе и, скользя по мокрому полу, почти побежал туда. Уже ломились во входную дверь, закрытую на простой крючок. Он схватил коробок трясущимися руками и заскоружеными, скользкими от бензина пальцами попытался открыть

его. Коробок распался, и спички разлетелись. Быстро схватил одну, чиркнул — нет! вторую — нет! третью...

Андрей, почувствовав запах, закричал через дверь, мешая слова с матерками:

— Отец... завязывай это дело! Уйди лучше, Христом прошу, не доводи до греха!

Дверь, подцепленная с другой стороны мощной выдергой, уже соскользала с петель.

Старик подскочил ближе, наступая валенками в бензин и, срывая голос, закричал вламывающимся прищельцам:

— Нет на вас Христа! И отцов у вас нет! И родины своей!... И, значит, и жизни вам не будет., — он закашлялся и, уже не в силах продохнуть, захрипел: — Отскочь! Поджигаю!..

В сенях загремело и задрожало от топота убегающих людей. Дед заскочил в спальню и, рванув створки разбитого окна, распахнул его. Канистра лежала сразу у стены, и, выпав из окна, он, уже не сомневаясь, чиркнул спичку об обломок коробка и швырнул её на облитый бензином фундамент. Вскочив и сделав ещё несколько шагов, упал и, перекатившись боком, увидел, как огненная дорожка нырнула в дом! А из-за дома, прыгая через низкий забор палисадника, к нему бежал Андрей и ещё несколько орущих парней.

— Почему же не загорается? — успел подосадовать старик и тут...

Из всех окон бешенная сила выплонула стёкла и через доли секунды взвились и горящие шторы, словно языки огненного дракона! Затем клубами повалил белый дым и раздался страшный, словно выстрел из ружья, хлопок. Огромный сруб с вязанными самим дедом балками и стропильником, словно игрушечный, взвился на воздух и, выпустив из-под себя огненный вихрь, с грохотом упал, минуя фундамент. Взрывная волна, сметая вокруг снег, ударила жаром и пылью, повалив рассыпавшихся людей. Последнее, что уви-

дел Никита Кузьмич, был огонь со вставшей на дыбы кухонной стороны дома, вырывающийся и сплетающийся огромным факелом из двух его широких окон, смотрящих теперь пустыми глазницами в небо!..

* * *

Кузьмич открыл глаза и тотчас услышал радостный шёпот Насти:

— В себя пришёл, идите скорее, очнулся!

В комнату, словно ждали приглашения, улыбаясь, вошли все и столпились у кровати. Сам лежал в большой светлой комнате, раздетый и укрытый тёплым, мягким одеялом.

— А мы думали ты того, совсем окочурился, — Пётр неуверенно подал голос, — лежишь и глаза закрыты. Молчишь...

Пострадавший поднял руку, останавливая: — Как там? Что было-то?..

— Мы смотрим, дым поднялся враз, а тебя нет... Все готовы, как солдаты, и — бегом... Твой-то дом уже вовсю полыхает, а люди в стороне толпятся. Подбежали — Андрей тебя тормозит и матерится, злой, как чёрт. Только ты без сознания, как кукла, болтаешься. Марья подскочила, как давай орать! Да и мы тоже все, — Иван оглядел стоящих друзей, — он замахнулся на тебя кулачищем, но бить не стал... Поднялся и пошёл, остальные — за ним. Через сутки гружёные уехали, два полных дома увезли. Твой — сгорел, одни сараи и баня остались...

Иван замолчал. Молчал и Кузьмич. Молчали, потерянные, и остальные. Наконец, Кузьмич, приподнявшись, присел, опираясь на руки.

— Ну, а что мы замолчали, люди? В жизни всякое случается, но ничего же не кончилось. До лета теперь раз и два!.. А там поможете мне небольшой домик собрать, прямо тремя стенами к предбаннику! Поможете?

Все заулыбались и зашумели вразнобой.

— Конечно! А как же! Да и отдельно запросто! Что мы, домов не делали?!..

Кузьмич поднял руку и, дождавшись тишины, заключил: — Ну, вот и, слава Богу. Значит, и дальше жить будем. Никому нас не одолеть, родимые!

19.02.2014 г.

Содержание

«Доброе братство милее богатства»	3
Божий дед	11
Баный день	58
Старики	77
Поздний подарок	109
Гиблая философия	119
За чертой	141
Сачок	159
Неприкаянный	162
Кормилец	170
Комель	187
Последняя коммуна	255

Игорь Александрович Кожухов

Последняя коммуна
(рассказы)

Редактор	<i>Е. Мартышев</i>
Корректор	<i>В. Лисицина</i>
Художник	<i>А. Безруких</i>
Макет обложки	<i>С. Мельникова</i>
Оригинал-макет	<i>В. Парфенов</i>

Редакционно-издательский центр
«Новосибирск» НПО СП России
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32
тел.: (383) 227-09-68

Формат 84x108 1/32.
Гарнитура Камбрия. Печать офсетная.
Печ. л. 9,00. Тираж 1000 экз. Заказ № 1.

Отпечатано в Сибирском предприятии «Наука».
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 25



КОЖУХОВ

Игорь Александрович

...Совершенно понятно, что всё не проходит, и ничего не происходит просто так. Время, в конце концов, рассудит, и всё расставит по местам, обязательно спросив нас за прожитое?! И понять то нужно всего малость, завещанную нам Богом:
«Будь честен в делах и мыслях своих!»
Так может быть, исполни каждый эту истину, и наступит то время, о котором мечтают все – Время Мира, Любви и Благости!..